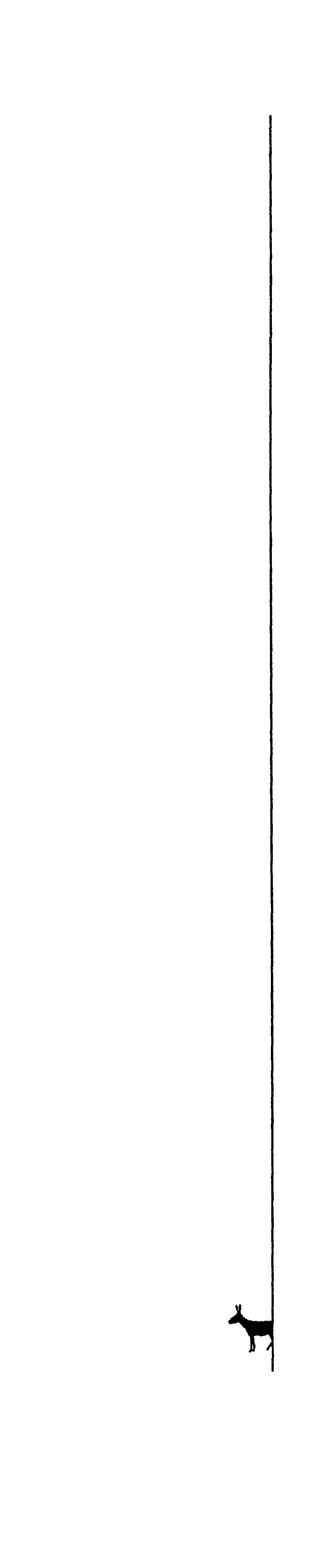
Венедикт ЕРОФЕЕВ

Венедикт ЕРОФЕЕВ



ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА

ВАГРИУС



Венедикт
ЕРОФЕЕВ

ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА

ВАГРИУС МОСКВА 2000

УДК 882-3
ББК 84Р7
Е 78

Подготовка текстов В. Муравьева

Дизайн серии Т. Гусейновой

В оформлении обложки использована
картина Василия Шульженко «Распятый»

ISBN 5-264-00247-9

«ВЫСОКИХ ЗРЕЛИЩ ЗРИТЕЛЬ»

...Однажды осенним утром лет тридцать тому назад с Курского вокзала отправилась за сто верст электричка, а в ней якобы сидел, прижимая к груди чемоданчик с полными бутылками, некий Венедикт («Веничка») Ерофеев. Ехал он до конца, в городок Петушки, по делам *не менее любовным, нежели семейным,* одинаково — жизненно! — важным для него. Эта поездка, более или менее подлинная, приобрела поэтическое измерение и тем самым сугубую реальность, став «Путешествием из Москвы в Петушки», описанным Веничкиным двойником, загадочнейшим Венедиктом Васильевичем Ерофеевым, который любил подписываться В. Ер.: а «Wer» по-немецки «кто», а «Ник. Т-о» — псевдоним очень любимого им поэта Иннокентия Анненского.

Согласно описанию, путешествие подобающе завершилось злодейским убийством Венички — и, само собой, его немедленным воскресением de facto в качестве, скажем так, антилитературного героя поэмы «Москва — Петушки», явившейся миру в 1970-м и прочтенной сперва несколькими тысячами советских людей в машинописных копиях, а затем несколькими десятками тысяч обитателей зарубежья на пяти-шести европей-

ских языках. С конца 1980-х начали множиться ее типографские оттиски, более или менее искаженные, на родине автора.

Издания расходились и расходятся, так что поэму, по-видимому, читают; но у критиков она, как правило, не в чести — и это при том, что ее оприходовали и зачислили в состав российской литературы, что бы это ни значило (значит это немногое).

Разумеется, пробовали и ниспровергать автора, разоблачать его и вообще ставить на место с некоторым профессорским недоумением, как Вл. Новиков, или писательским раздражением, как Вас. Аксенов. Но чаще пытались как-нибудь пристроить к месту поэму, объявляя ее то исповедью, то отповедью, то проповедью, то заповедью.

И все это — в художественных и нравственных пределах позднесоветской или постсоветской литературы, под воздействием туманного представления, будто если что-нибудь написано в 60-х, то автор — «шестидесятник», пусть и необычный. Расхожие представления о «шестидесятниках» до смешного типологизованы, и мы едва ли не заранее знаем, что и в каком смысле хотел сказать Евтушенко, Вознесенский или опять же Аксенов, даже из-за границы. По-видимому, отсюда и готовность наскоро понимать, «о чем Ерофеев».

Контекстом «шестидесятничества» была советская литература, а если взять шире — то советская социалистическая культура мировосприятия, насквозь идеологизированного, причем никакие частные акценты, протестные или обновленческие, дела не меняли. Мировосприятие это намертво скреплялось образом жизни, в которой безраздельно властвовали определенные стандарты речи, внешности, поведения, одежды... Никакое «инакомыслие» в условиях морально-политического единства было даже непредставимо и уж во всяком случае с самого начала (оно же и конец) находилось в компетенции соответствующих органов. В принципе надлежало стандартизовать все, и не столько отрицательный, сколько заблудший персонаж тогдашнего советского популярного романа робко жалуется возлюбленной: что это — чуть шаг в сторону, сразу окрик; возлюбленная же удивленно советует ему: а ты не суйся в сторону, иди в строю, как все.

Самым страшным и убийственным было забытое сейчас громовое слово-обвинение «отщепенец», действительное на

всех уровнях жизни. Собственно говоря, это было то же самое, что прежде «враг народа», и недаром прозорливый администратор сообщает герою ерофеевских «Записок психопата», что он — «врах» и что его надо без лишних слов расстрелять. Самым детективным сюжетом было тогда изобличение («узнавание») чужака, притворяющегося своим — и в чем-то, как выясняется, не такого, как все («как положено»).

В поэме «Москва — Петушки» этот сюжет многократно отражается, преломляется и служит ее заключительным аккордом. Конечно, он озвучен совсем иначе, нежели в советской и постсоветской литературе. Что и неудивительно — ведь во всякой поэме присутствует, если не преобладает, лирическое начало, а здесь это начало чрезвычайно усилено повествованием от первого лица: от лица, как уже говорилось, авторского двойника.

Главенствует в поэме изображение речи; да собственно говоря, кроме речи, в ней ничего и не изображается, а речь изображает рассказчика. Иного его изображения не дано.

Этот рассказчик заведомо не стоял ни в одной из бесконечных очередей советской действительности — разве что за водкой, но тогда их еще почти не было и вообще очереди за выпивкой — «особь-статья», как и сама выпивка. Вместе с выпивкой «особь-статья» и все существование Венички Ерофеева, новоявленного «лишнего человека» русской литературы, в свою очередь лишней, сброшенной с «парохода современности» еще на заре новой эпохи. Правда, впоследствии она была огулом реабилитирована и объявлена провозвестием грядущего социализма — и в этой сомнамбулической роли стала подспорьем ерофеевских игрищ.

В своем качестве сочинителя-повествователя Ерофеев подыгрывает такому и тому подобному маскараду. Он — его соучастник, зритель и ведущий, массовик-затейник. На этой последней роли в его трагедии «Вальпургиева ночь» оказываются целых два персонажа; но пока что, в словесном действе поэмы, за всех отдувается один Веничка.

Хорош, однако, «лишний человек»! Однако же именно «лишний», примыкающий к той веренице героев русской литературы, которую открывает Евгений Онегин и которую литературовед Г. А. Лесскис называет «онегинской парадигмой» в книгах «Пушкинский путь в русской литературе» (1993) и «Национальный русский тип (От Онегина до Живаго)» (1997). Правда, в отличие от неприкаянных ее предста-

вителей, Веничка с веселой благодарностью принимает свою роль изгоя и отщепенца как жизненное назначение. «Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль», как заявлял в подобном случае лирический герой Пастернака, тут же, впрочем, требуя «увольнения» от «иной драмы». Веничка увольнения со сцены не ждет и не требует.

...До самого недавнего времени в советской России обозначались примерно три жизненных позиции — можно было либо целиком вписаться в социалистический образ жизни, либо обустроиться в нем на особых правах — то ли начальником, то ли блатным, то ли отечественным иностранцем: словом, отыскать, что называется, «экологическую нишу», либо же стать «третьим лишним», вроде известного тунеядца Иосифа Бродского. Правда, Бродский, как и его лирический герой, рано возымел социальный статус поэта и таким образом явочным порядком перешел во вторую из означенных категорий.

Веничка, как и Венедикт Васильевич Ерофеев, *никакого* социального статуса не возымел. *Как* будущий герой поэмы выбивается из всех жизненных сценариев советской действительности, *чего* это ему стоит и *что* с ним при этом делается — явствует из «Записок психопата» даже в том довольно усеченном виде, в каком они здесь впервые публикуются.

Неустроенность жизни приобретала значение программное и метафорическое («Сын Человеческий не знает, где приклонить Ему главу») и в этом значении становилась Скитальчеством и квалифицировалась как бродяжничество и тунеядство. Процесс против тунеядца Бродского был тем символическим «запретом на скитальчество», о котором идет речь в пьесе Венедикта Ерофеева.

Задним числом и особенно из «прекрасного далека» иной раз казалось, как тому же Бродскому из Америки, будто в СССР так-таки можно было пребывать в стороне от советской действительности. На самом деле этого было никак нельзя; но притворяться, будто живешь в «некотором царстве» и вести себя так, словно «ничего этого нет» — пробовали, и порой небезуспешно.

Такая страусиная игра в прятки с реальностью делала человека нравственно невменяемым, а вдобавок означала еще и подмену жизни, утрату ее исторического смысла и места собеседника на пиру у «всеблагих», как выражался в молодости Федор Тютчев. Он утверждал, что «счастлив, кто по-

сетил сей мир в его минуты роковые», потому что «счастливец» приглашен и призван, он — «высоких зрелищ зритель». Стихотворение, как известно, о Цицероне, который был отнюдь не просто «зрителем зрелищ», а их активным участником и даже организатором.

Вот и для Ерофеева дело было не в том, чтобы укрыться или спастись от советской действительности; он снова и снова разыгрывал свое пришествие в нее — перефразируя Маяковского, «бросался в коммунизм с небес поэзии», нырял в повседневность, старясь как можно полнее оценить ее обыденно-ритуализованное безобразие и распознать в нем мистериальное действо, сделавшись его соучастником и в то же время наблюдателем.

Таковы тематический прицел и соответственно построение «Москвы — Петушков», поэмы о советской обыденной жизни перед лицом мировой культуры, за которую предстательствует Веничка Ерофеев. В конце поэмы полномочная четверка, то есть некое сакральное число хозяев и распорядителей этой жизни, Веничку закалывает, и, в отличие от сходного убийства безымянного героя Кафки в «Процессе», это — ритуальное жертвоприношение, и социальный смысл его хоть и темен, но очевиден. Веничка погибает за то, что непохож на «других», на «всех», и это вовсе не трагический финал индивидуальной судьбы, а часть все того же таинственного игрища советской повседневности, опрокинутой в культурно-историческое измерение.

К сожалению, у оценщиков ерофеевского творчества речь чаще заходила о религиозном измерении: и правда, «действо о Ерофееве» время от времени приобретает христианско-мифологический оттенок, становясь как бы «страстями по Ерофееву». Иногда повествование нарочито приводит на память евангельские мотивы воскрешения Лазаря и дочери Иаира, Христовых притч и поучений, Тайной Вечери, восшествия на Голгофу, распятия... Но любая жизнь в нашем христианском эоне так или иначе сопричастна его центральному сюжету, повести о казни Бога-искупителя как странной и чудовищной благой вести. С нею очень даже вяжется Веничкина как бы предначертанная участь бесприютного странника, поэта и провидца, открывателя «тайн бытия» и безвинной, кроткой жертвы. От этого, впрочем, очень далеко до уподобления рассказчика Христу и тем более до его самоотождествления с Ним; да такое дурацкое и

постыдное кощунство и не идет к Веничкиному облику. Он вовсе не Иешуа Га-Ноцри, и его религиозные притязания по большей части пародийны, как богоугодное намерение создать новый коктейль или усмотрение Десницы Божией в неравномерности пьяной икоты. Веничка — сказитель-выдумщик, ведущий речевого действа, воссоздающего действительность — и как соучастник творения, разумеется, сопричастен Слову-Логосу, хоть эта сопричастность и осложнена обоюдоострой иронией.

Поэма несет утоление тем, кто изголодался по слову не подсобному и не затасканному, а «самовитому», как выражались футуристы, в данном случае освобождающему от ощущения иллюзорности и неполноценности обыденного существования. От ощущения, скажем прямо, иллюзорного, навязываемого нам безличным обыденным сознанием, которое представляется адекватным действительности, ее «отражением», чуть ли не зеркальным. Наивный реализм закрепощает человека, и надо лишь понять и почувствовать, что это — наваждение, чтобы освободиться. Повседневность оказывается гораздо объемнее и многомернее, чем ее узкое, «зашоренное» восприятие.

Об этом и свидетельствует поэма, в которой утреннее похмелье, опохмел и попойка в электричке со случайными попутчиками, сон с перепою и вечерняя абстиненция претворяются в мистерию: приоткрываются историческое и мифологическое измерения жизни, обнаруживается ее всеобъемлющая поэтическая значимость, бытовые мелочи обретают символическую окраску, всякое слово прокатывается эхом и оборачивается событием. Один из ранних рассказов Кафки назывался «Доказательство того, что жить невозможно»; поэма Ерофеева — открытие возможной полноты бытия, приятие обыденной жизни в самых неприглядных и невыгодных обстоятельствах.

Чтобы толком воспринимать ерофеевскую прозу, надо читать ее как поэзию, благо и в языке ее, и в ритмике то и дело чувствуется стихотворная ориентация. «Поэма» — определение количественное, и обозначает оно всего-то навсего большую поэтическую форму, а уж стихи или проза ее образуют — не столь важно. В конце концов, чем проза не стихи? По отношению к ерофеевской прозе на этот вопрос ответить невозможно, во всяком случае по отношению к поэме «Москва — Петушки».

Основные свои признаки эта проза сохраняет и в других его сочинениях, ни в чем не повторяющих поэму, автором которой в первую и последнюю очередь ему суждено остаться навсегда. В полной мере сохраняется и самодовлеющий, антиописательный характер прозы, и ее установка на преображение, а не изображение. Авторский голос все тот же, и он мгновенно распознается по сверхразговорным — и чрезвычайно индивидуальным — интонациям и рискованным словесным перепадам; даже если, как в трагедии «Вальпургиева ночь», автор расщепляется, превращаясь в двух псевдорезонеров и псевдорежиссеров (в набросках второй трагедии «Фанни Каплан» — в двух Лжедимитриев). В «розановском» беллетризованном эссе это раздвоение происходит иначе: появляется собеседник, персонаж, составленный из цитат, так или иначе подыгрывающих автору, как бы корректирующих его речь, оттачивающих его собственные соображения и высказывания. Впрочем, Василий Васильевич Розанов тоже подает кое-какие реплики и даже содействует выстраиванию авторских монологов — затем и приглашен в качестве благосклонного призрака.

Персонажи «Вальпургиевой ночи» — застывшие маски, как нельзя более уместные в трагедии (или трагикомедии) античного толка. Это «чистая» трагедия рока: в ней тоже, собственно, ничего не происходит, кроме дружного отравления палаты психиатрической лечебницы метиловым спиртом, — но превращается оно в пляску смерти и гибельное действо, достойно завершающее игры воображения персонажей. Каждый из них выполняет свое речевое задание — и умирает либо пропадает за сценой. Два ерофеевских затейника организуют, направляют и комментируют действие, заключающееся в произнесении монологов или разыгрывании сценок, имеющих самое косвенное касательство к очень скудному внешнему, «больничному» сюжету. И как в «купе» электрички, следующей в Петушки и подвозящей Веничку к гибели, в палате становится празднично. Празднуется встреча со смертью. Метиловый спирт вкушается, как причастие, и действительность (не больничная, а историческая, «современная», советская) претворяется в мистерию. Вычеркнутые из жизни, лишенные обыденного существования узники-духовидцы становятся ее (мистерии) действующими лицами.

Но чтобы стать таковыми, требуется особого рода искус. Блаженные и юродивые, впрочем, могут и без него обой-

тись, зато уж автору надлежит «вкусить все отравы» и примерить самые разнообразные словесные обличья. Стажировка на соучастие в собственной прозе, обживание слова в контексте действительности — сюжет его юношеских, подготовительных, — а впрочем, как убедится читатель, вполне самодовлеющих «Записок психопата». Вряд ли их можно принять за дневник: а упоминания подлинных лиц и событий здесь совершенно того же свойства, что в грядущей поэме. Это по-своему целостная и законченная повесть о писательском становлении, о преображении персонажа в Автора. Обязательное условие такого преображения — непрерывный информационно-смысловой поиск: он отражен в мозаичном зеркале выборки из записных книжек. Очевидно, три основных, изданных при жизни автора, сочинения Ерофеева в сочетании с «Записками психопата», более или менее дополненные его записными книжками и интервью, и должны составить канон его творческого наследия.

Данный текст поэмы «Москва — Петушки» идентичен ее прижизненной отечественной публикации в издании *Ерофеев В. «Москва — Петушки» и пр. — М.: Прометей, 1989* (редактор В. С. Муравьев), выверенной по единственной авторской рукописи поэмы («зеленой тетради»), которая после смерти вдовы В. В. Ерофеева была утрачена.

Не имевшая авторского названия проза, написанная в 1973 году по заказу самиздатовского журнала «Вече», впоследствии была озаглавлена издателями «Василий Розанов глазами эксцентрика». Это ненужное и неуместное заглавие снято; текст отредактирован по машинописи — перепечатке первой журнальной публикации.

Текст «Записок психопата» представляет сокращенную редакцию юношеского сочинения, имеющего форму дневника в пяти тетрадях. Тетради имеют собственные несовпадающие заглавия, сохраняемые в данной публикации. Максимально сохранены также орфография и пунктуация подлинника во всей их противоречивости и непоследовательности; это относится ко всем авторским текстам.

Владимир Муравьев

ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА

ДНЕВНИК

14 окт. 1956 г. – 3 янв. 1957 г.

Записки сумасшедшего. I

14 октября

Стопп... чоррт побери!

Интересно, какому болвану...

Какому болвану, спрашивается, интересно меня пугать в третьем часу...

В третьем ли?..

Да, вероятнее всего...

Гм, в третьем... Кто бы это мог быть... Кретинизм же это в конце концов, чорт побери...

Модернизм...

Модернизм? Ха-ха-ха-ха-ха...

Однако, милый мальчик... тебе слишком весело, я бы сказал... и совсем некстати...

Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что царственно величье...

Топ... топ... топ... топ... топ...

Топ... Однако. Веселость и романтическая интересуемость потихонечку покидают тебя, милый мальчик...

Мд-а-а... я бы сказал, романтическая обстановочка... ни одного огня... черно...

Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что...

Топ... топ... топ...

...царственно величье холодеющих могил...

15 октября
Ни хуя-а-а!
Алкоголь – спасение!
Ни хуя-а-а!

17 октября
«Выбитый из колеи и потому выжитый из университета и потому выживший из ума...»

18 октября
Сожрем этику!
Раздавим ее лошадиными зубами!
Утопим ее в безднах наших желудков и оскверним пищеварительным соком!
Зальем перцовой горькой настойкой!!
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!

*24 октября**

18/VIII. Кировск
– Бросим! Бросим!
– Не надо норм!
– Надо! Не больше 20-и строк и не меньше восьми!
– К дьяволу максимум!
– Все равно Венька перещепит!
– Еррунда!.. Итак, начнем! Ну, тише, что ли... Даем срок 15 минут!! Рифма и ритм обязательно!! Если хоть одна строка не кончается прилагательным, автор торжественно провозглашается кретином!
– Урра!!!
– Занявший первое место провозглашается гением, шестое место – идиотом!
– Брось! Начнем! Все равно останешься идиотом!!!
– Молчи, Абг'ам!
– Все! Тишина! Я уже засек!
– Ч-ч-ч-ч-ч!
. . . .
– Все, братцы, кончаем! Пятнадцать минут прошло!
– Еще три минуты! Завершить...
– Хватит!!

*День рождения Венедикта Ерофеева. – *Здесь и далее примеч. В. Муравьева.*

– У меня бессмыслица, блядство какое-то!
– У всех, блядь, бессмыслица! Венька, читай первый...
– Да-ава-й!
– Только, извините, у меня слишком длинное... и вам недоступно будет...
– А у кого это доступно-то? Валяй!
– Хгм.

Хладнокровно-ревнивая,
Дева юная, страстная,
Дева страстно-прекрасная,
Боязливо стыдливая!
Все томишься, бессильная
Сбросить сети, сплетенные
Жуткой жизнью, – могильною,
точно пропасть бездонная.

Точно пропасть бездонная,
Точно призраки странные,
Вас пугает туманное
Жизни счастье стесненное...
О не ждите нежданного,
Не зовите далекого,
Навсегда одинокая
Дева страстно желанная!

Дева страстно желанная,
Вашу участь печальную
Не изменит, безумная,
Даже юность туманная
И мечтанья блестящие –
Не воскреснет бесцельное,
Не проснется мертвящее, –
Нет конца беспредельному!

Нет конца беспредельному, –
Беспредельность бесцельная, –
Как мечтанья бесплодные,
Как напрасность прекрасного,
Как бесстрастность свободного –

И опасность бесстрастного.
Только силы природные –
Сокровенность прекрасного!

Сокровенность прекрасного –
Только лик беспрерывного,
Созерцание дивного
И обман сладострастного,
Только звуки желанного,
Море смутно-прекрасное,
Небо вечно-безмолвное,
Ожиданье нежданного...

Ожиданье нежданного,
Возрожденье бесплодного...
Несказанно-туманная
Нежность силы природного
В вас разбудит желанное
Бытие несравненного,
Благодать неизменного, –
Так не жди же нежданного!

Так не жди же нежданного
И не требуй далекого,
Навсегда одинокая
Дева страстно желанная,
Дева смутно-прекрасная,
Боязливо-стыдливая,
До забвенья ревнивая,
До безумия страстная!!!

– Бррраво!
– Брррраво!
– Я свою ерунду отказываюсь читать!
– И я тоже!
– Ерофеев – гений! Урррра!!!

Кировск. 20.YIII
– Ну, сюжет давайте...
– Сюже-эт!!
– Давайте про убийство!..

– Эк ведь сюжетик!
– Ну-ка, Фомочка, начни!..
– Гы-гы...
Иду я однажды по шпалам...
– Ну, идешь, блядь...
– «А ночка темная была», да?
– Ну вас на хер...

Иду я однажды по шпалам,
Вдруг... слышу пронзительный крик!

– На хуй! На хуй!
– Посентиментальней! Веньк! Действуй!

Вдруг, слышу пронзительный...

– На хуй! Образов нет! Венька! За 5 минут!

Последний солнца луч погас за камышами,
Безмолвье тайное окутало заливы,
Беззвучно плача, шепчут тихо ивы,
Последний солнца луч погас за камышами.

Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали,
Будящий тишину, звенит надрывным воем
Безумный, дикий крик, не знающий покоя...
Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали
Кого-то режут...

– Пррекрасная пародия, чорт побери!
– Талант! Талант!
– Би-и-ис! Брра-аво!!!
– Веньк! Свою вчерашнюю штучку прочти нам...
– А ну ее на хуй...
– Боринька! За него!.. «На смерть пса»!

Полон жизненной энергии, сердцем жаждущий гуманности,
В краткой жизни не изведавший тайной муки наслаждения...

– Не то! Не то! Это «На смерть Сосо»!

Боже мой! Внемли рыданиям! Я убит родными братьями!

— Это оттуда же!
— Мне последняя строчка нравится:

Только тихие стенания и неслышные проклятия.

— Веньк! Читай все...
— А ну вас... Стесняюсь...

7–8 ноября
Чрезвычайно забавно.
Почти пятнадцатиминутное созерцание только что извергнутой рвоты неизбежно поставило передо мной сегодня довольно-таки актуальный вопрос:
Имеет ли рвота национальные особенности?
Мысленное сравнение грузинской рвоты, извержение которой я только что недавно имел удовольствие созерцать в метро, — и этой, раскинувшейся похабно передо мной и всем своим крикливым видом с гордостью заявлявшей о своем русском происхождении, — не дало никакого положительного результата.
А впрочем, легкое сходство есть...
И это сходство еще раз заставило меня сожалеть о постепенном сглаживании национальных различий...
Ах, если бы был Сосо!..

22 ноября
Как явствует из достоверных сообщений:
Ерофеев на протяжении всего первого семестра был на редкость примерным мальчиком и, прекрасно сдав зимнюю сессию, отбыл на зимние каникулы.
Не то суровый зимний климат, не то «алкоголизм семейных условий» убили в нем «примерность» и к началу второго семестра выкинули нам его с явными признаками начавшейся дегенерации.
Весь февраль Ерофеев спал и во сне намечал незавидные перспективы своего прогрессирования.
С первых же чисел марта предприимчивому от природы Ерофееву явно наскучило бесплодное «намечание перспектив», — и он предпочел приступить к действию.
В середине марта Ерофеев тихо запил.
В конце марта не менее тихо закурил.
Святой апрель Ерофеев встречал тем же ладаном и той же святой водой, — правда, уже в увеличенных пропорциях.

В апреле же Ерофеев подумал, что неплохо было бы «отдать должное природе». Неуместное «отдание» ввергло его в пучину тоски и увеличило угол наклонной плоскости, по которой ему суждено бесшумно скатываться.

В апреле арестовали брата.

В апреле смертельно заболел отец.

Майская жара несколько разморила Ерофеева, и он подумал, что неплохо было бы найти веревку, способную удержать 60 кг мяса.

Майская же жара окутала его благословенной ленью и отбила всякую охоту к поискам каких бы то ни было веревок, одновременно несколько задержав его на вышеупомянутой плоскости.

В июне Ерофееву показалось слишком постыдным для гения поддаваться действию летней жары, к тому же внешние и внутренние события служили своеобразным вентилятором.

В начале июня брат был осужден на 7 лет.

В середине июня умер отец.

И, вероятно, случилось еще что-то в высшей степени неприятное.

С середины июня вплоть до отъезда на летние каникулы Ерофеев катился вниз уже вертикально, выпуская дым, жонглируя четвертинками и проваливая сессию, пока не очутился в июле на освежающем лоне милых его сердцу Хибинских гор.

Июльские и августовские действия Ерофеева протекли на вышеупомянутом лоне вне поля зрения комментатора.

В сентябре Ерофеев вторгся в пределы столицы и, осыпая проклятиями вселенную, лег в постель.

В продолжение сентября Ерофеев лежал в постели почти без движения, обливая грязью членов своей группы и упиваясь глубиной своего падения.

В октябре падение уже не казалось ему таким глубоким, потому что ниже своей постели он физически не смог упасть.

В октябре Ерофеев стал вести себя чрезвычайно подозрительно и с похвальным хладнокровием ожидал отчисления из колыбели своей дегенерации.

К концу октября, похоронив брата, он даже привстал с постели и бешено заходил по улицам, ища ночью под заборами дух вселенной.

Ноябрьский холод несколько охладил его пыл и заставил его вновь растянуться на теплой постели в обнимку с мечтами о сумасшествии.

Весь ход ноябрьских событий показал с наглядной убедительностью, что мечты Ерофеева никогда не бывают бесплодными.

9 декабря

О-о-о! Только последнее и нужно было этим пьяным скотам...

Разом заговорили все:

— Э-эттика! Одно слово заставляет меня изрыгать тысячи проклятий по адресу... гм... гм... гм...

— О-о-о-о-о!.. поддержите меня... иначе сей же секунд семья горлодеров, осмеливающихся произносить в приличном обществе это мерзкое слово, численно понесет урон!..

— Господа! А я, между прочим, имею совершенно серьезное намерение детально изучить этику, дабы оградить себя впредь от случайных следований ее законам...

— Ах, господи, зачем толковать о таких неаппетитных вещах! Лично меня мучает один чрезвычайно любопытный вопросик... вот уже скоро 50 лет, как умолкли родовые стенания меня породившей!.. Я просуществовал полстолетия! я пережил 11 министров внутренних дел и 27 революций... — а я все еще силюсь разрешить вопрос, который отчеканит назубок заурядный школьник... дело в том, что я не вижу существенной разницы между удовлетворением полового желания — и физиологическим отправлением...

— Кошмарная парраллель, я бы сказал...

— Гм, молодой человек, я искренне сожалею, что вам, коллекционеру новейших истин, непонятно то, что выбрасывание половых секретов — не что иное, как заурядное физиологическое отправление... и в этом свете половая любовь предстает чем-то вроде мучений цивилизованного существа с переполненным мочевым пузырем, попавшего в великолепную и не менее переполненную гостиную, узревшего великолепный унитаз и не имеющего возможности извергнуть в него содержимое своих внутренностей!..

— О боже мой! Женщина — чувствительный ватерклозет!..

— Хе-хе-хе! А шестилетняя девочка — комфортабельная плевательница!..

— Лирика — плод томления человека, не знающего, куда высраться!

— Ха-ха-ха-ха!

— Да, да... По крайней мере, в половом влечении я не вижу положительно ничего высокого! Мне лично гораздо более удовольствия доставляет сидение на унитазе после сытного обеда, чем половые наслаждения и ласки самой что ни на есть умопомрачительно любимой, ччорт возьми!.. Ннет, господа, уж лучше срать в унитаз и заниматься онанизмом, чем овладевать предметом бешеной страсти, одновременно испражняясь на пол... Хе-хе...

— О господи! Неужели же нельзя без половых извращений! Меня приводит в бешенство одно слово — «онанизм»!

— А я считаю, что поползновение к онанизму — признак чувственной трусости, да, да, чувственной трусости... В лучшем случае — вторжения интеллекта в неприкосновенную, даже, я бы сказал, святую область эмоций!..

— Ах, какой вы, право, Утонченный Негодяй! Я лично, извините за нескромность, чрезвычайно страдаю интеллектностью своих эмоций: но, говоря откровенно, статья профессора Рихтера отбила у меня охоту к поискам новейших методов мастурбации...

— Ох, уж эта пресса! Мне подобные статейки, наоборот, прививают любовь к извращениям; по крайней мере, шофер, изнасиловавший шестилетнюю девочку, в продолжение почти получаса был моим кумиром!..

— Между прочим, я не без успеха подражал вашему кумиру... и я могу вас ошарашить истиной, которая осенила меня в процессе «подражания» — «духовно богатый человек склонен к удовольствиям, не приносящим наслаждения оппоненту — источнику удовольствия»...

— Шестилетняя девочка — оппонент!.. Гм...

— Ну и как, истина помогла вам убедиться в богатстве своего духовного мира?

— Перестаньте зубоскалить, молодой человек!.. и не считайте эрудированность показателем духовного богатства... у вас — искусство имитации мрачного скепсиса и мировой скорби — и тем не менее вы совершенно бездушны!!.

— Ах, какое, я бы сказал, глубочайшее проникновение в тайны моей психологии!..

— У вас — психология!!. Гм...

— Кстати — о психологии! Не встречали ли вы, господа, тип людей, сознательно бегущих счастья и обрекающих себя на страдания, которым мысль о том, что только его сознательные действия превратили его в страдальца и что он был бы счастливым, если бы предусмотрительно не лишил себя счастья, — дает ему почти физическое наслаждение!..

— Это, так сказать, проституция жалости!

— Мастурбация страданий! Ха-ха!

— И кроме того, не заметили ли вы, господа, что совершенно необязательно быть тонким психологом, чтобы прослыть им... Не нужно только уходить из области больной психологии и касаться психически уравновешенных...

— О-о-о! Психическая неуравновешенность — моя мечта! — и, смею сказать откровенно, в мечтах я уже — сумасшедший! О, вы не знаете, что такое бессонница мечты... и мечты, воспаленные от бессонницы...

— Боже мой! Как это плоско — кичиться своей мечтательностью! Лично я, еще будучи младенцем в стадии утробного развития, искренне ненавидел мечтателей!.. Мечты — презрение к воспоминаниям!..

— Ах! В таком случае вы должны восхищаться мной! Для вас я — Заурядный Болван, а ведь я в некотором роде неповторим... Я, может быть, единственный человек, который живет исключительно воспоминаниями... и, смею вас заверить, я — единственное цивилизованное двуногое, тщетно жаждущее найти среди разноцветной груды своих воспоминаний хоть одно — приятное...

— А меня, господа, всю жизнь томит заурядность... О-о! Сколько раз уже я посылал проклятия по адресу всевышнего и «Исключений из закона наследственности»!.. Я неутомимо удовлетворял похоти самок, пользующихся самой что ни на есть двусмысленной славой — и не заразился триппером! я бешено ударялся головой о Кремлевскую стену — и не мог выбить ни одной капли здравого разума! в продолжение трех суток без перерыва я безжалостно резал свое ухо диссонансами пастернаковских стихов и национального гимна Эфиопии — и, как видите, не сошел с ума!...Ах, господа, я плакал, как ребенок! Я проклинал чугунность своего хуя, лба и нервов и коварство вселенной...

— Боже мой! Как все это извращенно!

....

Все мгновенно смолкли.

И мне пришлось почти с благодарностью взглянуть на торжествующего негодяя.

Хотя все произнесенное мне импонировало, унисонило, — как вам угодно.

17 декабря

А собственно говоря, какого чорта позавчера я вспомнил о Ворошниной?

Неужели мне мало августа?

И я не радовался в октябре ее «аресту за преднамеренное устройство взрыва» на 3-м горном участке?..

И ведь это — ее вторая судимость!..

Собственно говоря, я только на зимних каникулах заинтересовался ее выходками... и если бы не статья в «Кировском рабочем», я, может быть, и вообще бы не вспоминал о ней...

Но ведь, что бы там ни говорили, она — моя одноклассница... и притом — единственная из всех наших выпускников, с которой мне пришлось школьничать с первого по десятый класс включительно...

И даже получением аттестата она в некоторой степени мне обязана...

Нет, нельзя сказать, чтобы я действительно питал к ней нежные чувства... А детское увлечение постепенно улетучилось...

Просто — мы несколько откололись от основной массы школяров и в 10-м классе были водонеразливаемы, совершенно не поддерживая связи с классом...

Откровенно говоря, меня пленяли ее хулиганские выходки на занятиях, тем более что я поражал всех скромностию и прилежанием... А после инцидента с ком. билетом она уже бесповоротно стала кумирить в моих глазах... хотя в школе слыла легкомысленной идиоткой с проституционными наклонностями...

Меня же лично мало интересовали ее наклонности... Я даже не удивлялся ее провалу при поступлении в институт и слишком легкомысленному восприятию этого провала. Меня взбесило только ее исчезновение из Кировска как раз в момент моего триумфального возвращения, — я даже не мог похвастаться перед ней поступлением в Величайший.

С первых же групповых занятий в университете меня несколько заинтересовала Ант. Григ. — «усеченная и сплюснутая Ворошнина» — и я искренне ее возненавидел...

В декабре, признаться, я был несколько ошарашен письменными извещениями Бореньки о привлечении Ворошниной к суду за недостойность...

Тем более, что после «самоповешения» отца она должна была несколько охладить свой пыл...

Прибыв на зимние каникулы, я с удовлетворением воспринял экстренное сообщение Фомочки, весь смысл которого сводился к тому, что он (т. е. Фомочка) — может быть, единственный представитель мужской половины Кировска, не испытавший удовольствия покоиться на пышных прелестях моего кумира... и сразу же вслед за этим сообщение Бориньки о том, что соревноваться с Ворошниной в изощренности мата не решается сам Шамовский...

Я без промедления благословил ее выносливость и изобретательность...

...И единственное, чего я опасался теперь, — случайного столкновения с ней...

Последнее, может быть, и не состоялось бы вообще, если бы 1-го февраля Бориньку, Минечку и Витиньку не пленило звучание одного из шедевров индийского киноискусства.

Сказать откровенно, я слишком туманно воспринимал трели Бейджу Бавры, потому что беспрерывная трескотня соседок, циничная поза сидящей справа Ворошниной — и вследствие этого тоска по цивилизации убили во мне способность к восприятию классических творений джавахарлаловых подданных...

Назавтра Витинька, удовлетворенно зубоскаля, констатировал: «Ерофеев дико смутился, когда увидел, что Ворошнина покинула веселые передние ряды и в сопровождении трех подозрительных девиц двинулась прямо по направлению к нему, презрительно окидывая взглядом переполненный кинотеатр и неестественно кривляясь»...

Правда, Витинька одновременно выражал сожаление в связи с тем, что они втроем вынуждены были внять вызывающе деликатной просьбе Ворошниной «поменяться местами» — и бросить меня на произвол пьяных девиц...

И я, признаться, тоже сожалел... Во всяком случае, меня не восхищала перспектива в продолжение двух часов вдыхать запах водки и пережженных семечек изо рта Ворошни-

ной, невообразимо краснеть и деликатно приобщаться к ее бесстыдной и стесняющей позе... Впрочем, я покинул кинотеатр чрезвычайно довольный собой — я вежливо отказался навестить ее в общежитии и, кроме того, уже не ощущал на себе кошмарного нажатия ее пышных прелестей...

Последующие 8 дней пребывания в Кировске протекли целиком в пределах четырех стен Юриковой квартиры, — в стороне от трезвости, Ворошниной, снежных буранов и северного сияния...

На первом же занятии по немецкому Антонина Григ. Муз. попала в поле моего зрения, и мне, без преувеличения, сделалось дурно...

В продолжение всего второго семестра я неутомимо прославлял дегенерацию и, стиснув зубы, романтизировал...

А лето совершенно уронило взбесившегося кумира в моих глазах...

Правда, и я летом числился уже в сознании кировских граждан не как «единственный медалист» и «единственный лениногорец», а скорее как неутомимый сотрапезник Бридкина...

К началу августа я вынужден был выработать иммунитет на восприятие любопытных взглядов — и, между прочим, не без благотворного влияния Лидии Александровны, представшей передо мной уже на следующий день после моего приезда в героический заполярный город...

Правда, в этот раз я несколько удивил ее утратой скромности и смущаемости и удачным ответом на традиционное приветствие...

Она же, в свою очередь, поразила меня изумительной способностью к бесконечному округлению даже при ежедневном воздействии алкоголя и еженощном испытывании давления со стороны комсомольских тел...

Кроме того, разминая онемевшую конечность, я внутренне пособолезновал всем тем, кому приходится здороваться за руку с этой смеющейся скотиной, а внешне сделал неудачную попытку отказаться от приглашения.

В этот день она была несколько сдержанна и даже извинилась, когда случайно вставила мат в сногсшибательную характеристику проходившей мимо рыжей девицы...

Два последующие совместные культпохода в «Большевик» несколько нас сблизили, и потому в начале августа я даже без трепета перешагнул порог ее комнаты.

В продолжение 2-х часов я тщетно пытался привыкнуть к одуряющему запаху духов и охотно внимал трескотне своего оппонента...

Сначала я устно выразил восхищение кротостию ее соседки, которую грубое приказание Ворошниной вынудило незамедлительно и безропотно покинуть «постоялый двор кировских Дон Жуанов»...

Потом с напускной неохотой помог ей допить «Столичную» и совершенно искренне восхищался ее изобретательностью в отношениях с посетителями...

Правда, последний ее рассказ настолько меня смутил, что я в продолжение 5-и минут безуспешно пытался согнать краску со своего лица и поднять глаза от стакана...

Дело в том, что как-то весной к ней пожаловали три первокурсника МУ, видимо чрезмерно распаленные хвалебными отзывами о ней и подстрекаемые сообщениями о «легкости» ее «уламывания»... И она, радушно встретив пьяных студентиков, не замедлила выкинуть несколько невероятных штук перед их восхищенными взорами... В конце концов, она заставили всех трех пасть на колени и лизать свои подошвы... — и, в довершение всего, прогнала распаленных посетителей, предварительно избив одного за «недостойность»...

И все это — с непременным хохотом, умопомрачительным смакованием фактов и периодическим потягиванием из стакана... Положительно в этот вечер она мне безумно нравилась...

Нет, я совершенно искренне восхищался ее умением требовать у кировских самцов раболепного поклонения в отношении к своей особе... Правда, я с трудом верил ее пьяным рассказам:.. ведь незадолго до этого она даже попросила меня отвернуться, когда подтягивала чулок...

Я решительно не понимал ее... Созерцая эту самодовольную, милую, пьяную физиономию, я никак не мог поставить ее рядом с той чистенькой первоклассницей, которая сидела со мной за одной партой и поминутно меня обижала...

Часов в 9 я покинул общежитие в состоянии романтически пьяной влюбленности... До самой железной дороги идущая рядом Ворошнина беспрерывно была встречаема насмешливыми приветствиями, которые вызывали в ней почему-то дикий хохот...

Признаться, я был оскорблен, когда уже на следующий

день Рощин через Бориньку выразил сожаление по поводу того, что мне «не повезло с Лидкой», а Тамаре Васильевне порекомендовали «держать в руках своего медалиста»... Впрочем, я и сам лично убедился 7-ого августа в неизлечимой тупости молодого поколения Кировска.

Меня просто взбесило нахальство ГХТ-товцев, которых не отрезвляли даже пощечины Ворошниной. А эта отвратительная сцена у киоска даже ослабила мою охоту иметь дальнейшее общение со своим благодетелем...

И, главное, меня раздражало ее легкомысленное отношение к своим собственным действиям и к своей популярности... Нет, я совсем не собирался ее убеждать, потому что единственной реакцией на мои убеждения было бы идиотское ржание... к тому же я слишком боялся ее, чтобы решиться на убеждение...

Единственный раз я почувствовал к ней что-то вроде жалости — в воскресенье 12-ого числа на вечере отдыха в Парке... Ее отвратительный вид чуть не вызвал у меня тошноту, — тем более что Бридкин в этот день был навеселе и с полудня неумолимо вливал в меня какую-то бурду, орошая слезами память моего родителя и судьбу единоутробного брата... Веселость моментально покинула меня, когда я узрел в распластавшейся за ларьком девице Лидию Александровну... Ее, вероятно, только что бешено рвало, белая кофточка была вымазана в чем-то отвратительном, мокрое платье слишком неэстетно загнуто... Уговоры Бориньки заставили меня оторваться от созерцания страдалицы... Но удивительно — я совершенно не чувствовал брезгливости, я только бешено ненавидел этих мерзких типов, которые ее споили и, изнасиловав, оставили в грязи под проливным дождем... Придя домой, я снова перечитал полученное накануне письмо Муз. с жалобой на жизненные страдания — и дико расхохотался...

А во вторник мне пришлось вновь возмущаться веселостью Ворошниной... Она бессовестно восторгалась прошедшим воскресеньем, поминутно извинялась за нецензурность — и я, к ужасу своему, убедился, что она и сегодня пьяна ввиду увольнения с РМЗ.

...Нет, ее совершенно не волновало лишение работы, она воинственно восседала на перилах Горьковской библиотеки, жонглируя моим Ролланом и качая ногами перед самым моим носом, и продолжала невозмутимо язвить по адресу

МГУ, любви, человечьих страданий, Надсона, Муз. и — моей детскости...

А 16-ого числа, с этого противного вечера одноклассников, началось самое главное... И удивительно то, что я упивался ее действиями, явно рассчитанными на то, чтобы отравить атмосферу школьным питомцам... Она хорошо знала, что пользуется дружным презрением «девушек-одноклассниц» и тем не менее решила явиться на вечер без приглашения, дабы произвести сенсацию сначала своим приходом, а потом своими очаровательными шалостями.

Правда, наш совместный с ней приход на вечер произвел далеко не сенсацию; я вынужден был констатировать всеобщее уныние и одновременно, затаив злобу, отразить несколько мрачных взглядов... Однако я понял с первой же минуты, что «очаровательными шалостями» Ворошнина если не произведет фурор, то, по крайней мере, заставит разойтись эти полторы дюжины впавших в уныние одноклассников.

Последние нисколько не были удивлены, когда Лидия Ал. церемониально извлекла из внутренних карманов пальто 2 прозрачных бутылки и цинично заявила, что «даже Веничка» считает их содержимое чрезвычайно полезным для желудка... Я, стараясь усилить невыгодное впечатление, произведенное ее словами, поспешил подтвердить гигиеническую верность гениальной фразы моего кумира...

В продолжение получаса Ворошнина торжествовала... И, казалось, ее совершенно не смущало то обстоятельство, что только я один осмеливаюсь разговаривать с ней и что мы в некоторой степени обособились.

...Захарова своим неуместным затягиванием «Школьного вальса» развязала, наконец, ей руки — и с этого момента я с нескрываемым восхищением следил за всеми ее движениями...

Прежде всего, заслыша робкую «пробу» Захаровой, она дико заржала, вызвав недоумение всех собравшихся, затем флегматично сообщила всем о своем презрении к песням вообще — и, в довершение всего, ошарашила милых одноклассников нецензурной приправой к своему лаконичному признанию... Фурор был неотразим... Я, признаюсь, проникся даже пьяной жалостью к этим девицам, которые — вместо того чтобы прогнать возмутителя спокойствия, — уныло справились друг у друга о времени, о погоде и стали медлен-

но одеваться... А Ворошнина продолжала неутомимо хихикать, ерзая по стулу и по моей ноге...

Нет, я нисколько не жалел о безжалостном разрушении вечёра... Я охотно помогал ей смеяться над письмом Муравьева и допивать водку из горлышка. Я так же охотно согласился бы сидеть до конца летних каникул на этой куче ж/д шпал под моросящим дождем и позволять обращаться с собой, как с грудным ребенком... Я преклонялся перед этой очаровательной пьяной скотиной, которая могла делать со мной все, что хотела...

На следующий день я от нее же узнал, что она не могла добрести до своей комнаты — и на лестнице ее мучительно рвало...

Вечер 18-ого числа совершенно неожиданно отрезвил меня... Первый же рассказ, которым меня встретила Ворошнина и который больше походил на похабный анекдот, до такой степени озлобил меня, что я утратил всякую боязнь — и осторожно послал ее к черту... В ответ она по традиции глупо заржала и пообещала завтра же всем сообщить, что она послана к черту самим Ерофеевым...

В тот же вечер ее в совершенно пьяном состоянии и отчаянно ругающуюся вывели из танцевального зала 2 рослых милиционера и препроводили в отделение... При этом ей за каким-то дьяволом понадобилось громогласно вопить, что она не виновата и что ее споил Ерофеев...

Наконец, ее поведение 21-ого числа на «Пламени гнева» вынудило меня даже удалиться из кинотеатра под дружный хохот окружающих ее девиц и всеобщее недовольство зрителей...

С этого вечера я уже совершенно ее не понимал; меня бесило то, что она слишком чутко внимала Рощинской клевете; я не мог себе представить, чтобы Ворошнина мне верила меньше, чем оскорбительным сообщениям заурядного Петеньки; я положительно возненавидел ее...

23-его числа, заметив ее, возвращающуюся из рудника в сопровождении 2-х чумазых подростков, я вынужден был предусмотрительно свернуть вправо и профланировал параллельно.

Когда же до меня донесся веселый смех этих трех скотов, гоняющихся друг за другом и осыпающих матом все и вся, мне стало дурно, у меня помутилось в глазах... Я готов был сию же минуту исплевать Заполярье и благословить

Московскую непорочность... Меня тошнило от Кировска и от беспрерывного пьянства...

И 24-ого я уже действительно плевался, когда, сидя ночью на скамейке, узрел Ворошнину, проплывающую мимо школы. Я до такой степени растерялся, что не успел убраться в темноту — эта скотина уже предстала перед скамейкой и, умопомрачительно изогнувшись, затрясла передо мной всеми своими прелестями... Я поспешил справиться, что должна означать эта многозначительная пантомимика — она ошарашила меня в ответ довольно остроумным контрвопросом: «Хотите ирисок, Веничка?», — и затем, видимо удовлетворенная моим отказом, не меняя дикции, выразила сожаление по поводу того, что более многоградусное осталось дома, флегматично погладила свои бедра и, мазнув меня по лицу всей своей массой, вразвалку направилась к шоссе. А в ответ на свое душевное: «С-с-скотина!» я опять услышал это идиотское ржание — и застучал зубами от холода...

Возвращаясь домой, я почему-то вспомнил, как, будучи семиклассником, мелом разбил стекло и потом робко укорял Ворошнину за то, что она взяла вину на себя... Тогда она смеялась ласково, по-детски...

Вечером 26-ого я уже переехал Полярный Круг, совершенно не вспоминая об утраченном кумире...

В конце октября, уже будучи в Москве, я с удовлетворением узнал о ее аресте и с тех пор ее судьбой не интересовался... Да и, собственно, какого дьявола меня должна волновать ее судьба... если она сама за всю жизнь не смогла выдавить из себя ни одной слезы...

...и ее участь никто никогда не оплакивал...

18 декабря

Пи-и-ить!

Пиииииить!

Пи-и-ить, ттэк вэшшу ммэть!!!

30 декабря

Да, да! Войдите! Тьфу, ччорт, какая идиотская скромность...

Ну, так как же, Вл. Бр.? Вы отказываетесь? А у вас, это, между прочим, так неподражаемо: «На-а-а земле-е-э-э ве-эсь род...»

А мнения все-таки бросьте, пожалуйста... И «женскую душу», и «женскую натуру» — тоже бросьте... Да и возлагать на меня не стоит...

Да входите же, еби вашу мать! А! Это вы! Стоило так долго стучаться! Хе-хе-хе, ну как, что новенького? Что?! Даже откровенничать! Ха-ха! Откровенничать! Обнажаться, значит... Ну, что ж — прреподнесем, препподнесем!

Совершенно одна! Хи-хи-хи-хи!.. Да, да, конечно, это до чрезвычайности трагедийно... Единственное — старушка-мать... И не издохла?.. Да нет же, я хотел спросить: «И вы очень ее любите?»... Да неужели?! И вы — не спились, не взрезали перси?.. Ну да, конечно, конечно, «единственное — старушка-мать» и больше никого, совершенно никого... И тем не менее — уйдите!..

Да нет же! Не на хуй!.. Просто — уйдите...

Да не глядите же на меня так! Чем я, собственно, провинился?.. Бросьте это, А. Г., серьезно вам советую — бросьте!.. Ведь мы же, в конце концов, вчера снова обменялись взаимными плевками и теперь, по меньшей мере на неделю, зарядились злобой... И у меня сегодня просто нет настроения торговать звериными инстинктами... Угу! всего!

Да, да! А. Г., вас давно сняли с веревки?.. Как! Вас и не поднимали?! Ха-ха-ха! Вы только послушайте — как она мило острит!.. Значит, вас серьезно не снимали?.. Ах, да! Как я мог снова перепутать? Эй!..

Да нет, это я не вам... угу, до свиданья...

Эй! Лидия Александровна!.. Ну, как вы там? А? Хе-хе-ххе-хе-хе! Ах, ну дайте же, я паду ниц! Что? Как это так! — не стоит! Как будто бы я не падал шестнадцатого!..

Фу! Какие у вас ледяные ноги!.. И этот ебаный буран еще раскачивает их! Ччорррт побери, ведь ровно год назад и в такой же буран ОН здесь качался!.. И ваш покойный родитель тоже... ха-ха-ха... тоже! Ах, как вы плакали тогда, Лидия Александровна, как мило вы осыпали матом вселенную и неудачно имитировали сумасшедший бред... Хи-хи... Нет, не врите... Вы не были потрясены! Вы издевались, ччорт, вы хихикали!..

Да прекратите же, в конце концов, раскачиваться... Хоть после смерти-то ведите себя прилично и не шуршите передо мной ледяными прелестями... Я не горбун Землянкин! Хе-хе!.. Вот видите — вы даже можете хорошо меня понимать!..

2—3417

Когда речь заходит об августовских испражнениях, вы непременно все понимаете...

Ах! Вы уже не сможете теперь испражняться так комфортабельно и так... *непосредственно...* А ведь он, смею вас заверить, трепетал от умиления... И я почти завидовал ему! Слышите ли? — завидовал!! Еще месяц — и я раболепствовал бы в высшей степени... Как вы были очаровательны тогда, тьфу!..

Вы мне позволите, конечно, еще раз прикоснуться губами... Да нет же! Что еще за буран! Вы — каменная глыба! Вы — лед! И тем не менее вы продолжаете гнуться! Какой же еще, к дьяволу, буран!

Ха-ха-ха, вы притворяетесь, что не слышите меня! Вы нагло щуритесь! Вы — прельщаете!.. Хе-хе... Прревльщаете!

А водка-то льется, Лидия Александровна! Льется... еби ее мать!.. щекочет трахею... сорок пять градусов! Хи-хи-хи-хи, сорок пять градусов!.. Шатены... хи-хи-хи... брюнэты... блондины... Триппер... гонорея... шанкр... сифилис... капруан... фильдекос... креп-жоржет... Их-хи-хи-хи-хи!.. А Юрик-то... помните... кххх — и все!.. Кххх! — И все!!! И северное сия-яние! Северное сия-а-ание!..

3 января

Вот видите — вам опять смешно.

Вы не верите, что можно вскармливать нарывом. А если бы вы имели счастье наблюдать, то убедились бы, что ЭТО даже достойно поощрения.

И сейчас я имею полное право смеяться над вами. Вы не видите, вы не внемлете моим гениальным догадкам — и не собираетесь раскаиваться.

А я созерцаю и раздраженно смиряюсь.

«Значит, так надо».

«Мало того — может быть, только потому-то грудь матери окружена ореолом святости и таинственности».

Ну, посудите сами, как это нелепо!

Я пытаюсь даже рассмеяться... И не могу. Меня непреодолимо тянет к ржанию — а я *не умею* придать смеющегося вида своей физиономии...

Я сразу догадываюсь — мороз, бездарный мороз. Мороз сковывает мне лицо и превращает улыбку в идиотское искривление губ.

Я воспроизвожу мысленно фотографию последнего но-

мера «Московской правды»... обмороженные и тем не менее улыбающиеся физиономии... Проклинаю мороз и разуверяюсь в правдивости социалистической прессы.

Дальнейшее необъяснимо.

Ребенок обнажает зубы, всего-навсего — крохотные желтые зубы... Обнажение ли, крохотность или желтизна — но меня раздражает... Я моментально делаю вывод: «Этому тельцу нужна вилка. И не просто вилка, а вилка, исторгнутая из баклажанной икры».

Ребенок мотает головой. Он не согласен. Он кичится своей разочарованностью и игнорирует мою гениальность. И эта гнойная... эта гнойная — торжествует!

Я вынужден вспылить!

Как она смеет... эта опьяненная сперматозоидами и извергнувшая из своего влагалища кричащий сгусток кровавой блевоты...

Как она смеет не удивляться способности этого сгустка к наглому отрицанию!..

Но рука не подымается. Мне слишком холодно, и я парализован. Я сомневаюсь — достанет ли сил протереть глаза...

Можно и не сомневаться.

Я лежу и выпускаю дым. В атмосфере — запах баклажана. А в пасти хрипящего младенца все тот же сосок, увенчанный зеленым нарывом...

Сам! Сам встану!

ДНЕВНИК

4 января –
27 января 1957 г.

Продолжение записок психопата. II

4 января
Встретив лицом к лицу, робко опустить голову и пройти мимо в трепетном восторге и смущении...

...проводить взглядом удаляющуюся фигуру — и, хихикнув, двинуться вослед...

...осторожно ступая, подкрасться — и нанести искросыпительный удар по невидимой сзади физиономии...

...не предпринимая никаких попыток к бегству, попрежнему робко опустить голову и безропотно упиваться музыкой устного гнева...

...неутомимо льстить, лицемерить, петь славословия, свирепо раскачиваться, яростно извиняться, — пасть на колени и лобызать все что угодно...

...рабским взглядом поблагодарить за ниспосланное прощение и убедить в *неповторимости* происшедшего...

...на прощание — ласково солидаризироваться в вопросе о нерентабельности поэтической мысли...

...при возобновлении удаления — издалека нанести удар чем-нибудь тяжелым — и тем самым обнажить отсутствие совести и способность на самые непредвиденные метаморфозы...

...и продолжая свой путь, заглушать тыловые всхлипывания и мстительные угрозы напевами из Грига.

5 января

Утром — окончательное возвращение к прошлому январю.

Тоска по 21-ому уже не реабилитируется. Нелабильный исход — не разочаровывает.

Даже по-муравьевски тщательное высушивание эмоций и нанизывание на страницы зеленых блокнотов — невозможно.

Высушивать нечего.

Впервые после 19-го марта — нечего.

Пусто.

7 января

Помните, Вл. Бр.? — Вы говорили:

«Ерофеевы — тля, разложение, цвет, гордость. О Гущиных не говорю... Мамаша эта твоя, Борис и сестры — просто видимость, Гущины, мамашин род... Эти — просуществуют... А Ерофеевыми горжусь... Папаша в последние минуты всех посылал к ебеней матери... а тебя не упоминал вообще... Мать, наверное, говорила тебе?..

...Еще налить?

Двадцать лет в лагере — это внушительно... И Юрик прямо по его стопам... Водка и лагерь — ничего нового... Совершенно ничего нового... А это — плохо... Скверно... Спроси у любого кировчанина — каждый тебе ответит: Юрий — рядовой хулиган, Бридкина наместник — и больше ничего... На тебя все возлагают надежды... Ты умнее их всех, из тебя выйдет многое... Я уверен, я еще не совсем тебя понимаю, но уверен...

А за университет не цепляйся... И не бойся, что в Кировске взбудоражатся, если что-нибудь о тебе услышат... Все равно — ты уже наделал шума с этими своими тасканиями, Тамара уже смирилась и мать — тоже...

И не бойся тюрьмы... Главное — не бойся тюрьмы... Тюрьма озверивает... А это — хорошо. Бандиты эти грубые, бесчувственные — но не скрывают этого... Искренние... А ваши эти университетские — то же самое, а пытаются сентиментальничать... Умных мало — а все умничают... Чувствовать умно надо, чувствовать не головой, но умно... А ваши

эти все — холодные умники... Тебе с ними не по пути... Они просуществуют, как твои Гущины...

Они не хотят существовать просто так... Они в мечтах — мировые гении... И, мечтая, существуют... Я знаю этих типов, я сам учился в университете... и — знаю... Они чувствуют — когда есть свободное время... И даже сладострастничают — только внешне... Я — знаю...

Они могут доказать ненужность того, чего у них нет... и для них это — признак ума... Главное для них — чистота... чистота своих чувствий... А их, этих чувствий, у большинства, почти у всех — немного — и содержать их в чистоте — нетрудно... Они, эти цивилизованные, будут ненавидеть тебя — говорю совершенно серьезно — ненавидеть! Все запоминай... и всем — мсти... Извини, что я, пьяный, учу тебя — вместо родителя... Ты — особенный, только на тебя и можно возлагать надежды... Главное — избегай всегда искренности с ними, — немного искренности — и ты прослывешь бездушным, грязным, сумасшедшим...

Ты! — бездушный и грязный! Хе-хе-хе-хе...

Налить еще, что ли?»

8 января

О! Слово найдено — рудимент! Рудимент!

9 января

Даже для самого себя — неожиданно:

Оскорбленный человек первый идет на примирение, а я не удостаиваю взглядом, спокойно перелистываю очередную страницу «Карамазовых» и — не подымая головы — лениво:

Катись к чорту.

И ничуть не смущает ответное скрежетание:

Ид-диот.

Все — спокойно, умеренно злобно, внешне — почти устало, без излишней мимики, а тем более — дрожи...

Удивительно, что спокойствие — не только внешнее...

По-прежнему шуршат «Карамазовы» — и никакого волнения.

10 января

. . . .

11 января

Каюсь публично! – Пятого числа бессовестно лгал! И эти мои словечки – все ложь!!

И – никакой «пустоты»! Очередное кривляние – только и всего! И я вам докажу, что нет никакой «пустоты»! Докажу!! Сегодня же!

Вечером!! Прощайте!

12 января

Темно. Холодно. И завывает сирена.

Отец. Медленно поднимает седую голову из тарелки; физиономия – сморщенная, в усах – лапша, под столом – лужа блевоты. «Сыннок... Изввини меня... я так... Мать! А, мать! Куда спрятала пол-литра? ...А? Кккаво спрашиваю, сстарая сука!! Где... пол-литра? Веньке стакан... а мне... не могу... Ттты! Ммать! Куда...»

Шамовский. Отодвигая стул. «Бросьте, Юрий Васильевич, это вам не идет!.. Хоть жены-то постесняйтесь... ведите себя прилично...» Встает, длинный, изломанный, с черной шевелюрой... делает два шага – и падает на помойное ведро...

Харченко. Нина. Лежит в красном снегу, судорожно извивается. «И-ирроды! За что!.. В старуху... Тюррре-э-эмники-и!.. Тюре-е...» Юрий. Невозмутимо. «Пап, заткни ей глотку».

Ворошнин. Вскакивая. «Не позволю! Не позволю! Без меня никто работать не будет! Директора убью! Сам повешусь!! А не позволю!.. Боже мой... Сил моих нет!.. Все, все – к ебеней матери!»

Викторов. Совершенно пьяный. Кончает исповедываться, хватает вилку и, упав на стол, протыкает себе глаз.

Бридкин. Недовольно поворачивая оплывшую физиономию. «А-а-а... опять... москвич... Ну-ну... Ты слышал про Шамовского? Нет?.. Вчера ночью... застрелился... И мне за него стыдно, не знаю – почему, а стыдно... Садись, я заплачу... Эй! Ты! Толстожопая! Еще триста грамм... Застрелился... Никого не предупреждал, кроме сына... Это – хорошо...»

Юрий. Прохаживается взад и вперед. Пинает все, что попадается под ногу. Взгляд тупой. «Тюрьма все-таки лучше армии. Народ веселый... Вчера в дробильном цехе работа-

ли, двоим начисто головы срезало под бункером, все смеялись... и я тоже. Бригадир споил, ни хуя не понимали, я даже ничего не помню... Я вообще пьяный ничего не помню... и не соображаю... делаю, что в голову придет... забываю вот только вешаться... пришла бы в голову мысль — обязательно бы повесился. Это, говорят, интересно, — вешаться в пьяном виде, один у нас хуй вешался, рассказывал — как интересный сон, говорит...»

Андрей Левшунов. Вдруг поднимает голову и, схватившись за грудь, начинает яростно изрыгать в стакан. В бессилии откидывается на спинку стула; затем неожиданно хватает стакан, выпивает до дна — и снова наполняет. И так — бесконечно, и под хохот одобрения.

Ворошнина. Лежит под одеялом. Потягивается. «Ба-а-а... Веничка!.. проходи, проходи, садись сюда... (Валинька! Вышвырнись-ка, милая, на полчасика... угу...) ...да ближе, вот сюда, на постель, какого черта еще стесняешься... Ну, тепло?.. хи-хи-хи-хи... скромность-то где... и по-матерински согревать нельзя... ребенок — и все... может, тебе еще свою титьку дать... вот уж интересно, как бы ты стал сосать... хи-хи... а мне целовать нельзя, — хуй знает — может я вся — заразная, венерическая... Ну, чего ты пугаешься? Уй, какой ребенок... Ну-ка, Веньк, наклонись, от меня пахнет? Нет? Ну — ты наверно, сам наглотался и не чуешь... Хи-хи-хи...»

Бридкин. Оживляясь. «Хе-хе-хе-хе... Вчера ваш этот, Сашка, был у меня... Слышал? Баба-то недосмотрела... В собственной блевоте задохнулся. Насмерть. Лежал вверх лицом и задохнулся... Все перепились, гады, и не обратили внимания... Жаль, ты вот не пришел... Тебя ждали... А этот теперь уже в больнице. На «скорой помощи» ночью увезли... Все равно уже... Говорят, из легких капустные листы вынимали... Врут, наверное...»

Фаина. Закрыв лицо. «А ты думаешь — я не плачу, я больше ее плачу, если хотите знать, больше всех... Ей «душно»! А мне — нет, что ли? Душно ей!.. Ха-ха-ха! Ведь выдумает тоже — душно!..»

13 января

Сначала — странное помутнение перед глазами. Помутнение, которое бывает у людей болезненных от резкого перехода в вертикальное состояние... Потом и все существо заволакивается той же мутью... И я засыпаю...

Я не просто засыпаю. А засыпаю с таким ощущением, будто усыпление идет откуда-то со стороны: меня «засыпают», а я осторожно и безропотно, дабы не огорчить их, поддаюсь усыплению... Постель, оставаясь верной традиции, опускается куда-то вниз (в Неизвестность или куда-нибудь еще... — безразлично), — а я словно отделяюсь от нее и на ходу моментально соображаю, что мое «отделение» — совсем даже и не вознесение в бесконечность, а самая что ни на есть заурядная потеря ощущений...

Каждый день я засыпаю именно так — и нисколько не жалею, что широчайший диапазон всех прочих методов засыпания мне недоступен...

А сегодня со мной творится нечто странное. Даже не со мной, а с постелью, которая в категорической форме изъявляет свое нежелание опускаться в отведенную ей Неизвестность... И не только отказывается; а словно издевается над тем, что я не могу, в силу ее статического состояния, теряя одно за другим свои наглые ощущения, потихоньку улетучиваться в Бесконечность... (ну, да ладно, пусть — «Бесконечность»).

Но я ничуть не разгневан. Наоборот, я чрезвычайно доволен тем, что мое ложе наконец-то вышло из повиновения... Это — своего рода восторг, выражаемый по поводу пробуждения национального самосознания чего бы то ни было... черта, свойственная мне... да еще, может быть, паре миллионов самых оголтелых коммунистов...

Но в данном случае мой восторг несколько умеряется тем, что мой (мой собственный! хе-хе) круп играет незавидную роль горизонтально распластавшейся метрополии и потому не может испытывать особенной радости от созерцания обнаженных суверенитетов...

И самое непредвиденное — и самое раздражительное для меня — это зверский холод, который охватывает понемногу мое ложе и, следственно, — меня самого. Я поворачиваюсь на бок и силюсь разгадать причины беспочвенного похолодания. Я пробую вслух проследить температурную эволюцию моего ложа — но вслушавшись в свою речь, с неудовольствием замечаю, что с уст моих срываются рассуждения на темы слишком далекие от каких бы то ни было эволюций...

В конце концов, меня заинтересовывает тот факт, что моя устная речь, как будто из презрения к ходу моих мыс-

лей, течет в совершенно другом направлении... Ччорт побери... Значит, я сплю! Сплю! Потому что только во сне может иметь место такой безнравственный разлад!

И мысль о том, что я все-таки заснул, заснул несмотря ни на что, — очаровывает меня до тошноты... со слезами умиления я прощаю своему ложу и отказ от эвакуации в Неизвестность, и попытку спровоцировать температурный путч... Все! Все прощаю! И уже с нескрываемым интересом слежу за направлением своих устных высказываний, кому-то возражаю, озлобляюсь, угрожаю 51-ой статьей...

— Ну да, конечно, я вполне с вами согласен... И удои, и удои повысятся непременно! Еще бы — не повысились удои!.. Ну, уж а это, пожалуйста, бросьте... Где она может помещаться, эта задняя нога... И почему — именно у Кагановича — задняя нога!.. Чорт побери, если бы вы заявили, что у Энвера Ходжи — два хуя, я бы и не стал возражать вам... как-никак, принадлежность к албанской нации — веский аргумент... Но... у Кагановича — задняя нога!.. Это уже слишком, молодой человек!..

Мне, в сущности, все равно, кому я возражаю. Мне абсолютно наплевать, кто мой оппонент — Спиро Гуло, Вавилонская башня или Бандунг... Мне просто доставляет удовольствие разбивать положения вымышленного оппонента — и в пылу дискуссии я имею полное право называть его не только «молодым человеком», но и, если угодно, ослом. Кто, в конце концов, сможет меня убедить, что я имею дело не с ослом, а с Вавилонской башней?

В сущности, и сам предмет нашей дискуссии мало меня интересует; и если бы аксиома о задней ноге не была выдвинута в такой категорической форме, я бы, может быть, даже поспешил солидаризироваться... Но все дело в том, что я не терплю категоричности, тем более если эта категоричность подмывает репутацию партийного вождя, а, следовательно, и международный авторитет моей нации... Я продолжаю дискутировать — из чисто патриотических побуждений...

— Вы говорите, у Кагановича — задняя нога... Но (дьявол вас побери и извините за выражение) где же гарантия того, что у Шепилова есть кадык? — или — что у Шепилова не три, а четыре кадыка? И потом — 56 млн. тонн чугуна сверх плана в первый же год шестой пятилетки — это что? Ззадняя нога?!.. А новогодний бал в Кремле? А отставка Идена!

А Низами! А удои! Чоррт побери, удои! — о которых вы с таким жаром распространялись! — возможно ли все это при наличии у Кагановича задней ноги!..

И меня охватывает неудержимая радость от сознания бессилия моего оппонента и способности моего мышления ко всеразрушающей логичности... В упоении я размахиваю руками, дабы и физически доконать своего противника — и с удовлетворением сознаю, что мои удары приходятся точно по ее (ее!) толстым икрам... Говорю — «ее» — потому что угрожающее движение со стороны этих же икр заставляет меня очнуться и узреть, наконец, и свое состояние, и позу моего загадочного противника...

— Молодой человек! Как вам не стыдно!

Собственно, о каком стыде идет речь? Неужели эта женщина думает, что я лежу перед ней в снегу, только потому что я пьян?! Но ведь я только сейчас почувствовал, что лежу в снегу, — и, может быть, я и вообще не лежу в снегу, а мне просто снится, что я лежу... Нет, пусть она сначала докажет мне, что окружающий меня белый комфорт — не сновидение и что она сама — не Вавилонская башня и не Дух Женевы... Нет, пусть все-таки докажет, — а потом уже укоряет меня в отсутствии стыдливости...

— Послушайте, гражданка! — Вы... это... серьезно говорили об удоях?..

Ну вы подумайте! Она еще смеет прикидываться дурочкой! Она, видите ли, не понимает, о чем я говорю!.. Что-о? Вы — студентка Юридического факультета?.. Ну да, это очень, очень похвально... но не обязывает же это вас, в конце концов, прикидываться ничего не понимающей или разыгрывать роль мраморной Галатеи!..

— И потом: что вам собственно от меня надо? Я же вам кажется убедительно доказал, что ваши рассуждения насквозь нелояльны...

О-о-о! Она даже не скрывает этого!.. Но если вы не скрываете — для чего же говорить мне о каких-то утренних разочарованиях... Неужели вы серьезно пробуете меня уверить в том, что утром я буду еще в чем-то разочаровываться?.. Или вы считаете меня неизлечимым идиотом!.. (Хи-хи-хи-хи)... Нет, вы послушайте:

— Вот вы говорите: разочаровываться, интуиция, предчувствие, тревога, симпатия, стремление и пр. и пр. — так ведь это же одна видимость, комбинация звуков, а поня-

тий — нет... вернее, в психике-то нет таких моментов. Я хочу сказать — не просто «нет» — а «не было бы», если какому-нибудь первобытному дурню не посчастливилось бы так удачно подставить одну букву к другой — и не получить что-нибудь вроде «стремление»...

Что? Зад чешется? Ну да, это конечно...

— Но все это я к чему говорю? Да дело в том просто, что эти-то комбинации звуков и действуют на меня, вызывая определенные эмоции... Ну, сами посудите, если бы я не знал слова «разочарование» и не знал бы, что после «р» (непременно — «р»!) следует «а» (а не «и» и ничто другое) и т. д. и т. д. — разве же могла бы прийти мне в голову мысль когда-нибудь и в чем-нибудь — «разочаровываться»...

Да перестаньте же! Ведь я, как-никак, — мужчина...

— И потом — признайтесь! — у вас конечно же часто бывает эдакое неуловимое настроение, даже не «неуловимое» — а... «несказанное»... да нет, не «несказанное»... ну да ччерт с ним; одним словом — признайтесь, вы часто заявляете, что у вас... гм... настроение, не находящее, так сказать, выражения словесного... А вот я вам не верю! Не верю — и все! Где у вас гарантия того, что ваше настроение действительно «не находящее выражения словесного» — если оно не находит словесного выражения! Потом — само выражение: «не находящее словесного выражения» — это просто отказ от словесного выражения вашего настроения, но никак не его выражение! Значит — нет! Нет у вас ничего! И быть — не может! Все эти дамы вашего возраста имеют обыкновение хвастаться эмоциональной неуловимостью! А ваше хвастовство — зауряднейшая стыдливость!.. Вы даже себе самой боитесь признаться, что, так или иначе, — а все ваши эмоции, как сдобные баранки, нанизаны на чешуйчатый член какого-нибудь стремительного сына Кавказа!..

Я хорошо понимаю, что говорю нелепости. Говорю нелепости, потому что еще не сознаю толком, сон ли — мои нелепости или в самом деле я околачиваюсь в сквере Стромынского студгородка. Если я действительно извиваюсь перед этой корректной дамой (говорю — корректной — и закрываю глаза на ее безнравственные почесывания, — оцените по достоинству мою склонность к уважению недостойных!) — если это действительно так, то не могу же я *молча* пускать дым в носовую полость этой дамы. Но, ччорт побери, если я сплю — зачем напрягать ум и гениальничать? — в конце

концов, навеки останется тайной, высказывал ли я во сне мировые истины — или безбожно играл словами! Мало того — я сплю — и никто не имеет права обязывать меня к разговору, я могу замолчать вообще — и никто не будет удивляться моему молчанию, потому что и удивляться в сущности — некому... А что касается этой дамы, так она — (дьявол меня побери, если это не так!) — обыкновеннейший объект моего сновидения и, следственно, своего рода собственность моей фантазии, — и я имею вполне законное право ею распоряжаться...

Да и не только ею, но и вкусами, наклонностями ее и т. д. и т. д... Почему бы мне не сделать ее женщиной оригинальной, принимающей, например, любую нелепость за гениальную догадку, исходящую от уст партийного руководителя или божьего праведника... Не снизойдет же ко мне в сновидении женщина с твердой и последовательной философской системой — (избави бог! хотя, заверяю вас, в ее ежеминутных почесываниях было что-то философское и уж, конечно же — последовательное). Да почему бы мне, в конце концов, не представить ее существом зоологическим, способным понимать исключительно лишь язык дворовых собак, — и тогда кто мне запретит встать на задние лапы и лаять по-собачьи? Что бы вы там ни говорили, — а в сновидении я существо вполне суверенное. И потому плюю на все и продолжаю паясничать...

— Вы еще недостаточно ясно, барышня, представляете себе «половую стыдливость»... Это не просто боязнь обнажения. Если вы серьезно считаете, что это исключительно боязнь полового обнажения, то вам просто... несколько не хватает тонкости... Неужели же в общении с представителями противоположного пола вас никогда не охватывала эдакая своеобразнейшая стыдливость — стыдливость, проистекающая от опаски признания со стороны представителя противоположного пола вашей принадлежности к своему полу... Или даже не так: от опасения признания в себе признаков своего пола перед лицом представителя противоположного пола, отрицающем в себе наличие данных признаков... Или — нет... ну, да ладно... Если вы действительно студентка Юридического факультета, то я, пожалуй, поспешу прекратить вдавания в подобные тонкости...

— Вы, кажется, что-то говорили о симпатиях?.. Да, да, я с вами с совершенностию солидарен!.. Обязательно! Обяза-

тельно — противоестественность! В самом естестве человека заложена жажда противоестественности — и ваши эти пресловутые «симпатии» — ярчайшее тому доказательство... Обычнейший примерчик — вы (о, извините, если я буду несколько груб) — вы никогда — никогда! — не почувствуете настоящего, убедительного влечения к мощному звероподобному самцу... потому что сами вы с гордостию осознаете выдающийся (выдающийся до крайности!) характер ваших гениталий... Точно так же — здоровенному самцу гораздо более по вкусу создания легкие, хрупкие, — если угодно: прозрачные, миниатюрные... — и он в то же время с чрезвычайным раздражением взирает на переполненные до отказа бюстгальтеры... Половому удовлетворению всегда предпочитается половое упрямство... Это — чисто человеческое; это — оригинальничанье мыслящих...

— Мыслящих! Именно — мыслящих! Потому что даже симпатизирует человек — половым органом с примесью разума! — но уж никак не левым предсердием и не правым желудочком!.. Что? Жар в крови!? (Хм... Отрадный факт! Юристка — и... «жар в крови»...) Ну да, собственно, есть и жар; никто не отрицает, что жар действительно имеет место, — но не будете же вы мне возражать, если я замечу, что ваш пресловутый жар вызывается движением бешено несущихся курьеров — от разума к половому органу и от полового органа к разуму!.. И ваше сердце (о, не обижайтесь, прошу вас!) ваше сердце — банальнейший постоялый двор, в котором вышеупомянутые курьеры имеют обыкновение (и довольно похвальное обыкновение) инсценировать пьяный дебош и богохульствовать...

— Вот вам жар в крови и усиленное сердцебиение!.. Вы меня понимаете?

Ну, еще бы не понимать! Она не только меня понимает, но даже выражает полнейшее согласие и игнорирует мое поползновение к грубоватости... Ну, уж а это, пожалуй, лишнее... — издавать мои гипотезы массовым тиражом! — что за убожество, подумайте сами! Вот лечь в постель — это я сделаю с преоткровеннейшим удовольствием... и даже сопроводить вас до комнаты готов с безграничной охотой...

«Лечь в постель»... «с преоткровеннейшим удовольствием»... — но, собственно, зачем мне ложиться в постель, если я уже заснул? и зачем засыпать, если я и без того лежу в постели и сплю... Мне просто стыдно (стыдно!) засыпать во сне — и

погружаться в сновидения только для того, чтобы ложиться в постель и снова засыпать!.. Тьфу, что за дьявольщина! Какой черт растолкует мне теперь эту галиматью!..

Нет, ну почему же мне должно быть стыдно чувствовать во сне погружение в сон?.. И нисколько даже не стыдно! Наоборот, до чрезвычайности интересно! И вообще, смею вас заверить, во сне все интересно, — тем более когда чувствуешь, что все ваши действия — не ваши... да нет же, ччерт побери, — ваши! — но действия человека, отчетливо сознающего, что все происходящее — сон и потому получающего неограниченные возможности в области изучения своих сонных действий...

Ну, вот неужели мне не интересно знать в данный момент, какое движение произведет моя передняя конечность, — тем более что я не властен над нею... Неужели же не любопытно: быть самому вершителем — и одновременно наблюдать себя со стороны! Чрезвычайно! чрезвычайно любопытно!..

— Послушайте, гражданка, вы все-таки не верьте себе... Не верьте, что вы его любите... (я говорю просто так... меня заставили говорить — и я говорю... (заставили!)... Я с любопытством внимаю каждому своему слову — и не знаю, что последует за этим словом... Я мучаюсь незнанием того, какое же следующее слово вытянут из меня... Я смеюсь над своей беспомощностью — и радуюсь тому, что эта беспомощность — только во сне...) Вы все-таки не верите, что любите его! Вы просто убеждаете себя, что любите! Человек не может любить, он может только *хотеть* любить того или иного человека — и в зависимости от размера *охоты* — убедить себя в большей или меньшей степени в том, что он действительно любит данного человека! Вот вы — вы совершенно убеждены, что вы его любите... Но — представьте себе — вы попадаете под трамвай, обрушиваетесь с небоскреба или выигрываете 100 000 рублей по облигации государственного 3%-ного внутреннего выигрышного займа!.. Как бы вы меня не уверяли, но в данный момент вам такое же дело до *него* и его эмоций, как моему мизинцу на левой ноге — до эволюции звука «и» в древневерхненемецком наречии... Потому что у вас нет, нет времени убеждать себя в том, что вы любите его!..

И почему я уверил себя, что все эти словоплетения вливаются в меня со стороны? Если я все-таки не сплю, — то кто

же помешает мне сейчас быть самим собой, исплевать «это пресловутое внешнее воздействие, взять в собственные руки инициативу», — и ударить в затылок эту чересчур уж любящую женщину?.. Ну, а если (боже!) я действительно заснул, — так это опять же до невыносимости интересно — видеть себя во сне прикидывающимся неспящим и одновременно наблюдать со стороны, как же это я буду освобождать себя от наблюдения со стороны!..

Опять парадоксы! Но, чорт побери, они давно уже надоели мне, эти парадоксы!.. Я устал!.. Устал! И если бы положение мое действительно не было парадоксальным, я бы давно уже махнул рукой на все и лег спать... («лег спать»!.. Ддьявол!!)

— Извините, гражданочка, — это ваша комната?.. Ну, в таком случае я отказываюсь бить вас в затылок и удаляюсь со стремительностью существа нравственно гармонического!.. Спокойной ночи!..

В конце концов, я даже не рад, что освободился от этой дамы... Кто бы она ни была — объект сновидения или комплекс явных ощущений — но она могла бы внести некоторую ясность в вопрос о моем теперешнем состоянии!.. А сейчас я разрываюсь от непонимания! — и одновременно от незнания того, разрываюсь ли я во сне или действительно разрываюсь от непонимания своего теперешнего положения и причин разрывания!!

Ннет, господа, я обязан сейчас же заняться делом практическим — иначе я сойду с ума! Во имя спасения собственного разума — я должен, я обязан гладить брюки, в конце концов!..

Выгладить брюки... тщательно выгладить... — и завтра утром найти их неглаженными!! Это — невыносимо! Это — хуже сумасшедших перспектив!..

...Хе-хе... Выгладить брюки!.. Это гениально! гениально! — «выгладить брюки»!.. Нет, черт меня возьми, это действительно гениально задумано! Я сию же секунду исплюю парадоксы и примусь высасывать все возможное из электронагревательных даров цивилизации!.. И если завтра утром я обнаружу свои брюки действительно выглаженными, то какой же дьявол заставит меня сомневаться в явности всего происшедшего... ну а если они в прежнем состоянии будут покоиться на спинке моей кровати, то... ну конечно! конечно!..

...Я раздеваюсь, аккуратно складываю брюки, ложусь, традиционно погружаюсь в сон, — все прекрасно, по исстари заведенному порядку, без внешних помех, без стука, без размышлений и парадоксов...

...Но — пробуждение!.. пробуждение!! Если бы я очнулся в образе Петергофской статуи или Валаамовой ослицы, я не был бы так раздосадован! Но... представьте себе! — проснуться в штанах!!! — это мучение! это сумасшествие! бред! средневековая фантазия! И все что угодно!.. Это, в конце концов, — пробуждение во сне! Да, да, пробуждение во сне! Я не проснулся — мне приснилось, что я проснулся!! Приснилось!! В таком случае — будьте вы все прокляты, но я не завидую тем, кому каждую ночь снятся пробуждения!!

Я вскакиваю, я хватаю себя за горло — и пробуждаюсь окончательно!...

...«Окончательно»!.. А кто сумеет уверить меня в окончательности моего пробуждения! Тем более что мне каждый день *снятся* люди, пытающиеся доказать явность моих манипуляций!.. Тем более что...

Но... боже мой... боже мой... неужели же мне без конца хватать себя за горло и из-за легкого каприза моей постели осуждать себя на вечное самоистязание?!!

12 ч. – 6 ч. ночи

27 января

«Главное — занести руку, а ударить — ...почти бездумно... это легко...» И в шевелениях рук — гордость. Эти руки убили трех. Парадоксально то, что все три — женщины. И две — совершенно невинные. Третье убийство — единственное, за которым последовало раскаяние... И «ручная» гордость — понятна.

Точные детали университетского инцидента до сих пор остались невыясненными. Единственно кто располагает достоверными сведениями, — так это Ст. Ш., внесший своими новогодними излияниями некоторую ясность в вопрос о начале Б-ской карьеры. Ясно одно — жертвой убийства оказался объект нежных помышлений самого Б., — вполне невинная 19-летняя студентка, не сумевшая, впрочем, оценить по достоинству весовую категорию Б-ской эмоциональности.

Неизвестно, пользовался ли Б. взаимностью, но имевший место инцидент убеждает в противном. Впрочем, даже и не

убеждает, потому что Б-ская психология никак не входит в рамки человеческой.

Убийство было совершено в апогее самой невинной ситуации. Злополучный «объект» освятил своим присутствием квартиру Б. накануне его отъезда в Петрозаводск, никак не предполагая, что в тот же вечер вынуждена будет с неменьшим успехом «освятить» мертвецкое отделение Ленинградской больницы.

Первый удар Б. был неожиданным, вероятно, и для него самого. По крайней мере, невинное перешучивание и совместная упаковка чемоданов никак не могла быть источником Б-ской злобы. Удар был нанесен неожиданно, из-за спины, в тот момент, когда «невинная» тщательно кропила одеколоном содержимое чемодана; — она мгновенно рухнула на пол и (удивительно!) совершенно безропотно, без единого крика принимала на себя все последующее.

Неизвестно, какие инстинкты руководили Б., когда он ударял сапогом по любезным его сердцу ланитам и персям. Он бил долго, равнодушно, выбивая глаза, обесформивал грудь — и в заключение без устали наносил удары в ее «естество» с серьезностию животного и удивительно механически...

Второй «инцидент» был еще более неприглядным... но зато менее юмористичным, чем третий... Два месяца психиатрической больницы и затем 3 года тюремного заключения несколько обогатили Б-ский жизненный опыт и обострили наклонность к романтике. Что и не замедлило сказаться после второго побега из заключения...

Этот инцидент был действительно романтическим, — тем более что имел место в пригороде только что выстроенного Кировска...

Возвращаясь однажды из Апатитского «Буфета» и имея чрезвычайно неприглядный вид, Б. тем не менее мог даже в темноте явственно различить распластавшуюся в переполненной канаве пьяную женщину... Побуждаемый жаждой не то полового общения, не то общения с равными, он не замедлил свалиться туда же — и в течение, по меньшей мере, пяти минут усиленно предавался побуждениям инстинкта в талой воде, снегу и помоях...

Утреннее пробуждение несколько Б. разочаровало. Он с явным неудовольствием узрел перед собой женщину почти старую, с лицом изрытым оспой и залитым «обоюдной» бле-

вотой... Неудовольствие перешло в бешенство, которое и побудило Б. без промедления выползти из канавы, наступить на горло ночной подруги, вероятно уже мертвой, и до отказа погрузить ее физиономию в скользкую весеннюю грязь...

Этот рассказ — у papan вызывал почему-то дикий смех. Мне же гораздо более смешным и нелепым казалось третье убийство. К тому же призыв на фронт ограничил Б-скую ответственность за его совершение — до 2-х месяцев тюремного заключения...

Уже будучи человеком свободным и осуждающим чистоту и трезвость северной цивилизации, он (Б.) буквально — «нашел» в одном из захолустий Кандалакши законную спутницу жизни. Ничем примечательным, кроме персей и склонности к тихому помешательству, она не обладала, — и самое неудобное в этой склонности была непериодичность ее проявлений.

Но для Б. — это была «единственная любимая» им за всю жизнь женщина. И он неутомимо угождал ей и потакал всем ее странным прихотям...

Как-то ночью она осторожно соскользнула с постели — и в ночной рубашке принялась ходить по эллипсу, поминутно останавливаясь и извергая содержимое кишечника, — что не мешало ей, впрочем, беспрестанно напевать «Вдоль по улице метелица метет...»

Супруг лежал спокойно и по обыкновению курил папиросу. Но когда оригинальная «спутница» опустилась на колени перед портретом Косыгина и меланхолически зашептала: «...задушите меня... задушите... задушите...» — Б. несколько вышел из состояния задумчивости. Он аккуратно стряхнул пепел на бумагу, встал... И задушил.

ДНЕВНИК

*28 янв. –
31 марта 1957 г.*

Еще раз продолжение. И окончания не будет. III

4 февраля

«Да я тебя понимаю, Вениамин, я вообще хорошо понимаю тебя и тебе подобных... Просто – люди, которые обо всем судят из книг... Вас лелеяли мама с папой, заставляли учиться, держали в руках... А теперь, значит, вы предоставлены самим себе, вам все кажется, так сказать, ничтожным, легким и радостным... Заиграла молодость... легкомыслие молодости, если можно так выразиться... хочется оригинальничать, на все плевать, пускать пыль в глаза... А ты вот посмотри жизнь... Ты узнаешь, какой ты был глупый, когда оригинальничал... А все-таки все действительно не так просто, легко... и не так весело, как тебе кажется... Ты даже еще и любовь-то не знаешь, что такое... А порешь такую чушь про семенники... Я вот тебя уверяю, – если ты полюбишь кого-нибудь, то любовь тебя перевернет... Вас всех не так трудно и понять... Вы у меня как на ладони...»

«Тебе просто вредно читать Достоевского... Обязательно будешь таким мрачным, если запрешься в комнате... ощущать там всякие ужа-

сы будешь... и тебе все будет казаться мрачным и ужасным... Тебе вот правильно говорили... что в действительности все не в таких мрачных красках... Ты вот ненавидишь смех, на всех смотришь, как зверь, со своей кровати... И на что тебе жаловаться, интересно?.. Насчет девчонок у тебя всегда будет прекрасно... В твоих способностях никто не сомневается, учиться ты можешь замечательно... И непонятный ты, ччорт... Все ведь живут хорошо, как люди... Ты не забывай никогда, что ты живешь в советском обществе... а не в какой-нибудь там...»

«В таком случае, о чем ты думаешь вообще?.. Вот ты говоришь — читаю книгу и вдруг бросаю ее и без движения лежу подряд несколько часов... Так интересно все-таки, ты ведь о чем-нибудь думаешь... Ну, не о будущем, предположим... хотя я в первый раз встречаю человека, который совершенно не думает о будущем... Ну, вот хотя бы твое отчисление из университета... Я понимаю, человек, у которого в перспективах — хорошая, трудовая жизнь, человек, жаждущий нового — ну тогда понятно, он может выражать радость или равнодушие... Но ведь ты-то, ччерт побери... не понимаю!! Ты что, насквозь легкомысленный?.. Так это на тебя не похоже... Легкомыслие у тебя показное... Я сразу тебя распознал... Я всю ночь слушал твою беседу с этим... албанцем... и убедился, что ты человек чертовски умный... Что касается твоей лени, так я совершенно ничего не понимаю!.. В жутких семейных условиях быть первым в школе по прилежанию... и тут вдруг... Не понимаю, не понимаю... Я сегодня даже хотел побеседовать с твоей посетительницей... Между прочим: будь более воспитанным в отношениях с женским полом — а то что же это такое — дымить девочке в нос и тут же посылать ее к черту... Удивительная терпеливость... Ты, собственно, к ней ничего... этакого... не имеешь? Нет? Ну, тогда тем более...»

«Брось это все, Венидикт! Как-никак жизнь-то ведь она хороша, черт возьми! Солнце... любовь... радость... и остальное... Прославлять веселье надо, Венидикт, — у тебя все к этому данные!.. Читай Кольцова! Бернса! Улыбайся. Хотя бы потому, что тебе слишком идет улыбка! Люби!.. И в старости тебе приятно будет вспомнить молодые годы! А ты... Глядишь на невинную, приятную девочку — а видишь... блевоту, сифилис, животность какую-то... Да я бы на месте

этой толстенькой... а-чччорт... Как это вы оба... меланхолика... не понимаете, что ведь жизнь-то! жизнь!..»

13 февраля

Дева Ночная Романтика жаждет приять меня в свои объятия.

А мне гораздо более по вкусу рослый армянин Ночлег. Дыхание закавказской силы выбивает из меня половые откровения, и тешит мои взоры светолюбивый член, почерневший от нежности...

Все духовное заглушается во мне единением с армянской нацией...

Все дофевральское растворяется в привокзальной атмосфере...

И я совсем не намерен спохватываться или приходить в сознание. Что касается сознания, — так теперешнее мое горизонтальное состояние — высшее из всех 18-летних проявлений моего практического разума.

Хотя само горизонтальное состояние несколько неразумно. В этом смысле, — я готов отдать должное практичности инвалидов. Им гораздо теплей; у них еще есть желание оставаться вертикальными и отдавать оставшиеся конечности в фонд национального фольклора.

А я не намерен поддаваться агитации заводов Главспирта. Меня вполне удовлетворяют каменные ступени и вокзальные сквозняки. Я с наслаждением запахиваюсь в пальто и пытаюсь переключить внимание на что-нибудь более двуногое.

Двуногое нарочно меня избегает. А инвалидный грохот переполняет черепную коробку.

Что бы ни олицетворяли грохочущие костыли — объемистость жизненности или пролетарскую неумолимость — мне важен сам факт соприкосновения шести символов с транзитным паркетом...

Голове моей, жаждущей торможения, в данный момент ненавистны все соприкосновения, убивающие замкнутость шумовыми эффектами...

Моему горизонтальному положению несимпатично массовое падение пролетарских костылей...

Мне нужен сон хотя бы с точки зрения гигиенической.

Однообразие ощущений убеждает меня в рентабельности гигиены...

Я засыпаю...

И не массовое падение раздвигает теперь подо мной отходы деревообрабатывающей промышленности. Не инвалиды, а самые заурядные двуногие стряхивают с себя опилки и ковыряют в пальцах нижних конечностей, сопровождая беспрецедентное ковыряние оглушительным грохотом...

Грохот не возбуждает.

Грохот слетел ко мне вместе с источником шума и трупного запаха. Оба они убеждены в непогрешимости мозговой биологии — и предпочитают ненужное мне усыпление.

Я слишком хорошо понимаю их...

От моих восприятий не скроется искривление белорусского лика, в который преображается источник... Оно мне давно знакомо, это искривление... И физиономии всех сбегающихся на шум давно уже опостылели мне, — только испуг, начертанный на знакомых лицах, скрашивает однообразие...

«Как отвратительно пахнет!»

Толпа окружает страдальца, и каждый высказывает внутреннее раздражение.

«Как отвратительно пахнет!»

Каждому хочется еще раз дотронуться до пострадавших конечностей, зафиксировать размеренные движения хозяина трупного запаха, раздразнить, убежать...

«Ничего не поделаешь... Придется... отрезать».

И толпа не шарахается, не выражает удивления. Толпа продолжает следить за вычищением пальцев, которым уже не суждено быть пальцами...

И лицо снискавшего людской интерес освещается виноватой улыбкой...

«Ничего не поделаешь... Придется... отрезать».

Неизвестно, для чего нужно было выражение сострадания, но на минутные улыбки толпы оно возымело желаемое действие. Никто не жаловался —

«Как отвратительно пахнет!»

Никто не оспаривал у соседа права на лучший костыль. Всех объединило склонение к пальцам собственных ног. И каждый убеждал другого в неповторимости своего уродства, ощупывал забытые травмы, плакал, нюхал базарный чеснок...

Никто не верил, что существуют двуногие.

12 ч. – 1.30

14 февраля

«Извините... Это вам кажется, что я пьяный... Я уже давно... протрезвел... Ну, раз вы говорите, – я пойду... уберусь... Меня ждут комфортабельные канавы... Еще раз – извините».

15–16 февраля

Ни голода, ни эмоций, ни воспоминаний, ни перспектив, ни жажды папиросного дыма...

Одно сплошное ощущение холода.

Вокзальный пол леденит позвоночник, сквозняки преследуют и в тоннеле, и в багажных кассах, колебания атмосферы проникают за ворот и обшлага, ожесточают нервы, заставляют нескончаемо измерять шагами просторы холодных опилок...

Улица срывает пальто, низвергает массы мокрого снега за воротник куртки и в сотый раз вышвыривает на холодные опилки багажных касс...

В глазах – не жареные котлеты и не дамские прелести.

Обычнейшие радиаторы водяного отопления.

. . . .

19 февраля

Минутку внимания!

Вы меня не совсем правильно поняли!

Я – не оригинал!

Я ничего не отрицаю, хоть и сознаю, что отрицать все – и заодно отрицать нигилизм – чрезвычайно увлекательно и не требует мозговой изощренности!

Человеческие действия могут меня волновать, но никогда не вызовут во мне ни одобрения, ни протеста!

Я не признаю разделения человеческих действий на добродетельные и порочные! Если мои действия удовлетворяют меня – и людей, внушающих мне чувство удовлетворения самим фактом своего существования – в этом случае в их, и в моей власти признать удовлетворительными для нас порочность или добродетельность моих действий!

Если же оценка моих действий проистекает от человека, мне незнакомого и, следовательно, порочного в силу незнакомства со мной («он позволяет себе наглость не знать меня!») – я не премину доказать обратное!

Если мои убеждения — логически верные, я торжествую! В противном случае — без промедления отрицаю логику!

Я — человек дурного вкуса и животного обоняния!

Я никогда не бываю счастлив, в обычном понимании! Я могу только иметь вид человека, напуганного счастием!

Я даже не разграничиваю понятия «счастие» и «несчастье», точно так же как не различаю вкуса голландского и ярославского сыра!

В лучшие минуты — я могу преследовать цель, но непременно — цель, убегающую от меня ленивым галопом! Рысь и аллюр меня не прельщают!

Общечеловеческие понятия красоты ввергают меня в состояние недоумения! Мне понятно наслаждение мелодичностью звуков! Мелодичность — выражение грусти! А грусть не может не быть красивой!

Мне понятно восторженное восприятие природных красот! Но чем более привлекательны для человеческих восприятий произведения искусства, тем более они искусственны!

Немногие произведения искусства могут и во мне разливать удовлетворение! Так же, как может восторгать меня вынужденная грациозность в движениях человека, скованного ревматизмом!

Красиво уложенный навоз может услаждать мои взоры! Но созерцание мраморных апофеозов итальянской красоты не может вызвать во мне ничего, кроме отвращения, в лучшем случае — равнодушия!

Я — человек относительно нравственный!

Незнакомые люди вызывают во мне чувство равнодушного озлобления, а все прочие относятся мною к разряду любимых или презираемых — в зависимости от степени лестности их собственного мнения обо мне!

Для меня не существует предательства просто! Я отвергаю предательство, одухотворенное благородными целями! И считаю совершенно естественной способность человека к предательству ради удовольствия быть предателем!

Мне безразличны половые проблемы! Но я с восторгом приемлю любой намек на бисексуальность!

Всякое половое откровение вызывает во мне отвращение! Но половые извращения всегда будут значиться в моем сознании как высшее проявление прогресса человеческой психики!

Я – оптимист!

И склонен полагать, что все мне не нравящееся – комплекс моих капризных ощущений!

Я восторженно приветствую любое отклонение от нормально человеческого! Но я не могу понять, почему отдается предпочтение «возвышению», если «верх» и «низ» – однородные отклонения от общечеловеческого уровня!

К тому же возвышение – временно!

А быть «ниже» – по свидетельству физических законов – гораздо более устойчиво!

Я не верю в существование людей искренних и принципиальных! Можно уверить себя самого в своей принципиальности! Можно быть принципиальным из принципа! (Бык – упрям, а, следовательно, принципиален!)

Но ведь гораздо легче – не менять своих мнений, вовсе их не имея!

Что же касается взглядов, то «собственное мировоззрение» – так же банально, как «коран толпы» и «огнь желанья»!

20 февраля

Пейте... пейте...

Пока еще на дворе потепление...

Пока еще моя рука сдерживает дрожание крана...

И вас не отпугивает...

Пейте...

Бедные «крошки»...

Я вместе с вами чувствую приближающееся похолодание...

И кутаюсь вместе с вами...

Пройдет неделя...

Другая...

А меня с вами уже не будет...

И вы не напьетесь...

Не напьетесь...

1.30. ночи

22 февраля

– Гранька, я тебя ебать больше не буду.

– А на хуй ты мне сдался сам-то... Другие поебут...

– Ну! Что другие! У меня ведь все-таки хуй 22 сантиметра... А это все – шваль.

— Катись-ка ты в манду, поросенок! Как будто у тебя у одного двадцать два сантиметра... Другие полюбят!..

— Ха-ха-ха! Другие! Кому это захочется тебя любить?! У тебя же пизда рюмочкой!

— Рю-ю-умочкой, поросенок! Такую рюмочку ты еще поищешь! Рюмочкой... Сам ты...

— Вот у других — стаканчиком пизда! Вот уж этих хорошо ебать... Продернешь пару раз на лысого — сразу полюбишь... А это — что!.. Грязи, наверно, у тебя полная манда!..

— Дурак поросенок! Грязи-то у тебя на хую, наверное, много... А у меня-то нет... Можешь не беспокоиться...

2 марта

Мне холодно... я зябну... и все они умерли... умерли...

3 марта

Ровно в восемь я покинул зал ожидания.

На пути следования ничто не привлекло мои взоры, и я прошел почти незамеченным.

Добравшись, наконец, до Грузинского сквера, я был остановлен массой движущихся по всем направлениям скотов. Одни пытались перепилить ножом каменную шею Венеры Милосской, другие выкрикивали антисанитарные лозунги.

Одним словом, никто не обратил на меня внимания, — и только стоящий поодаль и видимо раздосадованный чем-то шатен ласково протянул мне потную ладонь.

— Вы, случайно, не Максим Горький?

— Собственно... ннет... но вообще — да.

— В таком случае — взгляните на небо.

— Ннну... звезды... шпиль гастронома... «Пейте натуральный кофе»... ну... и больше, кажется, ничего существенного.

Шатен внезапно преобразился.

— Ну, а... лик... всевидящего?

— Гм.

— То есть, как это — «гм»? А звезды?! Разве ничего вам не напоминают?..

— Что?!! Вы тоже... боитесь... Боже мой... Так вы...

— Да, да, да... а теперь — уйдите... я боюсь оставаться с вами наедине... идите, идите с Богом...

И долго махал мне вслед парусиновой шляпой.

11 марта

Чрезвычайно странно.

Три дня назад я спешил к Краснопресненскому метро с совершенно серьезными намерениями. В мои намерения, в частности, входила трагическая гибель на стальных рельсах.

Не знаю, было ли слишком остроумным мое решение; — могу сказать одно — оно было гораздо более серьезным, нежели 30-ого апреля прошлого года. И настолько же более прозаическим.

По крайней мере, за два истекших дня я, если не сделался оптимистом, то стал человеком здравого рассудка и материально обеспеченным.

Не знаю, надолго ли.

13 марта

Невыносимо тоскливо.

Наверное, оттого, что вчера весь вечер слушал Равеля.

14 марта

— Так вы что же, Ерофеев, считаете себя этаким потерянным человеком? чем-то вроде...

— Извините, я, слава богу, никогда не считал себя «потерянным», — хотя бы потому, что это слишком скучно и... не ново.

— А вы бросьте рисоваться, Ерофеев... Говорите со мной как с рядовым комсомольцем. Вы не думайте, что я получил какое-то указание свыше — специально вас перевоспитывать. Меня просто заинтересовали ваши пространные речи в красном уголке. Вы даже пытались там, кажется, защищать фашизм или что-то в этом роде... Серьезно вам советую, Ерофеев, — бросьте вы все это. Ведь...

— Позвольте, позвольте — во-первых, никакой речи о защите фашизма не было в красном уголке, всего-навсего — был спор о советской литературе...

— Ну?

— Ну и... наша уважаемая библиотекарша в ответ на мой запрос достать мне что-нибудь Марины Цветаевой, Бальмонта или Фета — высказала гениальную мысль: уничтожить всех этих авторов и запрудить полки советских библиотек исключительно советской литературой... При этом она пыталась мне доказать, что «Первая любовь» Констан-

тина Симонова выше всего, что было создано всеми тремя поэтами, вместе взятыми...

— Вы, конечно, возмутились.

— Я не возмутился. Я просто процитировал ей Маринетти о поджигателях с почерневшими пальцами, которые зажгут полки библиотек... Библиотекарша общенародно обвинила меня в фашистских наклонностях... А я просто-напросто запел «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей»...

— Послушайте, Ерофеев, вы не можете мне сказать, за что вы питаете такую ненависть к советской литературе? Ведь я не первый раз встречаю подобно настроенных молодых людей... Я думаю — это просто от незнания жизни.

— Да, наверное, от этого.

— И, вы понимаете, Ерофеев, — вот вы, наверное, еще не служили в армии? — ну что ж, будете служить. И там вы поймете, что значит жизнь. Настоящая жизнь. И, вы представляете, — вы служите во флоте, ваша девушка далеко от вас, вы — в открытом море... И вот вся эта дружная, сплоченная семья матросов запевает песню о девушке, которая ждет возвращения матроса, — ну, одним словом, простую советскую песню — ведь вы с удовольствием подпоете... Уверяю вас — если вы попадете в хороший коллектив, вы сделаетесь гораздо проще... Гораздо проще...

— Не думаю... По крайней мере, мой, извините, духовный мир никогда не сузится до размеров того мирка, которым живут эти ваши любящие матросы.

— Гм... «любящие»? Узкий мирок? Вы, наверное, никогда не были любящим?

— Наверное.

— Почему — наверное?

— Тттак... Видите ли, — я вообще не собирался касаться интимных вопросов...

— Ну, ладно... Хе-хе-хе... Вы комсомолец, Ерофеев?

— Да... комсомолец.

— Авангард молодежи?

— Видите ли, я давно поступал в комсомол и... немножко запамятовал, как там написано в уставе — авангард или арьергард...

— Вы ммило шутите, Ерофеев...

— Да, я с детства шутник.

— Оччень жаль... оччень жаль... А вы не знаете, по какому поводу я спросил вас — комсомолец вы или нет?

— Откровенно говоря... теряюсь в догадках...

— Гм... «Теряетесь в догадках»... А ведь догадаться, Ерофеев, не слишком трудно... Знаете, что я вам скажу, — вы никогда не собьете с правильного пути нашу молодежь — и, пожалуйста, бросьте всю эту вашу... пропаганду...

— О боже! Какую пропаганду?!

— Ккакой же вы милый и невинный ребенок все-таки! Вы даже не знаете, о чем идет речь! «Теряетесь в догадках»! Знаете что, Ерофеев — бросьте кривляться! Поймите ту простую истину, что вы стараетесь переделать на свой лад людей, которые прошли суровую жизненную школу и которые, откровенно вам скажу, смеются и над вами, и над той чепухой, которую вы проповедуете... Смеются и...

— Извиняюсь, но если я говорю чепуху, и все смеются над этой чепухой, так почему же вы так... встревожены? Ведь вы, я надеюсь, тоже прошли суровую жизненную школу?

— Я не встревожен, Ерофеев. Я тоже смеюсь. Но это не простой смех. Когда я вижу здорового, восемнадцатилетнего парня, который, вместо того чтобы со всей молодежью страны бороться за наше общее, кровное дело, только тем и занимается, что хлещет водку и проповедует какое-то... человеконенавистничество... — мне становится даже страшно! Да! Страшно! За таких, извиняюсь, скотов, которые даже не стоят этого!

— Чего — «этого»?

— Да! которые даже не стоят этого! Вы знаете, что мой отец вот таких вот, как вы, в сорок первом году расстреливал сотнями, как собак расстреливал?! Эти...

— Вы весь в папу, товарищ секретарь.

— А вы-ы не-е издевайтесь надо мной!! Не изде-вайтесь! Слышите!? Издеваться вы можете над уличными девками! Да! Издеваться вы можете над уличными девками! А пока — вы в кабинете секретаря комсомола!

— Извините, может, вы мне позволите избавить вас от своего присутствия?

— Я вас нне задерживаю — пожалуйста! Но, говорю вам последний раз — еще одно... замечание — и вас не будет ни в комсомоле, ни в тресте... Я сам лично поставлю этот вопрос на комсомольское собрание!

— Гм... Заранее вам благодарен.

— Не стоит благодарности! Идите!! И заодно опохмелитесь! От вас водкой разит на версту...

— А я бы вам посоветовал сходить в уборную, товарищ секретарь. Воздух мне что-то не нравится... в вашем кабинете.

15 марта

И все-таки.

Что бы со мной ни было, — никогда ничто меня не волнует, кроме, разве, присутствия Музыкантовой.

В этом смысле я следую лучшим традициям.

Прадед мой сошел с ума.

Дед перекрестил дрожащими пальцами направленные на него дула советских винтовок.

Отец захлебнулся 96-и-градусным денатуратом.

А я — по-прежнему Венедикт.

И вечно таковым пребуду.

16 марта

Ах, господа, мне снился сегодня очаровательный сон!

Необыкновенный сон!

Мне виделось, господа, что все меня окружающее выросло до размеров исполинских, вероятно потому, что сам я превратился во что-то неизмеримо-малое.

Я уже даже не помню, господа, в какую плоть я был облечен. Могу сказать только одно — я не был ни одним из представителей членистоногих, потому что на лицах окружающих меня исполинов не выражалось ни тени отвращения.

Ах, господа, вы даже не можете себе представить, каким уморительно жалким было мое положение и каким невыносимым насмешкам подвергалась личность моя!

Одни сетовали на измельчание человеческого рода.

Другие предлагали в высушенном виде поместить меня в отдел «Необыкновенная фауна».

Третьи рассматривали меня через вогнутое стекло — и это было для меня всего более невыносимым.

Члены Политбюро тыкали пальчиком в мой животик. Отставные майоры проверяли прочность моих волосяных покровов. Служители МВД совершенно бездоказательно обвиняли меня в связях с Бериею. А один из вероломных сынов Кавказа предложил даже изнасиловать меня.

Ах, господа, вы даже представить себе не можете, до какой степени уязвлены были мои человеческие чувства. Ибо — кем бы я ни был тогда — чувства человеческие по недоразумению во мне сохранились.

Я ронял из глаз миллиарды слез, сквозь слезы цитировал графа Соллогуба, подбирая выражения по возможности «жалкие», — на какие только ухищрения не пускался я, дабы вымолить у них снисхождение...

Я знал, что все эти чудовищные создания в действительности жалеют меня и в душах их, смягченных присутствием существа беззащитного, нет ни тени насмешки...

Я не верил, что исполины эти совершенно искренне — неумолимы.

Но снисхождения не было. И я бы погиб, господа, погиб неминуемо, если бы вдруг... (вдруг!) ослепительный свет белого кителя не рассеял мрака окружающей меня звериной непреклонности.

И не только я — все неожиданно осознали, что только он — он, излучающий ослепительный свет, имеет законное право над моей судьбой властвовать.

Ах, господа, этот человек мог раздавить меня указательным пальцем, этот человек мог подзадорить безумство гигантов. Он мог, наконец, остановить глумление и спасти меня от ревущей толпы подвергавшей меня осмеянию...

Но именно-то в это мгновение, господа, я проснулся. Да, чорт побери, как это ни плачевно, я проснулся и вынужден был оставить вдохновенное ложе свое.

В состоянии не то грустной неопределенности, не то неопределенной грусти запахнулся я в простыню и подошел к растворенному окошку, дабы созерцанием мартовского утра растворить тягостный осадок, оставленный в душе моей исчезнувшим сновидением.

Все действовало на меня успокаивающе. И занесенные снегом деревья, которые чем-то напоминали мне клиентов 144-ой парикмахерской, еще не успевших закончить священный обряд брадобрейства. И совершающий утреннюю прогулку страж внутреннего спокойствия. Одним словом, исключительно все, что попадало в поле моего зрения.

И вы представляете, господа, настолько удачно белый китель милиционера гармонировал с белым блеском заиндевелых деревьев, настолько умиротворяло душу мою созерцание мартовского пробуждения, что все существо мое

неудержимо охватило желание согреть на груди своей стража утреннего спокойствия.

Да, да, господа, можете не удивляться странности моего желания — его выполнение было слишком реально для удовлетворенного существа моего. По крайней мере, я был в этом совершенно уверен, когда нахлынувшая на меня буря родственных чувств заставила меня с четырехметровой высоты пасть на шею моего благодетеля.

Да, я действительно пал ему на шею, я залил слезами белый китель его, спасший меня в минувшем сне от насмешек неумолимой толпы.

«Миленький мой, — сквозь слезы шептал я ему, между тем как он, опрокинутый на землю, пытался освободить горло от цепких перстов моих, — миленький мой, ведь это же были вы, ведь, если бы я не проснулся, вы обязательно спрятали бы меня в карман... не правда ли?.. Да, да, да, я вам всегда говорил, что все они — отвратительные насмешники...»

Ах, господа, если бы вы могли понять, насколько чистосердечными были слезы мои и благодарности, обращенные к телу уже бездыханному, но все же милому моему сердцу. Для меня безразличны были и рев сбежавшейся толпы и град неистовых проклятий, которым осыпали беспомощное существо мое.

«Ведь я же всегда говорил вам о тщете суеты мирской, — продолжал я, переводя взоры с бездыханного трупа на пробивающегося через толпу милиционера, — тогда вы были еще великолепнее, а потомок Багратиона покушался на невинность мою! Снова судьбы мои в ваших руках, благодетель мой, — и все равно через мгновение я уйду от правосудия вашего —

Я просыпаюсь».

7.00 веч.

18 марта

«Такой чудак — этот Ерофеев. Вечно что-то читает, читает... Пьет охуительно».

Николай А.

«Молчит-молчит, целыми сутками молчит, а потом сразу что-то нападет на него, — так и не узнаешь: хохочет, как

3—3417

жеребец, матом ругается, девок щупает. И вечно это свою «Не искушай» поет».

Аграфена З.

«А денег ему не давай – это ведь такой пропойца!»

Мария С.

«Знаешь что – я сам чудак, много чудаков видел, но такого чудака первый раз встречаю».

Анатолий П.

«А что Венька скажет?! Да ничего он не скажет. Опять будет под окном Абрамова петь:

Избавь твою Саг'у от пытки напг'асной!
Взгляни еще г'аз на меня,
Мой ангел пг'екг'асный!»

Александр С.

«Ну, уж если Ерофеев скажет что-нибудь такое – так вся абрамовская бригада за пупки хватается».

Геннадий С.

«Грамотный человек... О политике так умно рассуждает – его никак и не переспоришь. Не знаю, за что его выгнали из института... За пьянство, наверное».

Геннадий С.

«Да-а-а, что пьет, так это пье-о-от».

Иван А.

«Черт его знает, что у него на уме. Темный человек... непонятный. Уж из человеческой шкуры хочет вылезти... все у него поперек, все не так...»

Анна С.

«Венька, признайся, что ты иностранный агент. Я же вижу».

Анна Б.

«А тюрьмы ему не миновать».

Владимир А.

20 марта

– Послушай, ну вот что тебе нужно, – ну тебе сейчас девятнадцатый год, предположим. Будет тебе девятнадцать – будешь увиваться за девками. В 26 лет женишься, отработаешь век свой на пользу государства, воспитаешь детей... Ну, и умрешь тихонечко без копейки в кармане.

– И неужели ты считаешь это образцовой жизнью?

– Ннуу... образцовой – не образцовой, по крайней мере, все так живут. И ты проживешь точно так же.

– Извиняюсь, сударыня, если бы я знал, что у меня в перспективах – обычная человеческая жизнь, я бы давно отравился или повесился.

– Давно надо бы.

– Да, конечно. Однако же я все-таки живу. Ну, а вот ты, Анечка, тебе девятнадцать лет – мне все-таки интересно знать, что у тебя сейчас в голове.

– Как это так? Ннну... вот сейчас, например, думаю, скоро ли пять часов, хочу вот себе платье купить, на танцы сегодня пойти.

– И все?

– Нет, почему... а вообще-то, для какого черта это тебе надо знать? Что это ты экзаменуешь меня, как английский шпион?

– О боже мой! Если бы я был английским шпионом, милая, меня бы совсем не интересовал образ мыслей рядовой пролетарской девки.

– Так а для чего же тебе это все надо?

– Ттак просто... противно мне что-то смотреть на вас, господа пролетарии... Пошло вы все живете...

– Э-э-эх... «противно ему смотреть»! да ты бы сначала на себя посмотрел, как ты живешь, ты же как первобытный человек живешь – одеваешься черт знает как, на танцах никогда не бываешь, в кино не ходишь... я бы давно подохла с тоски.

– Да, я тебе слишком сочувствую... Остаться тебе одной – значит действительно «подыхать с тоски». По крайней мере, известно, что человек мало-мальски умный, оставшись вне общества, бывает все-таки наедине со своими мыслями. Вам же, госпожа пролетарка, поневоле приходится тяготиться полным одиночеством.

– Я ннничего не понимаю, что ты за чепуху порешь...

— Ну и слава Богу... Мне даже приятно сознавать, что человек со средним образованием не может понять самых простых вещей...

— А что ты мне тыкаешь образованием!? Я, может, больше тебя в жизни разбираюсь... И не «может», а точно...

— Охотно тебе верю, Аничка... Ты видела гораздо больше меня; можно дожить до семидесяти лет и увидеть еще больше — и в довершение всего вздохнуть: «мда, тяжелая эта жизнь». Да чоррт побери, это все равно что объехать целый свет, накопить громадное количество впечатлений, вернее — иметь возможность их накопить, — и по возвращении сказать только: «мда, а земля все-таки круглая», когда это давно всем известно!

— Ну вот, опять ты ерунду понес, ты же совершенно не знаешь ничего, и знать ничего не хочешь... книжками только интересуешься...

— Постойте, а чем же вы интересуетесь еще, кроме вот только что перечисленных вещей?

— Хотя бы своей жизнью интересуюсь... Сидишь вот без копейки — так поневоле будешь думать о своей жизни... и смеяться над такими вот дураками, которым все равно...

— Позвольте, позвольте, Бабенко, — вы жалуетесь на материальную необеспеченность, — и я вам вполне сочувствую — вам необходимо, предположим, заработать десять рублей в день. Чтобы заработать эти деньги, товарищ Бабенко, вам надо ежедневно нагрузить на машину, сгрузить и уложить в штабеля тринадцать тысяч штук кирпичей — это почти 25 тонн! Теперь представьте себе, Бабенко, что десяти рублей вам хватит только на хлеб и соевые бобы. Если вы не хотите разгуливать по столице голой и иметь к тому же катарр желудка, нагрузите 75 тонн...

— Э-э-эх...

— Постойте, постойте. Вы скажете, товарищ Бабенко, — я не лошадь! Вам ответят таким же тоном — ах! если вы не лошадь, — вкушайте соевые бобы и страдайте катарром желудка! Как видите — все в пределах законности!

— Ну, и к чему ты все это?

— Гм... минутку терпения! Теперь... у вас, конечно, возникает вопрос: кто же виноват в том, что мне приходится выполнять лошадиную работу — только чтобы обеспечить себя черным хлебом? Ведь, надеюсь, не Абрамов, который полу-

чает указания от Зеленова, не Зеленов, который полностью подчиняется Суворову... ну... и так далее... Одним словом, в розысках виновного, вы доберетесь до государственного аппарата. А разве вы имеете что-нибудь против Советской Власти? Вы ведь только сейчас осуждали мою антисоветскость и потому вы совершенно лояльны. Тттa-ак. Но, может быть, вы только внешне боитесь высказываться против Советской Власти, а внутренне вы готовы ее низвергнуть — в таком случае вы, товарищ Бабенко, выражаете идеологию буржуазного класса, ибо, как явствует из статьи Владимира Ильича Ленина «Партийная организация и партийная литература», — «тот, кто сегодня идет не с нами, тот против нас»! Вы доверяете Ленину, товарищ Бабенко?

— Слишком.

— Гм... Прекрасно. Но ведь вы, кажется, не питаете особой любви к буржуазному миру — 5 минут назад вы говорили: «Живешь вот, как в Америке!» Вероятно, ваше мнение об Америке совершенно искреннее. Лев Толстой сказал как-то: «Женщины всегда искренни своим телом»... Вы телом искренни, товарищ Бабенко?

— Угу.

— Чудненько. Отсюда следует, что вы ни внешне, ни внутренне ничего не имеете против Советской Власти — и все-таки выражаете недовольство своим существованием! Вы без ума от Никиты Хрущева — и тем не менее вам хочется кушать, видите ли!

— Шпион...

— Вот именно! Далее — вы, вероятно, полагаете, что государство внемлет вашим стенаниям и осыпет вас благодеяниями за ваш непосильный труд... Следует напомнить — руководство нашего треста обращалось с петицией к строительному министерству — однако министерство отказалось повысить расценки! Вам остается только одно — вдохновляться тем, что ваши потомки будут полностью удовлетворять свои потребности. Они возблагодарят вас, товарищ Бабенко!

— А мне — срать на потомство.

— Гм... Наконец-то слышу «глас пролетария»! Чудненько!.. Чудненько!.. Так — чоррт побери!! — Аничка, — неужели же блекнуть вашим дивным формам?! Плюньте на...

— Бро-ось!

– Плюньте на слезы и христианское смирение! К вашим услугам – Белорусский вокзал! Взбунтуйтесь против человеческой морали! Ведь убивают же, грабят, валяются в канавах люди! И умные люди!

А что же? Ведь и у вас нет другого выхода! Ложитесь в прохладу вокзального сквера, обнажайте свои пышные перси, зазывайте клиентов, чоррт побери!

– Перестань... Венька!

– «О, кто бы ты ни был, прохожий, пади на грудь мою! Отумань разум мой! Исцелуй меня всю! О, сжимай меня в страстных объятиях»! (Ведь не жрать же мне соевые бобы, в конце концов!) Раствори меня в себе, о прохожий! Я утопаю в... целуй меня! Еще! Еще! Один рубль! Два рубля! Три! Пачка маргарина! Полкило колбасы! Ах!

– Ха-ха-ха-ха! Нет, Венька, ты просто гений! Только я не понимаю, почему тебе все – смешно!

– То есть, как это – смешно? В материальной необеспеченности я просто не вижу никакой трагедии... Ну, а если для тебя это трагедия, так...

– Не понимаю, что ты за человек!

21 марта

Я прежде всего – психопат. И потому нагромождение нелепостей может считаться даже достоинством только что мною выпущенной «теории дней недели».

Гениальные мои гипотезы о магическом влиянии пятницы на судьбу мою никого еще не заставили мистифицировать «свой» день недели и цифирно узаконить мистификацию. Поэтому я беру на себя обязанности первооткрывателя.

Во-первых, самые мрачные дни моего существования: 1 июля 55 г., 4 мая 56 г. и 8 марта 57 г. приходились на пятницу. Все три дня ознаменованы «покушениями» на самоубийство.

Далее: пятницей обозначены все четыре кульминации моей половой чувствительности: 11 мая 56 г., 15 июня 56 г., 7 сентября 56 г. и 21 декабря 56 г.

В пятницу 15 июня 56 г. скончался мой отец.

В пятницу 5 октября 56 г. скончался мой брат.

В пятницу 15 февраля 57 г. – моя матушка.

Далее. Обстоятельства чисто прозаические:

В пятницу 24 июня торжественно был вручен мне золотой аттестат. День моего первого вселения в студенческое общежитие — 2 сентября 55 г. и день моего «последнего выселения» — 8 февраля 57 г. — неоспоримые пятницы.

Пятница — 15 июля 55 г. — день поступления в университет. Пятница 21 декабря 56 г. — день исключения из университета. И пр., и пр., и пр. до бесконечности.

В руках предстоящих дат — будущее моих гипотез.

27 марта

«Да она же любила тебя, эта проститутка. На шею тебе вешалась. Может быть, просто думала, что ты какую-нибудь студенточку любишь, боялась тебя заразить какой-нибудь гадостью. Они ведь тоже иногда людьми бывают, эти бабы.

А вообще-то это страшное дело, когда самое первое «романтическое» чувство наталкивается на эти отвратительные вещи... Ведь вы же были просто два дружных ребенка... Одна ложилась под каждого встречного, а другой ей доказывал, что ложиться под каждого встречного — это грандиознее, как ты выражаешься, чем подвиг капитана Гастелло... Скверное это дело... Самое-то скверное, что ты к этим грязным вещам не чувствуешь никакого отвращения».

ДНЕВНИК

1 апреля – 10 июня 1957 г.

Продолжение записок сумасшедшего. IV

1 апреля
Иди сюда! Давай угля! Стой – не надо!

Говорят же тебе – не надо, еб твою мать! Дуй горно!

Куда дуешь? Зачем дуешь? Какое горно? Почему горно? Кто сказал – горно?

Перестань дуть, болван! Иди сюда! Бей кувалдой! Стой – не ходи!

Давай угля! Дуй горно!

2 апреля
Желаемое достигнуто! Я душой – пролетарий! Физический труд заменяет мне пищу духовную! Во мне пульсируют...

– Гранька, еб ттвою мать! Прекрати ограбление! Кража государственной фанеры – бич высших идеалов!

Во мне пульсируют пролетарские эритроциты, и я разрываюсь от напора физического выздоровления. Начальник строительного управления призывает к порядку! Расшатанная абрамовская бригада выходит из повиновения! Я окрылен...

– Юленька! Осторожней с бочками! Белило – не крепжоржет! У вас дивный зад! Но это же не значит, что вы должны портить государственное имущество!

Я окрылен и нескончаемо насвистываю. Мой свист вливает бодрость, мое «Не искушай» удесятеряет бригадные силы! Начальник отдела кадров...

— Таничка! Фу, какие вы неисправимые! Пожалейте своих детей! Людовику XVI-ому тоже отрубили голову! Но ведь то был король! А вы — заурядный подданный ремонтно-строительного треста!

Начальник отдела кадров объявляет крестовый поход против «ерофеевской заразы». Помощник начальника отдела снабжения убивает меня недовольством пред лицом начинающейся стачки. Валинька предлагает сделать обыск в моей квартире. Аничка...

— Аничка! Юнону изнасиловал бог Вулкан, Минерву — властитель Аида! «Я — мать владыки Гора, и никто не поднимал моего платья!» Неужели же мне нельзя расцеловать ваши перси!?

3 апреля

Красный уголок. Дама в белом, дама в черном и дама в голубом перелистывают у окна журнал «Чехословакия». Доносятся негодующие возгласы: «Всегда это у них одни турбины! Ничего, кроме турбин!» Девушка-библиотекарша пытается доказать толпе обступивших ее парней, что Жюль Верн и Дюма — порождение одной нации. Из коридора доносятся звуки джазовой музыки; поминутно входят и выходят раскрасневшиеся пары танцующих. Ерофеев, сидя в углу, незаметный и чрезвычайно небрежно одетый, читает Генриха Манна.

Библиотекарь. Ну как вам, ребята, не стыдно? Ведь вы же загрязняете самое чистое, самое прекрасное из всех человеческих чувств! Вспомните, как наши лучшие писатели отзывались об этом чувстве! Как... (Слова библиотекаря на минуту тонут в гуле мужских возражений: «Да разве мы что-нибудь такое сказали!», «Да мы против любви ничего не имеем!», «Любовь-то это хорошая штука, да условия-то нам не созданы, чтобы любить!» — и еще что-то неразборчивое).

Библиотекарь. Вот видите! — все вы любовь уважаете, а почему-то городите какую-то чушь — как будто вам... как будто бы вы никогда не любили! Ведь это у вас просто хвас-

товство какое-то — мол, нам ничего не интересно! Любви никакой нет!..

Парень. Ну почему это вы так думаете? Ведь мы все-таки еще не старики! Дело молодое, конечно! — вечером так это... немножко погуляешь, если с девушкой хорошей познакомился... ну, сходишь в кино, посидишь... только вот плохо, что девушек-то у нас хороших нет! Все какие-то... (Вслед за этим раздается негодующее библиотекарское: «Как это так нет!» и возмущенные дисканта трех присутствующих дам).

Дама в голубом. Девушки-то все как девушки! А мужики вот что-то некультурными стали, хамье какое-то, а не молодые люди! (Возгласы: «Что это еще за «мужики»!?»)

Дама в черном. А кто же вы, если не мужичье? Даже на танцах пригласить как следует не можете! А уж если с вами гулять, так греха не оберешься!

Парни. Ха-ха-ха! Ты думаешь, если мы некультурные, так и любить мы не можем по честному, что ли? Знаем мы этих культурных! Ходят себе в бостоновых костюмах, им и дела-то никакого нет до вашей любви... им бы только денег побольше нагрести!

Дама в голубом. Ну уж и неправда! Если человек культурнее вас, так он и любит честнее... Как раз в этом его культура и заключается... (Возгласы неодобрения).

Дама в голубом. А что?! Вы думаете, культурный человек — как вы, что ли, будет делать? Сегодня с одной в кино идете, завтра уже с другой гуляете! Что же это за любовь — на один день! (Мужские возгласы: «Не выдумывай!», «У нас таких нет!», «Главное — верность!»).

Дама в голубом. Да и мало того, что бросите гулять с девушкой... Хороший человек сказал бы прямо, что гулять, мол, с тобой не хочу, полюбил другую... А у вас какая-то глупая привычка: гуляет с другой, а говорит, что, мол, любит по-прежнему, жизнь отдаст и так далее... (Гордые улыбки парней, возглас: «А что же здесь особенного!? Такой уж человек создан!»)

Дама в голубом (запальчиво продолжая). А я вот, например, терпеть не могу таких ребят! Если разлюбил — так прямо и скажи: больше не люблю... А для чего же это душой кривить? Я недавно читала где-то — кажется, у Ирки в дневнике: «Скверная прямота лучше, чем красивый обман»...

Библиотекарь. А это ведь замечательно сказано, и ребятам надо над этим задуматься! Самое главное для че...

Дама в черном. Да! Заставишь ты наших ребят задуматься! Пожалуй! (Мужские смешки, входит пара разгоряченных танцующих).

Парни. Вот вам и любовь. Наглядное пособие! Хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха.

Библиотекарь. Ребята! Если уж речь зашла о любви, то я хочу вам задать один вопрос. Вот я, например, считаю, что у каждого человека любовь состоит из трех стадий. Первая стадия — когда парень еще не познакомился с девушкой, но он часто видит ее и она ему нравится... Вторая — когда они уже познакомились, гуляют, вместе танцуют, ходят в кино, одним словом, дружат, любят друг друга... (Представители обоего пола обмениваются многозначительными взглядами и расплываются в улыбке).

Библиотекарь (продолжает). Ну, а третья — когда молодые люди уже вообще друг без друга не могут жить, — они женятся, живут вместе... ну, и, конечно, продолжают друг друга любить... Вот я у вас и хотела спросить — как вы думаете, почему все-таки большинство людей перестают друг друга любить как раз вот на этом самом третьем этапе, когда им обоим особенно нужна любовь? Ну вот, как вы, ребята, думаете? (Устные высказывания мнений сливаются в один общий хор, поминутно различаются ухом наиболее громкие и обрывочные: «Любовь имеет свой предел», «Что же это, и старуху любить?» «Конечно — дети пищат по всем углам...», «...а особенно, если с пузом...»).

Библиотекарь. Я лично считаю...

Парень (доселе стоявший поодаль и тупо рассматривавший всех присутствующих, неожиданно обрывает). Все это,

товарищи, ерунда! Самое главное как раз и не в этом... Самое главное в том, что у нас нет никаких условий для того, чтобы люди могли спокойно друг друга... любить! Ну вот хотя бы меня возьмите для примера... Я свою жену, может быть, и люблю... Ну, а как я ее могу вообще-то любить, если она живет черт знает где, на Калужской... Что же это такое – живи в общежитии и смотри, как тебе жена будет изменять... Так что ли? А для меня, например, любовь дороже всего... Пусть дерут хоть пятьсот рублей, а дают для семьи квартиру... Что же, это я смотреть должен, как другие...? (Общий гул и недовольство тем, что половой вопрос заменился жилищным. Ерофеев приходит на помощь).

Ерофеев. Послушайте, гражданин! Интересно, за каким чертом вы живете в Москве? Переселяйтесь на Сахалин. Получайте отдельную квартиру. Если вы даже потеряете московскую прописку, то ведь для вас «любовь дороже всего»! (Смех, возгласы «Браво»).

Оскорбленный (пытаясь возразить). Эх, какой ты умный! На Сахалин! Ты сначала доживи до моих лет...

Библиотекарь (прерывая оскорбленного). Ребята! Ребята!.. (Общий гул, почти все присутствующие физиономии обращены ко мне, на мужских лицах – еще не испарившаяся улыбка, на женских – вопрос: «А! Это тот самый!» «Исключили из комсомола!» «Выгнали из университета!» «Грузчик у Абрамова!»).

Дама в белом (неожиданно обращаясь ко мне). Скажите, молодой человек, здесь девочки говорят, что вы учились в университете... Правда это? (постепенно стихает).

Ерофеев. Да, учился, – полтора года!..

Дама в белом. За что же вас выгнали?

Ерофеев. Тттаак. Это мое личное дело. Даже слишком личное.

Дама в белом. Как это – личное? Гы-гы-гы... (Всеобщие смешки). Влюбился что ли?

Ерофеев (стараясь подавить в себе раздражение). Господа! Неужели вы все настолько пошлые люди, что у вас даже выражение «личное дело» ассоциируется с женскими трусами? (Взрыв раскатистого хохота, мужская половина глядит на меня почти с любовию, женская – почти гневно).

Дама в голубом. Интересно, все в университете такие «умные»? Или только вы...

Ерофеев. Нет, основная масса даже глупее вас! (Всеобщий хохот).

Дама в белом. Ссскотина!

Дама в голубом (убийственно спокойно). Все-таки меня интересует, зачем вы, такой умный, пришли к глупым рабочим?

Ерофеев. А разве я считаю рабочих глупыми? я сказал «вы» – просто из уважения лично к вам! (Снова хохот; библиотекарь пытается принять на себя роль соглашателя, Ерофеев ее прерывает).

Ерофеев. А теперь, гражданка, позвольте мне задать вам контрвопрос: зачем вы пришли в мужское общежитие? (Смех, взоры всех присутствующих обращены к даме в голубом. Последняя продолжает сохранять гневное спокойствие).

Дама в голубом. Танцевать.

Ерофеев. Гм... Как я уже мог заметить, гражданка, вы танцуете только с мужчинами... Значит, вам доставляет удовольствие не сам процесс танца. Вам просто интересно находиться в тисках мужских конечностей... (Смех). А ведь признайтесь, такая близость, хоть она и красива, вас же полностью не удовлетворяет?! (Басистый мужской смех).

Дама в голубом (гневно). Что вы этим хотите сказать?

Ерофеев. Неужели вам еще непонятно, гражданка? Ведь «скверная прямота лучше, чем красивый обман»! (Продол-

жительный хохот, дама в голубом совещается с дамой в черном, явственно слышим обрывок: «Позвать воспитателя... напился, скот...»; черное и голубое покидает красный уголок: входят несколько танцующих пар, привлеченные необычным хохотом).

Дама в белом. Сколько ты выпил, молодой человек?

Ерофеев. Вчера утром — сто пятьдесят граммов. Если вы сомневаетесь — приблизьте ко мне свою физиономию — я на вас дохну. (Смех).

Дама в белом. Ох, ну и скотина же...

Библиотекарь. Извините! Молодой человек!

Ерофеев. Да?

Библиотекарь (заглушая негодование дамы в белом). Молодой человек! Ведь это все над вами смеются! Над вашей дуростью! Вас, наверное, не научили культуре в университете ?! Или вы просто грязный человек, что ненавидите людей с чистой душой — или просто у вас больная совесть...

Ерофеев. Послушайте, госпожа библиотекарша! (Смех). Несколько дней назад я действительно восторгался вашей душевной чистотой... В сопровождении Станислава Артюхова, как сейчас помню, вы спускались с пятого этажа и оба имели чрезвычайно изможденный вид... Вам слишком по душе третья стадия... (Невообразимый хохот, затем улыбки любопытства).

Библиотекарь (болезненно выдавливая слова). Вам всегда, молодой человек, снятся такие интересные сны? (Смех).

Ерофеев. Не прикидывайтесь дурочкой, товарищ библиотекарь! У вас это выходит подозрительно естественно! (Новый взрыв хохота; библиотекарь пытается остроумно отразить удар, слышно только «университет», «остатки мозга»; дама в белом пытается занять передовую позицию, умеряя общественный смех).

Дама в белом (соревнуясь со мной в остроумии и, вероятно, стараясь отбить у меня пальму первенства). Господин грузчик! Ведь из университета выгоняют только остолопов, у которых слишком тупые головы! А вы ведете себя здесь так, как будто вы всех умнее...

Ерофеев. Помилуйте! Откуда у вас такие сведения?! Если бы из университета изгоняли только остолопов, я бы не стал с вами спорить, а сразу бы задал вам вопрос: с какого факультета вы изгнаны? (Смех, аплодисменты ценителей юмора). И потом — господа! Неужели вам не скучно ограничивать запас своего остроумия рамками моего изгнания из университета? Не слишком ли это узко для таких умных людей?! (Поощрительный смех, всеобщее оживление).

Дама в белом. А вам не скучно щеголять тем, что вы не приучены к культуре?

Ерофеев. Позвольте! А вы, случайно, не со мной ездили сегодня утром на толевый завод? Нет? (недоумение в зале, встревоженное ожидание).

Дама в белом (презрительно). Ездила. Ну и что же?

Ерофеев. Вы сидели в кузове с неизвестной дамой и вели интимную беседу, — при этом вы совершенно не стеснялись мужского присутствия. Между прочим, как сейчас помню, вся ваша беседа сводилась к тому, что же все-таки лучше — лежит или стоит. (Гул негодования, мужской хохот).

Дама в белом (окрашиваясь в пунцовое). Ну и оссел же ты! Мме...

Ерофеев. Позвольте! Я не понимаю, отчего вы краснеете! Ведь я же цитирую вам слова молодой девушки, которые были произнесены в присутствии молодых людей обоего пола и которые утром воспринимались как верх остроумия! (Аплодисменты). Видите — я даже стыжусь воспроизвести здесь вслух ваши милые шутки — а ведь вы — женщина! (Гул одобрения; дама в белом листает журнал и силится найти достойный ответ).

Парень. Все женщины – такие! Их не переделаешь! (Возгласы: «Ерунда!» «Правильно!»)

Дама в белом. Ты бы уж поумнее что-нибудь придумал...

Ерофеев. Гражданка! Я не выдумываю, а констатирую факт! А если даже я выдумываю, предположим, – так какого черта вы залились краской? Или просто потому, что румянец слишком идет к вашему белому крепдешиновому платью? (Неимоверный хохот).

Парень (только что вошедший и серьезно воспринимавший конец дискуссии, старается заглушить смех). Прравильно, студент! Давно надо было бороться за чистоту нашей любви! А то современные...

Ерофеев. Да, конечно! Я всегда был поклонником чистоты! Если бы здесь, вот сейчас, какой-нибудь безрукий и безногий горбун вскарабкался на золотушную проститутку, я бы расцеловал их обоих!

4 апреля

1. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?

И сказал им Иисус:

«...вино молодое вливают в новые мехи».

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон».

2. «Никто не может служить двум господам».

«Отдавайте кесарево – кесарю, а Божие – Богу».

3. «Блаженны нищие духом».

«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

4. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей... Что Бог сочетал, того человек не разлучает».

«Всякий, кто оставит... жену... ради имени Моего... наследует жизнь вечную».

5. «Не мир пришел Я принести, но меч».

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

6. «Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет».

«Вы от нижних, Я – от вышних».

7. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие».

«На путь к язычникам не ходите».

8. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником».

«Почитай отца своего и матерь свою».

9. «Царство Мое не от мира сего».

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

10. «Не противься злому».

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».

11. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях».

«Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас».

6 апреля

«Знаете что, Ерофеев? Не знаю, чем вы меня заинтересовали конкретно, но вы человек слишком своеобразный. Да вы, наверное, и сами это чувствуете прекрасно. Единственное, что я вам посоветую — оставьте это. Надеюсь, вы понимаете, о каком «этом» я вам говорю... Будьте проще. Не думайте, что все они глупее вас и поэтому чем-то вам обязаны... Я не собираюсь делать вам комплименты, но все-таки могу заметить, что у вас проглядывают какие-то прекрасные задатки. Правда, они у вас опошлены и загрязнены чем-то чужим, не вашим, наносным. И все-таки для вас легко преодолимы... Не знаю, откуда у вас это наносное, — вероятно, просто кокетство... А оно вам не к лицу... Больше читайте... Для вас это самое главное. Кстати, я могла уже заметить, вы не относитесь к числу «поверхностно воспринимающих» литературу... Больше читайте... у вас слишком скромная эрудиция... а каждая прочитанная вами книга возвысит вас на голову... Это не каждому дается... И все-таки, Ерофеев, — можете на меня обижаться, — вам еще слишком далеко до рабочей молодежи».

7 апреля

Мне казалось, что я ухожу далеко и за мной никто не гонится.

И я действительно уходил далеко — и никто не гнался за мной.

Мне казалось, что что-то необыкновенно черное неожиданно меня остановило и заставило длительное время озираться вокруг.

На самом же деле я нисколько не озирался, озираться было некогда — на меня с неимоверной скоростью наезжал автомобиль новейшей марки...

На секунду я вынужден был уподобиться горным сернам. И в ту же «секунду» сообразил, что можно было вполне обойтись без уподоблений — черный дьявол без особого напряжения сделал отчаянный разворот, ласково обогнул меня и затормозил у здания германского посольства.

В первое мгновение я был слишком взволнован тем, что всеблагое провидение (в который уже раз!) избавило меня от трагического исхода.

В следующее мгновение я вынужден был устыдиться себя самого и своей минутной (впрочем, даже не минутной, а секундной) трусости.

Затем встал в позу Наполеона и задумчиво посмотрел на посольский подъезд. То, что я увидел, наполнило меня до отказа мистическим трепетом. И чуть было вновь не заставило «уподобиться»...

«Посол, — промелькнуло у меня в голове и задрожало где-то в ногах, — посол!.. Может быть, даже чрезвычайный!.. Может быть, даже... ну, конечно, — раз чрезвычайный, значит и полномочный! Значит, и то, и другое вместе... И все это вместе... обогнуло меня!! Меня!.. Обогнуло...»

«А кто — я? Кто?! — вопросил я себя и принял позу, среднюю между аристотелевской и сократовской. — Кто?! Не Поспелов? — нет! Не Даргомыжский? — нет! Тогда кто же — Беркли? Симонян? Заратустра? Жуков? — нет... Назым Хикмет? Нежданова? Прометей? Чернов? Рафаил? Микоян? Правый полусредний? Леонардо да Винчи? — опять же нет... Тогда кто же? Неужели — обыкновеннейший пуп?..»

«Гм... Пуп... — чудесно! Пусть будет — пуп! Пусть обыкновеннейший!.. Но ведь... уступил мне дорогу посол агрессивной державы!.. А? Хе-хе-хе-хе! Уступил!! Жалкие люди, — мысленно произнес я, оглядев с ног до головы встречных пешеходов и сменив аристотелевскую позу на позу постового милиционера, — нет, все-таки, до чего жалки эти существа и до чего же мелочны их волнения! Один оплакивает утрачен-

ную младость, другого укусила вошь, третьему не оплатили простой, четвертый разочаровался в запахе настурций, пятому разбили голову угольным перфоратором... Неужели бы и им уступил дорогу посольский экипаж?.. А?..»

«Нет, черт побери, им бы, конечно, не уступил дорогу посольский экипаж. Если даже рассудить здраво, так не только чрезвычайный посол, но и зауряднейший смертный никогда не уступит дорогу человеку, которому всего-навсего разбили голову угольным перфоратором. Значит, есть во мне что-то божеское... Ну, не божеское, а что-то такое... неизмеримо более высокое, нежели полномочные представительства и международные конфликты... И это «что-то» заставило даже Каина на мгновение стать гуманным!»

«Странное дело, — продолжал я, на этот раз обращаясь к встречным, — очень возможно, что и работники советского министерства, встретив посла на ковровой лестнице, почтительно отступали, расшаркивались и окрашивали лицо свое в улыбку раболепного смущения... а получали в награду снисходительное поплевывание и, ослепленные саксонской воинственной гордостию, заражались оборонческим страхом!»

«Очень возможно также, что страх этот породил в посольском мозгу «далеко идущие выводы». И — кто знает! — может, дула боннских орудий, направленные к сердцу освобожденной Польши, ждали только сигнала; а поводом к нему могло послужить малейшее выражение примирительно-восточной дрожи!.. А дальше... — вы понимаете, что дальше?! — миллионы искалеченных жизней, озера материнских слез, девочки с разбитыми черепами, заокеанский кал в усадьбе Льва Толстого и... все что угодно!»

Я разрыдался.

Слезы лились на тротуар, брызгали на продовольственные витрины. Перламутрово-чистые слезы... слезы человека, заронившего искру гуманности в зачерствелое сердце... слезы, избавившие от слез миллиарды материнских глаз.

Они, эти слезы, словно бы делали полноценными те миллионы человеческих жизней, которые, возможно, были бы искалечены. Они как будто бы склеивали разбитые черепа маленьких девочек и вымывали кал из усадьбы Льва Толстого. Они...

А эти люди не понимали меня. За минуту до того спасенные мною, они смеялись над моим умилением.

«Посмотрите... его чуть не раздавила машина... и он плачет... плачет, бедный... Ему было, наверное, так страшно...»

29 апреля

— Ерофеев! С вами разговаривает сержант милиции, а не девчонка!

— Ну и что же?

— Поэтому не стройте из себя дурачка!

— Помилуйте, товарищ сержант, где же это вы видели, чтобы кто-нибудь перед девчонкой строил из себя дурачка?

— Хе-хе-хе, Ерофеев, вы думаете, если я сержант милиции, так и не имею никакого дела с девчонками?

— Ну, так в таком случае перед вами не девчонка, поэтому стройте из себя не дурачка, а сержанта милиции.

(конец марта 1957 г.)

— Я смотрю, Ерофеев, ты младше меня всего на год, а ты сейчас находишься на таком этапе, на котором я был, наверное, года три или четыре назад. Ты увлекаешься стихами, а у меня это уже давно пройденный этап... Правда, я уж не так увлекался, как ты, — чтобы целыми днями только этим и заниматься...

— Знаете что, товарищ слесарь-водопроводчик, я тоже когда-то говорил глупости... но это у меня уже давно пройденный этап. Правда, я и раньше увлекался этим не так, как ты, — чтобы целыми днями только этим и заниматься...

(26 апреля 1957 г.)

— Это за что же меня, бедного, расстреливать?

— За то, что ты врах!

— Это почему же я врах, товарищ начальник?

— А это уж у тебя спрашивать не будут, Ерофеев. У нас слишком мало разговаривают с такими, как ты, которые нам мешают!

— Мешают?! Чему мешают, товарищ начальник!

— Чему?! Достижению нашей общей цели, Ерофеев, если это вам не известно!

— Ну, так как же мне быть, товарищ начальник... Вы просто цитируете Игнатия Лойолу, и мне становится не по себе... Вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола?

— Не слышал.

— Это был, между прочим, один из прославленных сподвижников Владимира Ильича Ленина, талантливый марксист, о котором даже Плеханов отзывался довольно...

— Не слышал, не слышал. В «Кратком курсе» его не было. И фамилия какая-то...

— Да-а, он по происхождению испанец, по взглядам — интернационалист. Между прочим, дивную фразу произнес Игнатий Лойола на заре нашего века: «Цель искупает средства»...

— Как раз для тебя эта фраза, Ерофеев... Для тебя и тебе подобных! Марксисты...

— Да, но почему — «тебе подобных», товарищ начальник? Во-первых, я слишком бесподобен... А во-вторых, вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола?

— Нну... я же тебе говорю, что не слышал... И не важно, кто был...

— Игнатий Лойола был, между прочим, самым фанатичным из всех средневековых инквизиторов... это был «талантливый повар», даже Кальвин отзывался о нем...

— Так что, Ерофеев, я тебе советую все это прекратить, иначе...

— Да, и между прочим он был немножко похож на вас, товарищ начальник. И ходил в таких же очаровательных носках...

— Да-а?

— Угу. И, между прочим, его повесили. И, между прочим, когда он висел, то при этом очаровательно дергался...

— А вы думаете, я вас не понял, Ерофеев?

— Ну, это даже не важно, поняли вы или...

— Ты невоспитанная свинья, Ерофеев!

— И тем не менее он *очаровательно* дергался...

(29 апреля 1957 г.)

— Что это ты на меня исподлобья смотришь?

— А разве я исподлобья смотрю?

— Как на лютого врага...

— Нет, что вы, товарищ секретарь, у меня просто есть одна интересная привычка: на людей, которых я презираю, я смотрю прямо; на людей, которых хоть немножко уважаю — сбоку...

— А ты сейчас на меня смотришь как-то и не так, и... не сбоку... а вполоборота...

— Ннну, я просто имею обыкновение смотреть так на людей, которые... недостойны презрения, но и уважения тоже недостойны... Я смотрю так на тех, которых умный человек считает умнее себя, а дурак — глупее себя...

— Ккаккой ты все-таки умный, Ерофеев!

— Нет, товарищ секретарь, я от рождения идиот.

(29 апреля 1957 г.)

1 мая

Давно уже я вошел в этот автобус.

Так давно, что даже не помню теперь, как встретили меня пассажиры... Наверное, никак не встретили: ведь входят и выходят так много, зачем же примечать каждого...

Они просто не хотели примечать; им мягко, тепло, — они даже не смотрят на выход, на «свой» выход. И не смотрят на тех, кто входит: для чего им смотреть на них, если им так уютно!..

Меня заинтересовало: если все-таки они скоро выйдут — для чего же сидеть? Они же выйдут на холод — так и заранее согреваться незачем! Они ведь и вошли, чтобы потом — выйти!.. Удивительные пассажиры!

Если бы я все это выражал вслух, меня бы не поняли... На меня бы оглянулись, зашикали: «Какое вам дело!» Вечно это ругаются пассажиры, которым не хватило мягких сидений! Успокойтесь!.. успокойтесь...

Я это уже знаю заранее: ...успокойтесь... какое вам дело...

Потому я внешне не восставал; просто — немножко смешно было: сидят — ну и бог с ними... а все-таки, для чего сидеть, если можно встать... или даже на пол лечь — это ведь гораздо умнее, лечь на пол и ковырять в носу... Сидеть — это и я умею, это каждый может — сидеть...

Я даже задумался: если бы вдруг освободилось сидение, рядом со мной... что тогда?.. Я ведь страшно люблю задумываться.

...Нет, конечно! я ни за что не сел бы! Ведь рано или поздно все мы выйдем! И тот, кто сядет вместо меня — тоже. Встанет и выйдет. К тому же...

Вот это уже самое главное: «к тому же» любая остановка может быть моей. Когда меня спрашивают: «Гражданин, вы на следующей сходите?», мне кажется, что меня дразнят. Стоит, мол, нарочно, чтобы мешать. Без билета... а ведь

смотрит на всех так, как будто бы кто-то виноват, что ему приходится стоять... Не знает сам, куда едет... Удивительный пассажир!

Даже в голосе чувствуется злоба: «Путается... Отошел бы в сторонку, что ли...»

И я просто не могу их понять. Задевать безобидного — это же... Да и какое им дело! Разве я виноват, что меня втолкнули сюда! Они же сами видят, что мне не только что отойти в сторону — мне даже повернуться невозможно...

Я, может, для того и еду, чтобы понять: для чего же едут другие... И вообще: для чего входить туда, откуда есть выход...

6 мая

Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста получает инструктаж в германском посольстве!

Прокламации под мартыновской юбкой!

Бомбы над кинотеатром «Пламя»!

Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста требует конституционной монархии!

Начало стачечного движения за увеличение рабочего дня!

Шатобриан под подушкой бывшего комсомольца!

Евангелие на обеденном столе!

Служащие трестовской бухгалтерии вынуждены признать «Уголовный кодекс Союза ССР» значительной вехой в развитии пасторального жанра!

Советский грузчик в объятиях Тайницкой башни!

Предсмертные судороги подполковника Дробышева!

Коммунисты идут на компромисс!

7 мая

У меня расшатанные нервы.

Когда я встречаю на улице подозрительный взгляд, я, против своей воли, отвечаю тем же.

Если при мне оскорбляют человека, которому я признателен, мне вдруг становится так хорошо... В такие минуты я не замечаю подозрительных взглядов и смиренно потупляю голову...

А стоит мне отойти от оскорбителя, я поворачиваюсь и смотрю на него презрительно.

Он отвечает мне тем же.

8 мая

— Я тебя не понимаю... Или ты просто дурак, или ты человек, упавший с луны. Другого объяснения нет. Или, может, ты просто пьяный...

— Кстати, я совершенно трезв... Нальем?..

— Давай...

— Ттэк — не торопясь, начнем сначала... Во-первых, ты сказал: я тебя не понимаю, — ты, наверное, дурак... Но ведь не только умный не может понять дурака, а чаще как раз наоборот, дурак не может понять умного. Так что этот вопрос спорный, и мы его отодвинем...

— Давай говорить просто.

— Давай просто. Мне все равно.

— Кгхм... Ты любишь... Родину?

— Мдэс... Стоило ли, право, делать умное лицо и произносить «кгхм»...

— А все-таки...

— И «все-таки» не могу ответить... У меня, например, свое понятие «любить» и свое понятие «Родина»... Может быть, для меня выражение «любить» имеет то же значение, что для вас — «ненавидеть», — так что ни «да», ни «нет» вам не дадут ничего...

— Гм... Это я не понимаю... Мы же условились говорить просто...

— Так я и говорю просто. Проще — некуда...

— Предположим, для меня «любить Родину» это значит «желать ей блага»...

— Чудесно... Теперь представьте себе: я тоже говорю: желаю ей блага... Но для меня, может быть, благо — поголовное истребление всего населения нашей, извините, Родины... А для вас совсем другое... Для вас «желать» — значит «стремиться к достижению», а для меня — «отворачиваться» от того, что мне нравится...

— Ну, у тебя тогда нечеловеческие понятия обо всем...

— Ты хочешь сказать: «не мои»?

— Ну, раз «не человеческие», значит, в том числе и «не мои»... Да и зачем придавать каждому слову свое значение — возьми ты самое простое слово: «бежать»... Ведь ты же не придашь ему никакого своего значения...

— Нет, конечно... Потому что «бежать» не имеет никакого отношения к... так сказать, духовной стороне человека...

так же, как «солнце», «баклажан», «ЦК», «денатурат» и так далее... Эти вещи можно понимать, но не чувствовать... К тому же смысл всех этих понятий – неизменный и точно зафиксирован в словаре.

– Но ведь в словаре-то давно уже зафиксирован смысл и всех этих ваших... духовных слов... Возьмет любой человек словарь – и ему совершенно ясно, какое правильное значение имеет слово, ну хотя бы «желать»...

– Гм... В таком случае, пусть этот ваш «любой человек» сначала справится в словаре, что такое «общепризнанное» и что такое «индивидуум»...

– Хе-хе-хе-хе... Остроумно, конечно... Но все-таки... у всех уже укоренилось издавна одно общее понятие «желать»... Я, например, лично первый раз встречаю человека, который еще пытается втискивать какое-то другое значение в это слово...

– Ну, тогда вы сами попутно справьтесь в словаре, что такое «укоренившееся» и что такое «искоренять»...

– Черт побери, неужели тебе еще не надоел «словарь»... Вот я еще чем хотел поинтересоваться... Ты говоришь, что у тебя свое собственное понятие о слове, например, «любить», «ненавидеть» и так далее... А вот ты почему-то путаешь эти понятия, пусть даже они будут и твои собственные... Ты вот говоришь, что «может быть, для меня любить – то же, что ненавидеть» и так далее...

– Ну, во-первых, я совсем не так выражался... И потом – что же здесь особенного? Ты никогда точно не определишь слова, которое выражает какую-нибудь «отрасль» твоего душевного. Каждое определение потребует у тебя слов, которые тоже нуждаются в определении... И в конце концов, все окажется неопределенным и невыразимым... А то, что две неопределенные вещи путаются, – в этом нет ничего удивительного...

– Ну, так с таким же успехом могут путаться и все твои эти «обычные» слова, их тоже надо опре...

– А что ж, они и в самом деле путаются... Вот я, например, перечислил четыре совершенно обычных слова... У вас, наверное, путаются понятия «ЦК» и «солнце»... А у меня, например, «ЦК» и «баклажан»...

– Хе-хе-хе-хе...

– А что? – спутать их очень легко... И то, и другое «невкусно без хлеба»; и то, и другое немного дороже ливерной

колбасы, притом, обе эти вещи своей внешностью напоминают что-то такое...

— О-ах-ха-ха-ха!!

— Потом! — я, например, путаю «ЦК» с «денатуратом» — и то, и другое имеет синеватый оттенок, затем — оба они существуют, могут существовать и сохранять свою целость только в твердой и надежной упаковке. Вы, вероятно, знаете, что это за «упаковка»... Далее — обе эти вещи распространяют смрадное благоухание... и, в довершение всего, при поднесении зажженной спички легко вспыхивают и «горят мутным коптящим пламенем»... А? Как вы думаете?

— Все это, конечно, очень хорошо... Но я-то, вообще, никак не думаю...

— Чудно, чудно... я всегда безумно любил людей, которые «никак не думают»...

— Да?! А может быть, вы, как всегда, втискиваете в слово «люблю» свое значение «ненавидеть»?.. Ха-ха-ха...

— Нет, почему... Я вынужден пока «втискивать» в это слово общепризнанный смысл... Я, как и все грузчики, слишком благоразумен...

— Что-о-о?!! Вы — грузчик!!!??

9 мая

Господь Бог цитирует Федора Тютчева!

Смотрите на небо!

Смотрите на небо!

Это — печать Всевышней нервозности!

Проверьте исправность громоотводов и захлопните чердачные окна!

11 мая

Иногда припоминаются сентябри...

Кажется — как это ни странно, — что через полгода снова будет сентябрь...

И снова, как в сентябре, в памяти всплывет апрельская икона, и запахнет октябрьским одеялом...

А теперь прошлогоднее исчезает...

По временам что-то недавнее повисает в воздухе...

Загорается лампа... При свете красного абажура от моста через Яузу ползет холодный туман... Озаряется сердитой улыбкой музыкантовская рожа... И окоченевший пьяный хватается за фонарный столб.

А потом барабанит дождь... И, привалившись к стене, побледневшая Лидия заплетает косы...

А паровоз гудит простуженным голосом, потом оседает, окоченевший, к подножию фонарного столба...

И шепчет, опустив голову в тарелку: «Дети мои... Дети мои...»

И гораздо отчетливее — во сне...

А наяву — на секунду, неясно, расплывчато...

Особенно когда приятно пахнет осенью...

А потом — холодом...

Удивительное ощущение!..

Словно бы 56-ой год совершенно неожиданно упал мне на голову, разлетелся на куски апрелей и сентябрей...

И теперь звенит в голове... звенит...

14 мая

...Все издохнут! Как собаки издохнут! И памяти о них никакой не останется! Потому-то и бесятся все! Думают, что если они будут убивать да резать, так о них помнить будут! Все одно!.. Ха-ха-ха-ха! А в сумасшедших домах! Ты видел?! — в сумасшедших домах! Что там творится! А-а?! Раньше хоть там умные люди сидели! Изобретали, читали, писали — да от этого и сходили с ума! А теперь — что? Теперь каждая сволочь падает на улице и ногами трясет! На Канатку ему, собаке, хочется, чтобы ни о чем не думать!..

...А все это ходят в бостонах! Красятся! Пудрятся! Духов на себя льют! Так это... двигают бровями! Глазки строят! Читают романы! Если есть кто-нибудь заразный, так на него косятся, боятся заразиться да издохнуть!.. А?! Хха-ха-ха! Боятся издохнуть!..

...Ты понимаешь, я точно такой же... И алкоголиков — всех! — за людей не считаю! Это уже не люди! Мы все издохнем! Так надо брать все, что тебе нравится, пока ты жив! Я вот, к примеру, пью так просто! Нравится просто пить! Вот и пью!..

...Скверным делом ты занимаешься, малый! Никакой такой особенной психологии нет ни у кого из этих вот! И изучать нечего! Все люди как люди! Каждому человеку хочется выпить! А у них немножко поменьше воли, не могли воспитать в себе с детства волю! Любой человек в любую минуту с удовольствием бы выпил! А он просто сдерживает себя —

таких вот и надо уважать! А не этих вот, которые стоят здесь целыми днями да харкают!..

...Я не понимаю, чего все жалуются на плохую жизнь! И еще говорят, что поэтому и пьют, что у них плохая жизнь! Я, например, думаю, что, наоборот, от хорошей жизни все и валяют дурака! Будь у них мало хлеба, так они бы не стали напиваться до дурости, а потом друг другу бить морды! И лучше будут жить — все равно пить будут, еще больше, чем сейчас. И морды...

...Ка-агда я пья-а-ан,
А пья-ан всегда-а-а я-а-а,
Больну-ую ду-у-у-у-ушу
Я во-о-одкой а-атважу-у...

...И я тебе скажу, почему война так действует на людей! Все-таки человек только в древности был зверем, и все время двигался по гуманной линии. Сейчас нет ни виселиц, ни плах, ни гильотин! И гораздо гуманней был человек в этом году, скажем, чем двадцать или даже десять лет назад! А на войне — наоборот! На войне, что ни год — то все бесчеловечнее делается это оружие... Поэтому между мирным и военным временем все больше делается пропасть! И она все больше и больше!.. Ее поэтому и боятся — те, которые пойдут...

...Мне-э-э рррo-оди-ну-у-у,
Мне-э-э ми-и-илу-ую-у,
Мне-э-а ми-и-илай да-айте взгля-ад...

...Хлопцы! Сынки! Осчастливьте старика! Я линию Маннергейма... брал с боем! Никогда не шутил с изменниками, а душу всю выкладывал, кровь...

...И поделом! Бабам не место в пивной! Раньше-то, посмотришь, и не видно нигде было, чтобы баба допьяна опивалась, а теперь чище мужиков! Рукавом утираются! И... голландского сыра не надо, а?!! Хя-хя-хя!..

...За убийство — в тюрьму сажают, расстреливают! Недавно у нас одну посадили, за то что своего ребенка задушила, двухмесячного! По закону нельзя убивать ребенка! А аборты не запрещаются! Это что же получается — убивать ребенка в утробе матери — можно. А как вылез — уже нельзя, тюрьма! А что, если его задушить, пока он только

еще голову просунул — это что? — карается по закону или нет?!

...Да здравствует великий наш наррод — стрроитель коммунистического отечества! И нашего великого завоевания от всех капиталистических попыток...

...Господа! Нюхайте кильку! Нюхайте кильку! Лучшее средство от горестей и заразных заболеваний!..

...Бывал и в Сталинграде, бывал и в Берлине. Наш брат Иван ленив, ленив... ну уж а если его разозлят, тогда спуску не жди! Что статуя в Берлине стоит, так это хорошо, просто так бы статую не поставили! А если рассудить — так незачем, вроде насмешки как будто... Да и нашего брата Ивана не за что винить, озверели, озлобились. Мы все в Берлин-то вступали с таким видом, как будто бы это саранча, которых всех надо уничтожить, всех немцев... Побили много, правда, баб прямо в подъездах ебли и сразу штыком в пузо... Да ничего не поделаешь, немцы тоже наших стариков убивали... Да ведь у них и цель-то была такая — всех истребить... А у нас ведь миссия освободительная... Немцев от немцев освобождали...

...С тех пор и трясутся руки. Ты, малый, не поймешь это, нервное состояние. А все равно никого не виню, ни государство, ни войну. Сам виноват, вот и исповедывался, как Мармеладов перед Раскольниковым. Хе-хxе-хxе! Какой я Мармеладов... Как ты — Раскольников... Хе-хxе... Бывший студент... Может, пойдешь убивать старух, а потом в обморок падать... Хе-хxе-хе... Не выйдет... Теперь уже не выйдет. Теперь старухам почет, пенсия. А молодым — все дороги открыты, и в пивную тоже...

...Я же вввам говорю, что не продавал! Не пррродавал! Не смей хватать, паскуда! Вы у нас для порядка поставлены, а если человек честным трудом...

...Удивительные люди сидят у нас в правительстве! Как будто бы умные, а такие глупости иногда делают... Возьмите хотя эти обеды, банкеты! Все время раньше допускалась такая глупость: человек, который руководит, ест лучше и больше, чем те, которыми он руководит. Это так нелепо! Что даже и сейчас наши руководители больше всего любят эту привычку! Удивительно... Неужели они не чувствуют, до чего это глупо...

...Так что и жизни-то, по сути дела, нет никакой. Пьем — и все. А отчего пьем? На какие деньги пьем? — это, может, и

дела никому нет... Может, это я кого-нибудь убил, да теперь вот его и пропиваю, может, я его и не убивал, а просто себя считаю убийцей... Я, может быть, сам девочку из огня вытаскивал, может, она горела и кричала, а я ее вытаскивал... А теперь и... ппропиваю ее... Тут... душа человеческая много знает... от этого обычно и...

...Объедаются, сволочи! Крровушку народную пьют! Соревнуются... заокеанские империи кожу с наррода... А русский — душевно ссвободный человек! Хочу — пью... Хочу — плачу, хочу — в моррду... А у нас не так! У нас, у русских — не так! Захотелось — иди, бери домой, все чинно, по-образованному, ...главное, чтоб шуму не было, чтоб никто не кричал... чтобы все — тихо, это самое главное...

...Прравильно! Прравильно!! Мы имеем полное право!..

...Даже ссать с третьего этажа запрещают. А в каком это законе написано, что ссать с третьего этажа нельзя...

...Думают, мол, помнить будут... А все одно...

15 мая

«Вы, видящие бедствия над вашими головами и под вашими ногами и справа и слева! Вечно вы будете загадкой для самих себя, пока не сделаетесь смиренными и радостными, как ребенок. Благо дано всем Моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его. В своем самодовольном легкомыслии они отворачиваются от Моих даров и с плачем жалуются на то, что у них нет того, что Я дал им. Многие из них отрицают не только дары Мои, но и Меня, Меня, источника всех благ.

Оставьте ваши невежественные мысли о счастье, о мудрости, оставьте все ваши желания, — тогда познаете Меня и, познавши Меня в себе, глядя из великого мира внутри себя на малый мир вне вас, вы будете благословлять все, что есть, и будете знать, что все хорошо и в вас и вне вас».

Криш. (12 ч. ночи)

16 мая

«Не нужно, ведь тебе же сорок лет... Ты поправишься... Это же ты просто заболела...»

«Доченька, не надо... Помнишь, ты покупала елки... Подходила к каждому ларьку, просила самую маленькую и красивую... А потом бросала... Я же тогда всех уговаривала: не надо смеяться... не надо смеяться...»

«Ты ведь знаешь, что болела тогда... я же ведь тебя уберегла... а ты говорила, что я виновата... Плакала, говорила, что тебе стыдно... Помнишь?..»

«Ты ведь меня узнаешь?.. Не нужно так смотреть... Это оттого, что ты заболела... Помнишь, Венька к нам приходил... Ты выпила маленькую-маленькую рюмочку, а потом говорила, что тебе грустно... И все — какое-то тяжелое и грустное...»

«А Анна Андреевна вечно будет жить... Упокой, Господи, душу ее страдальческую... Она и сейчас тебя любит... Придет к тебе... А ты ведь тогда и смотреть так не будешь... Смеяться будешь... рассказывать... что ничего и не было... А просто заболела немного... И стало грустно... Да?»

«Узор будешь вышивать... и все поймешь... выздоровеешь... Все будет опять хорошо... как раньше...»

17 мая

— Вот ты говоришь: высшие цели... А ты не думаешь, что существуют умные люди — умные! — а они не понимают, что это значит! Не понимают! Не потому, что не могут! — не хотят! Зачем мне издыхать ради высшей цели, если она меня не воодушевляет?!

— Иногда мне самому становится страшно! Представь себе — я ем! Ем, потому что знаю — если я не буду есть, я не смогу работать! Но если я не смогу работать, я вынужден буду не есть! Кажется — просто! Сомкнутое кольцо — и никакой цели! Понять это просто, а представить себе, прочувствовать — станет жутко! Ты говоришь — высшие цели? А зачем они! Серьезно, зачем?

— Встань в мое положение. С утра до пяти вечера ты выгружаешь из печи кирпич. Температура 40–50 градусов. Кирпич раскаленный. На улице, если ты даже урвешь полчаса на отдых, — жарко. Работаешь почти голый, глотаешь испарения горячего кирпича — и все время одно и то же: наклоняешься над кирпичом, берешь, грузишь на тележку, ее отвозят, моментально подвозят другую — у тебя уже кружится голова, грудь жжет, во всем теле ломота, ты еле держишься на ногах — и все равно: наклоняешься, берешь, грузишь, опять наклоняешься...

— Ты подымаешь один кирпич — и знаешь, что за ним пойдет еще семьсот штук. Нагрузил семьсот — начинаешь снова. Ты идешь домой — и знаешь, что завтра с утра ты

опять с головой залезешь в эту чертову печь и начнешь все сначала. Вечер дается тебе, чтобы ты мог подкрепить свои силы, поесть, отдохнуть — а завтра...

— В конце концов, тебе уже ясно, что именно-то в этой печи — вся цель твоей жизни. И тебе совершенно безразлично, вдохновляют ли тебя высшие цели или ты работаешь бесцельно. Тебе все равно, в каком государстве ты работаешь и какими идеями руководствуются твои властители. Тебе совершенно все равно.

— Когда-то я много читал, теперь ничем не интересуюсь. Просто я знаю, что ни одна книга и ни одна музыка не выразит моего чувства. Мне нужно произведение, которое выражало бы самые сложные чувства — и одновременно не выражало бы ничего. Да вообще-то мне и ничего не надо.

— А казалось бы, чего мне жаловаться! Я работаю в адских условиях — но зато: полторы тысячи!! Я могу всегда быть сытым и хорошо одеваться — да, но сердце, легкие... Еще лет пять — и я уже не жилец.

— Иногда забудешься у печи... Вспомнишь, что работаешь и для детей... Бессознательно задаешь себе вопросы: какие дети? зачем дети? — грузить кирпич?? Тогда зачем он, этот кирпич? Берешь один; как сумасшедший, бросаешь его об пол, разбиваешь; потом второй, третий, четвертый... Потом одумаешься — ну, разбил ты один кирпич, второй, но ведь впереди еще семьсот, а там еще... Останавливаешься, переводишь дух, начинаешь все сначала...

— Все это хорошо: люди издавна так работали, но ведь у нас все это, вместе взятое, без зазрения совести называется счастьем! Единственное, что у тебя остается, — водка, а ты пьешь ее осторожно, крадучись, исподтишка... Любая неосторожность — и тебя оштрафуют на 50 рублей!

— И все это — ради высших целей!

19 мая

Все в той же малиновой кофточке... страшно...

20 мая

— Ну куда я сейчас пойду?.. У меня... ннет... ничего нет! Что, ты думаешь — я так и пойду? Чтобы все смеялись надо мной — пусть... Да?! Ты что же — тты... человека понимаешь?

Тупо посмотрел на меня. Я отвернулся: попытался придать своему лицу безразличие.

— По-твоему... я должен на кирпичах спать... Так, что ли?.. Рубля жалеешь... своему другу... рубля жалеешь... В рррот я всех ебу в таком случае... Мне нужно... понимаешь?.. напиться нужно...

Я пробовал убедить его, что он и без того пьян «слишком достаточно»: я не дам ему ни глотка из своей четвертинки; что же касается денег, то их у меня нет совершенно...

— Ты же еще мне... сыннок!.. Ты еще... под стол ходил пешком... а я уже дддесять рраз человеком был... Ммалых ребят видел... И больших видел... тоже... А теперь — что? — умирать, что ли мне хочется? Обязан я что ли — умирать?..

Расстегнул телогрейку, обнажил мохнатое туловище.

— Видишь!.. Везде горит... огнем горит... А на что мне рубашка? Взял — и пропил... Пиджак тоже — как будто задаром... пропил... Как у русского народа... что выпито и проебено... то в дело произведено! Хе-хе-хе... Все за мозоли покупаем... а продаем — даром... В носках теперь идти... Ттак?

Нагнулся, придерживаясь за мою куртку, стал снимать грязные носки. Встретив мою улыбку, тоже улыбнулся.

— Малый! Мы... с тобой пили... а ты хороший малый! Тебя... девки целуют... Так всегда и надо делать!.. А мне... босиком теперь... дойду до кольца... буду все покупать... все, что лежит, все буду покупать... а телогрейку продам... Голый пойду... Прическу себе сделаю...

Снял носки: босой, опустился на землю.

— Купишь, а?.. В ней же цена не за то... что дорогая... Мне она нужна... Никому не продам... Голый пойду... От самой Москвы в ней прошел... А жены у меня нет... Теперь уже все равно — рубашку продал, ботинки продал... А телогрейку — нниккому не дам! Это своя, русская... Купишь, а?

Заерзал под ногами, схватился за мою руку.

— За один глоток, а? Носки отдам... Это они грязные, потому что темно... А были... хорошие, полоски везде... А?.. Не хочешь, значит?.. И телогрейки не хочешь... Душу-то нельзя продавать, душа у меня... как русский герой... а продавать нельзя... Телогрейку — можно...

Вероятно, вспомнив, что у меня в кармане четвертинка, неуклюже поднялся, стал на колени, обеими руками ухватился за карман.

– Сыннок... Я же не пожалею ничего... Отдам... Телогрейку отдам... Что еще у меня... нничего больше... Вечное тебе спасение будет... По-божески все будет... Ты же такой хороший... сынок... По-божески...

Пришлось вынуть четвертинку и заложить за спину.

– Ммилый, я же не хочу... Мне... можно не прятать... Один раз... я же понимаю... человеческие чувства... Ведь я... Я же не требую... Мне как другу... А никакой водки мне не надо... я и так... Водка везде есть... а чтобы душа горела... выпить надо... А телогрейку... тоже надо... ее одеколоном немного... помочить... и будет как... в хороших людях. Я – что? Я – не хороший? Тогда плюй мне в рожу!.. Ну? Я – что? Не человек?!. Тогда бей... Бей, и все... Ебать всех в ррот в таком случае... Бей... жалеть не надо... Я все, что надо... А сто грамм – за советскую ррродину, за службу...

Стало жутко. Всплыли на поверхность скверные желания... Помутился рассудок...

Ровно в час ночи я выбросил ему четвертинку.

21 мая

Помню, как в тумане... Было жарко и хорошо... И когда вспоминаю, снова становится жарко...

А она даже и не заметила.

22 мая

– Зачем бьешь?! Это беззаконие!

– Никто и не бьет! Слепой, что ли?

– Э-э-эх, надрызгалась, старая ведьма, ее и сапогом не разбудишь!.. До чего же все-таки доходят...

– Добро бы мужик какой-нибудь, а то ведь женщина! старая! И откуда только такие берутся?!

– А ведь сидела еще, денег просила... Какие только дураки ей давали?!

– И не стыдно ей, суке старой...

– Детей-то, наверно, нет... А то б постыдилась... этак-то...

– Да что ты ее, сынок, подымаешь-то – как? За голову... да сапогом!.. Руками бы уж, что ли?

– Возьме-о-ошь такую руками! поды-ымешь! Заблеванная вся...

– Как ведь скотина какая-нибудь... Да скотина-то чище... Люди-то хуже скотов стали!

– И не говори...

– Ляжет такая в сестиваль*, так все дело и испортит... Позор да и только!

– Ну, уж в фестиваль – так долго чикаться не будут... Это-то еще ничего, – видишь, как он ее удобно, – сапожком за живот и перевертывает...

– И чего пьют, спрашивается?.. Чего пьют?

– Какой ччорт там – «переживает»! Какого это ей хрена «переживать»? А если переживаешь, так переживай, как все культурные люди...

– Чем это она недовольна, интересно?! Надрызгалась – вот и все.

25 мая

Ерофеев! Вы плохо кончите! Вам, наверное, и во сне снится, что вам стреляют в затылок!

Ерофеев! Вы некультурный человек! Посмотрите на нашу молодежь! Разве кто-нибудь, кроме вас, в общежитии ходит в дырявых тапках?

Ерофеев! А вы, оказывается, хорошо стряпаете стихи! Вы о чем пишете – о природе или о девушках?

Ерофеев! За что вы ненавидите женщин? Женщин надо любить! На то у них и пизда!

Венедикт! Почему тебе все – смешно?

Венедикт! Ты хоть свою родную мать не называй сволочью!

Ерофеев! Вы рассуждаете обо всем, как трехлетний ребенок! У всех людей в голове мозг, а у вас...

У вас – «олимпическое спокойствие», Венедикт!

27 мая

Я люблю совершать благородные поступки, это моя слабость. Благодарение Богу, мне еще не представлялось подходящего случая. Иначе мне пришлось бы хвастаться перед ними, что я совершал их.

А я вот представил себе, что сегодня утром я был благороден... А представить гораздо труднее, чем совершить в действительности.

---

* «28 июля – 11 августа 1957 года в Москве состоялся Шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Советские юноши и девушки задолго до начала форума готовились достойно встретить посланцев юности, дружбы, мира – зарубежных гостей 140 стран». (Из газет.)

Может, я и в действительности совершал то, что мне представлялось, — ну, да ведь над благородством не смеются.

А над моими действиями-таки смеялись, хоть, может быть, мне это просто казалось.

А казалось бы — над чем смеяться?

Это даже своего рода долг — одернуть заблудшую женщину. Я лично ничего не имею против того, чтобы женщина являлась в общество с расстегнутой ширинкой, это, напротив, представляется мне явлением благоуханным...

Но если эта же женщина пытается убедить собравшихся, в том, что обозначенное явлением благоуханным — плод общественно-разгулявшегося воображения, здесь уж поневоле приходится прибегать к крайним мерам.

В этот миг я походил на Демосфена, я выражал сквозь зубы интересы большинства. Я это чувствовал, — толпа с удовольствием скандировала лейтмотив моей речи: «По зубам ее, стерву... По зубам...»

Но бить ее не решались — разве же можно без опасения даже приблизиться к балтийскому матросу. Значит, я ошибался, принимая его за столетнюю женщину. Мне просто казалось... По утрам меня интересует только кажущееся... Мы раскланялись...

Он отрекомендовался мне «апологетом» человеческого бесстыдства, он не фантазирует по утрам... С недавнего времени он всеми признанный порт пяти морей и крупнейший железнодорожный узел... Он падает на землю и дергается... Ну конечно, он сумасшедший, это все понимают...

Если он в бреду даже речь мою называет неблагородной, то какие же могут быть сомнения... Он сам это хорошо понимает, он видит, что по утрам все смеются над ним... Бедный помешанный... Он оскорблял меня...

28 мая

«Сыннок... ты меня обижаешь... я тебе подношу, как брату кровному... Как сыну своему подношу... А ты даже от своего... кровного... не хочешь принять...

Тты думаешь, я тебя просто напоить хочу... Чтобы ты напился да извиняться стал... Скверные, значит, у тебя... мысли... если ты так думаешь... Не за что передо мной извиняться...

Я ссам, если хочешь... извиниться могу... что в воскресе-

нье ругаться с тобой хотел... Если б не баба, мы бы с тобой поругались... по-хорошему... Она тебя любит, моя баба... Все хочет, чтобы ты ей стихи писал...

А от меня, проститутка, стихов не дождется... я уже дураком давно не был... Муж, значит муж... Расписаны – и все, никаких стихов... Прихожу в любое время... Если дает – ебу... Нет – ухожу к ебаной матери... Как будто у меня других блядей нет... Ты думаешь, я с одной ногой – так и блядей не найду... Блядей я всегда найду, еби только, успевай...

А тты – э-э-эх! – к бабе моей прилепился, стихи ей пишешь... Ппоэт... девятнадцатого века... Хе-хе-хе... Наверное, любишь, когда она перед тобой заголяется... Все это она хочет, чтобы ее молоденький лизал со всех сторон... Так жопой и завертит... от удовольствия...

Да ты не обижайся... Она хорошая баба... Она тебя не обидит... всегда, что надо, поесть сготовит... Ты как сын у нее, на всем готовом, только пои ее больше... Она, когда немножко выпьет, так сама бросается на шею, плачет... Так прямо и ложится под тебя...

Э-ох-хо-хо-хо! Люблю я тебя, паренек, так бы вот прямо взял и расцеловал... А? Хе-хе-хе-хе... Поэт! Настоящий поэт!.. Не знаменитый, ну – ничего... ничего...

Выпей еще грамм сто... вот уже и знаменитый... Пьяному море, как говорится, по самые пятки... Сейчас вот допью – пойду по блядям... Первым делом – к бабе пойду... Если дойдет дело до того, что выгонять будет... угроблю на месте...

В прошлое воскресенье тоже пришел навеселе... Хорошо, что еще успела дверь закрыть... а то было бы дело... я уж сколько раз из-за нее на пятнадцать суток садился... Все ей грозил, проститутке – погоди! отсижу, приду, – места мокрого не оставлю... Не все ли равно, за что сидеть...

А все жалею... Как посмотрю на нее, что она плачет... сразу жалею...»

А. М. 28/V – 57 г.

29 мая

Главное – хранить полнейшее спокойствие и заблудших отвести от самоубийства.

Сначала попробовать убедить: нет ничего безвыходного...

Если не поможет – напиться, успокоить материально...
А «желанный» пояс окропить святой водой...

30 мая
Ммилые вы мои!
Да ведь я точно такой же!
Помните? – когда похолодало двадцатого марта, ведь и я закрывался рукой от ветра, отворачивался, хотел, чтобы теплее было!
А потом прятался под одеяло, согревал руки, и, когда жаловались на холод, говорил, стиснув зубы: «Это хорошо... Мне нравится, когда так... бывает».
Говорил совершенно серьезно – и жался к теплому радиатору! Ругался, когда кто-нибудь открывал дверь и озябшим голосом просил папиросу!
Теперь немного теплее. И все равно говорят озябшими голосами, вздрагивают у проходной, а на холодные радиаторы смотрят угрюмо, наверное, считают их виноватыми.
Мне тоже холодно. Я тоже вздрагиваю.
Им не нравится холод. А мне – ...

31 мая
Ну, как это можно лежать в гробу? Так вот просто и лежать?
Хоть бы покрыли чем... А то ведь я выдать себя могу. Нечаянно дрогнет рука или... еще что-нибудь. Хорошо это лежать мертвому, ему и не стыдно, что он лежит. Да и рука у него не дрогнет... или еще что-нибудь.
А меня вроде как будто на смех положили. Положили и ждут, когда я разоблачу себя... Пошевелюсь или вздохну...
И глаза открыть нельзя... Откроешь – а они все стоят и на тебя смотрят...
Мертвому, например, все позволяется... Мертвый может и с открытыми глазами лежать. Все равно не увидит никого... Ему кажется, наверное, что и на него никто не смотрит... Потому и не стыдно ему... И закрыть глаза – может... Даже полагается, чтобы мертвый в гробу все время глаза закрывал...
«Граждане! Если я посмотрю на вас – вы смеяться не будете?.. А?..»
Странно, почему все молчат... Думают, наверное, что я и в самом деле мертвый, а просто из себя строю этакого...

разговорчивого... Как будто это очень мне интересно — откидывать перед ними коленца да потешать их...

«Граждане! А я все-таки открою! И глядеть на вас буду!.. Вам это даже интересно будет. Мертвый, а глядит... Хи-хи... В платочки будете фыркать. А потом пойдете и будете всем рассказывать: «Мертвый, а глядит...»

Ну, а теперь они и подавно будут говорить, что я умер: открыл глаза, а ничего не вижу. Совсем не так, как в темноте. Если в темноте приглядеться, так сначала увидишь просто контуры... А потом и самые лица разглядишь... Узнаешь тех, кого видел раньше... Моргнешь им или лягнешь ногой... А ведь здесь не только контуров — самой темноты... Самой темноты не видно.

Бывает, что человек проснулся, открыл глаза — а не видит... Но ведь это во сне так бывает... А ведь я и не думаю спать. Я же знаю, что на меня смотрят...

«Граждане! А что, если я на другой бок повернусь?.. И вообще — буду поворачиваться, песни революционные петь, кричать буду?.. Вы ведь тогда отвернетесь?.. Да?»

Смеются... Это они, наверное, над «революционными песнями» смеются... Зря я это сказал... Мне даже самому неловко. Нужно им было что-нибудь поумнее сказать, чтобы подумали: «Умный, а ведь в гробу лежит. Стало быть, умер».

А ведь это очень трудно. Лежать в гробу, чувствовать, что ты ослеп, — и умное говорить. Это очень трудно.

«Упокой, господи, душу новопреставленного раба твоего!.. Граждане! Вы не думайте, что я верую в бородатого бога! Бог всюду сущий и единый!..»

Вот, мол, какой я умненький.

«А все, что я говорил до сих пор, — вы тому не верьте. Все по незнанию, по недомыслию... Потому что непривычно мне здесь... В воздухе как будто кухонный запах. И смотрят все. Смотрят, а не говорят ничего. Страшно...»

Да мне и действительно страшно.

«Граждане! Если среди вас есть хоть один слепой — он поймет меня. Я ужасно люблю слепых! Я еще в детстве хотел, чтобы все были слепые, чтобы у всех были сомкнутые веки... А если у кого-нибудь глазное яблоко раздвинет веки, так это считать злокачественной опухолью, помочь ему...»

Фу, какую я глупость сказал!..

Я даже чувствую, что начинаю краснеть. Странная у меня привычка! Когда я начинаю краснеть, то краснею все больше и больше. И уже никакой хладнокровностию себя остановить не умею...

Хоть бы покрыли чем... А то ведь могут подумать: «Притворщик, мертвые не краснеют». Ну, хоть бы саваном, что ли...

«Граждане! Вы бы уж покрыли меня, а то ведь я покраснел... так вы увидеть можете».

А под саваном и чихать позволяется.

«Так уж лучше не видеть меня... Со святыми упоко-о-ой...»

7 июня

«Матерь Божия!»

«Девственница Мария!»

«Богородица пресвятая!»

«Заступница-матушка!»

Триумвиров не нужно!

Ниспошли мне, что ниспосылала!

Убавь еще немного!

8 июня

Если вас оттесняют на исхоженный тротуар, держитесь правой стороны.

Если вы просветляетесь в мыслях — засоряйте свой разум.

Если вы чувствуете непреодолимую симпатию к находящейся в пределах земного вещи, уничтожьте ее.

Если это деньги — сожгите их.

Если это человек — толкните его под трамвай.

Если это дама — привяжите ее к стене и вбейте ей клин.

Убедите себя, что отвращение — самое естественное отношение к предмету и что на поверхности вашей планеты не должно быть ничего, к чему бы вы чувствовали влечение.

Убедите себя, что гораздо благороднее — мыслить представлениями об уже не существующем.

Если же стечение обстоятельств отрекомендуется вам Роковым для вас самих и вынудит вас покинуть земное, — уходите спокойно, с ясностью во взоре и в мыслях.

Уходя, гасите свет.

9 июня

Наверное, завтра меня свезут в сумасшедший дом... Все равно она ласковая... И у нее красивая грудь... Пшеницына тоже была такая... Обломову нравились локти... Он всегда смотрел на нее... Это помогает...

10 июня

«Э-э-эх, Венька, Венька! Хоть мне и горько признаться, а я в тебя потерял всякую веру.

В марте я просто-таки тобой восторгался, ожидал, что из тебя получится чуть ли не великий человек... В апреле как-то равнодушно к тебе относился, но все-таки надежды не терял...

А теперь... вообще махнул на тебя рукой... Гиблый ты человек, конченый...

Я думал, ты бросишь пить, а оказалось наоборот... Ты еще больше пьешь... Да и обстановка здесь дикая, на тебя влияет... Ты же здесь просто задыхаешься, Венька!

И зачем только ты от нас ушел... Вспомни-ка, как было все хорошо... весело... Тебе, наверное, сейчас кажется, что ты выбился куда-то в сторону и остановился на месте, а все остальные живут... им по-прежнему хорошо...

А ты все катишься вниз. Не знаю, когда же будет предел.

Э-э-эх, Венька, Венька! Сколько раз я тебе говорил, еще и в прошлом году: опомнись, Венька, опомнись! — ты все смеялся.

А теперь уже поздно».

Валерий С. 10/VI–57 г.

ДНЕВНИК

11 июня –
16 ноября 1957 г.

Записки психопата. V. (окончание)

11 июня

Меня похоронили на Ваганьковском кладбище.

И теперь я тщетно пытаюсь припомнить мелодию похоронного марша, которая проводила меня в землю.

Иногда мне кажется, будто марша и не было, и сопровождавшие гроб двигались неохотно, поминутно оборачивались, словно ожидали, что откуда-то сзади с минуты на минуту раздадутся рыдающие оркестровые звуки...

И не дождавшись, отступали, расходились...

Я был слишком мертв, чтобы выражать к этому отношение. Отчего-то думалось, что равнодушие к удаляющемуся гробу было следствием тягостной, непрекращающейся тишины.

До сих пор всем им движение времени представлялось как движение вечных, сменяющих друг друга мелодий.

А теперь...

Тишина словно оглушила сопровождавших. И самому мне казалось, будто гроб остановился вместе с временем.

Остановился и тяжестью всеобщей пустоты «захватил» мне дыхание...

Стало душно...

А сверху на крышку гроба

что-то падало... сыпалось через щель между досками... не нарушая тишины...

Я словно чувствовал шуршание песка и ритмические удары по кровле моего последнего приюта. И — может быть, это была просто фантазия оглушенного человека, — но скупые и однообразные звуки преображались для меня в дивную мелодию.

Может, те, что стояли наверху, не слышали ее, хотя сами и извлекали ее из тишины... но для человека, у которого каждое психологическое состояние сопровождалось и выражалось внутренней музыкой, любое нарушение душной тишины может казаться музыкальным аккордом... тем более, что тишина для него вечна...

И у него даже отнята способность вспоминать, хотя воспоминания должны были бы стать единственным его уделом...

Несправедливость эта меня не тревожила.

Я напрягал свои чувства, вслушивался, словно бы я и не потерял способности вслушиваться во что-нибудь, кроме своей глухоты...

Я знал, что это не стук и не шелест песка... а самая удивительная из всех мелодий — тишина...

Но я уже ничего не слышал.

14 июня

Ну, какая может быть скорбь?..

Если даже я и «скорблю», предположим, так не должен же я путем выражения той же самой «скорби» хвастаться своей полнотой душевной!

Заметьте — я совершенно нормальный! Но величайшее удовольствие для меня — жалость по поводу того, что былое «не будет». И если скорбь доставляет мне удовольствие, почему же я должен видеть плохое в смерти своих близких?

«Скорбеть» по умершему для меня значит просто жалеть о том, что жизнь человека, смертию доставившего мне «скорбную радость», оборвалась этой же самой смертью. Стало быть, я жалею только о том, что мне приходится жалеть. Я сам вызываю жалость — и если бы я не черпал в ней наслаждение, она была бы мне не нужна, и, следовательно, ее не было бы.

«Скорбящий» по поводу смерти кого бы то ни было, я

гораздо более жалею себя, чем умершего. Я разговаривал с покойником, слышал, видел его; мои восприятия, им заполненные, — часть моего существования. Потому в смерти его я вижу утрату собственную.

Смерть человека постороннего точно так же может вызвать сожаление — но будет искренним оно только в том случае, если жалеющий «встанет в положение» умирающего или осиротелых чадушек его. Стало быть, единственным объектом моей жалости могу быть только я сам.

Смерть человека, тем более близкого мне, — лишний предлог для того, чтобы доставить себе радость слезной жалостию к самому себе.

Еще раз заметьте — я совершенно нормальный! Но для чего я на людях буду выражать свою жалость, если это будет восприниматься просто как хвастовство тем, что я позволяю себе слишком много удовольствий!

16 июня

«Капризная Tyche*» слишком ко мне благосклонна, в том смысле хотя бы, что никогда не оставляет меня.

Игривость ее заходит иногда слишком далеко.

Мне посчастливилось, например, уйти из университета вовремя только потому, что книжные ларьки в г. Кировске в 3 часа пополудни закрываются на обеденный перерыв. Совершенно без преувеличения.

Больше того — если бы они, эти ларьки, закрывались бы по пятницам на замок, мне никогда бы не пришлось даже покидать Хибинские горы.

30 апреля прошлого года не считается днем моей безвременной кончины только потому, что красный уголок черемушкинского общежития был этим вечером в запустении. Был же он в запустении в силу того обстоятельства, что буфет пополнился в тот день двумя ящиками первоклассных сарделек. Обстоятельство, внешне прозаическое, избавило меня от траго-романтической смерти.

Но с тех пор, в минуты крайнего пессимизма, острие моего негодования направляется на расторопность всех без исключения буфетчиц, виновных в продолжении моего тягостного существования.

Это еще не все. Если бы утром 3-го мая прошлого года в программу радио-концерта была бы внесена одна малень-

* Тихе — божество случая в греческой мифологии.

кая поправка, мне пришлось бы краснеть вплоть до февраля нынешнего года.

Если бы в феврале был более лукав бухгалтер нашего треста, мне понадобилось бы в тот же день лечь, не раздеваясь.

Мало того — отец мой скончался именно в июне только потому, что Шаболовка не залита асфальтом. Как это ни фантастично — но это действительно так.

И если бы стромынские туалеты были расположены не в местах общественного просмотра газет — у меня никогда не хватило бы духу начинать свои «Записки» и, следовательно, жаловаться на капризы могущественной богини случая!

Что уж там наполеоновский насморк!

17 июня

Удивительный человек. Бездарь. Гений. Оригинал. Слишком мрачный человек. Самый веселый из всех людей. Поэт. Чудак. Скрытный человек. Лодырь. Слишком длинноязыкий. Обломов. Страшно трудолюбивый. Самый непонятный человек. Хулиган. Тихоня. Политический преступник. Книжный червь. Анархист. Идиот. Философ. Пьяница. Младенец. Дубина. Студент прохладной жизни. Человек, который не смеется. Вертопрах. Весельчак. Сволочь. Душа-человек. Прекратите гнилую демагогию. Вот кого надо перевоспитывать. Ужасно интересный тип. Вы будете замещать воспитателя. Я хочу быть твоим товарищем. Черт знает, что у тебя на уме. Давайте, будем друзьями. Я буду твоим комсомольским шефом. Темный человек. Будем знакомы. С тобой интересно разговаривать, у меня теперь все мысли переворачиваются вверх дном. И прочее. И прочее. И прочее.

25 июня

Валерий Савельев — со всеми существующими жанрами танцевальной музыки.

Лидия Ворошнина — с «Половецким хором» Бородина.

Владимир Муравьев — с «Поэмой экстаза» Скрябина.

Владимир Бридкин — с куплетами и серенадой Мефистофеля.

Ниния Ерофеева — с «Цыганской песней» Верстовского.

Антонина Музыкантова — с Равелем и 1-ой частью 1-ой симфонии Калинникова.

Тамария Ерофеева – с романсом Листа «Как дух Лауры...» и пр.

Борис Ерофеев – популярные советские песни.

Александра Мартынова – «Интермеццо» Чайковского.

Все остальные – с песенками Лоубаловой.

Июль

Я начинаю злиться.

– Господа, разве ж вы не видите, что он больной?

– Вы, молодой человек, не вмешивайтесь.

– Ах, господа, я вмешиваюсь не потому, что мне доставляет удовольствие с вами разговаривать.

– Ну, так и...

– И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы вы оставили его в покое и удалились.

Они пожимают плечами: странный человек... он сам напрашивается...

– А все-таки интересно, где же это вы научились такому обращению?

– Не знаю... По крайней мере, меня интересует другое – чем этот бедный Юрик заслужил такую немилость?

– Все очень просто, молодой человек, – он целый год не плотит за комнату, а мы не имеем права держать в общежитии таких, которые по целому году не плотят!

– Все это очень хорошо, господа, но вы поймите, что этому человеку платить совершенно нечем.

– Нас это не касается, мы предупреждали его полгода, но он все-таки никак не хочет...

– Как то есть – «предупреждали»? Сколько бы вы его ни предупреждали, от этого работоспособность к нему не вернулась. Поймите, что он болен, и бюллетень ему не оплачивают, потому что до болезни он проработал меньше года. Он уже целый год питается только черным хлебом, а вы не забывайте, что этот мальчик – туберкулезный больной, которому строго наказано соблюдать диэту.

Они смеются... они не желают меня понимать... Взгляды их выражают снисхождение к моей глупости.

– Родные у него есть, они ему помогают, значит, и уплатить могут...

– У него всего-навсего один брат...

– Но ведь он ему помогает...

— Он высылает ему по сотне в месяц, он сам получает 600 рублей и на них содержит семью...

— Молодой человек, вы, наверно, думаете, что мы сюда пришли разводить с вами философию... В ваших вон этих книжках, может, написано, что это и плохо... а надо видеть не только книжки, но и понимать... А то вы здесь, наверно, и капитализм скоро будете защищать...

— Милые люди, я не собираюсь защищать капитализм, речь идет всего-навсего о защите Юрика, а он так же далек от капитализма, как вы, извиняюсь, от гениальности...

Они снова не понимают меня и смотрят на меня вопросительно-весело... Они ужасно любят шутов, им нравится, когда их развлекают... А то ведь жизнь — вещь скучная... работа в бухгалтерии... жена, дети... сливочное масло... зевота... А тут — есть над чем посмеяться, блеснуть былой образованностью...

— Вы, молодой человек, никогда не интересовались, как я вижу, постановлением Московского Совета...

— Совершенно верно, я не интересуюсь ни постановлениями Московского Совета, ни женскими календарями, ни...

— Вот тогда бы вы поняли, наверно, что ваша философия совсем здесь не у места. Савостьянов, одевайтесь и собирайте свои вещи...

— Юрик, лежи спокойно...

Вспоминается Абрамов... Сейфутдинов наклоняется к ногам его и подбирает свои рукавицы... на лице его — жалкая улыбочка, словно бы ему и улыбаться стыдно... Абрамов пододвигает ему рукавицы ногой... Ему очень хорошо... Он испытывает физическое наслаждение, близкое к половому... еще бы только ударить ножкой по сейфутдиновской физиономии...

Юрик встает, силится сдержать слезы... Он совершенно неграмотный... он улыбается...

— Ну-с, господа, теперь я уверен, что вот этот графин «встанет на защиту человеческой гуманности».

— Как вы сказали?..

— Я ничего не сказал, у меня просто есть желание наглядно, так сказать, продемонстрировать достижения нашей стекольной промышленности.

В дверях негодует толпа... Старушки вздыхают: «Куда ж он пойдет...», «Больной же...», тупая молодежь смотрит на

меня весело... они, как и конторские служащие, любят разнообразие... А то ведь, опять же, — скучно...

— Вам вредно пить, молодой человек, и рассуждать вам рано еще... а то ведь мы с вами и без милиции справимся...

— Даже?

— Представьте себе. Вы думаете, что, если мы работники умственного труда, так у нас нет и кулаков...

— Да, но ведь кулаки есть не только у работников, с позволения сказать, умственного труда...

— Значит, вы хотите с нами драться... так, что ли?..

— Не знаю... мне почему-то кажется, что хочет драться тот, кто первый напоминает о существовании своих кулаков...

Теперь они хорошо меня понимают... И даже тугая на соображение толпа мне симпатизирует... Это хорошо...

— А вы остроумный... вам бы только в армию идти на перевоспитание... У меня в полку и не такие хулиганы были, а выходили шелковые...

— Да... но тем не менее Юрик останется здесь...

— Юрик, может быть, здесь и останется на ночь, а мы с вами пройдемся...

— Ах, господа, если бы вы знали, как мне надоели уже эти субъекты в мундирах цвета грозового неба...

— Вам, может, и Советская Власть надоела? Пройдемте, пройдемте... Времени у меня оччень много...

— А у меня ровно столько же — терпения. Всегда пожалуйста.

6 августа

«Я взглянул окрест себя...»

«...и, потирая руки, засмеялся, довольный».

9 августа

Лексические эксперименты Мартыновой заслуживают самого пристального внимания. Тем более, что от способа выражения нежных чувств зависело разрешение актуальнейшего вопроса: «кому из трех быть фаворитом?»

Приводим «образцы» всех трех.

1. «Здравствуй, милая Сашенька! Я пишу Вам письмо с большого расстояния, и оно еще раз вам напомнит мои слова о том, что любовь убивает неразделенность, а не расстояние. Вы, наверное, понимаете, Сашенька, что я имею в своем виду.

Теперь, когда Вы так «далеко от Москвы», я еще больше, поверьте мне, думаю о Вас, как Вы были на моих именинах в своем цветном платке, и косы были у Вас тогда, как у девушки, и тогда снова бьется мое сердце и обливается кровью за Вас.

Ведь без Вас я как будто без сердца и без души. Я еще не стар, милая Сашенька, и моя любовь, которую, быть может, Вы отвергнете, ждет Вашего ласкового слова. Вашего чувства ко мне я не могу предугадывать, а Вам мое, без сомнения, хорошо понятно. И когда я в тяжкой разлуке, не слышу Вашего милого голоса, я тревожусь за судьбу своей любви, быть может, последней. По всей вероятности, и Вы тоже тревожитесь за нее, но предугадывать я не могу, и в заключение шлю вам прощальный привет в надежде получить от Вас желанный ответ. До свидания. Твой раб Александр Коростин».

2. «Любимая Саша! Итак, прощай, все кончено меж нами, любить тебя я больше не могу, любовь свою я заглушу слезами, за счастье прошлое страданьем отомщу. Я быть твоей игрушкой не желаю, прошу тебя, ты слышишь, только тебя об этом как друга умоляю, не вспоминай меня ни насмешкой, ни добром. Я ведь не заслужил твоих насмешек, не знаю, чем мог тебя я огорчить, я признаюсь, что раньше я любил Вас, ну, а теперь приходится забыть. Итак, прости, нам нужно расставаться, причины не ищи, так, видно, нам судьба, но время прошлого останется друзьями, мы расстались, но это не беда. Быть может, я страдать и плакать буду, я, может быть, ошибся глубоко, пройдут года, и я тебя забуду, забудь и ты меня и лучше не пиши. Итак, прощай. Предмет твоих насмешек, а может быть, любви — Коля С.»

3. «Уважаемая А. М.! Спешу принести вам тысячу поздравлений в связи с тем, что в последнем вашем письме кол-во грамматических ошибок уменьшилось втрое.

Осмелюсь далее заявить, что мое пламенное послание займет не больше, как страницу, ибо соревноваться с вами в объеме (я имею в виду объем письма) признаю себя бессильным. Позволю себе попутно сообщить, что ваш отъезд вверг всю мужскую половину 4-ого Лесного переулка в состояние нежной меланхолии, меланхолического томления, томительной нежности, томительной меланхолии, меланхолической нежности etc., etc. Остроум-

ный ваш супруг наедине со мной не раз варьировал эту тему в таких красках, что даже вы, А. М., внимая «им», покраснели бы (опять же — имеется в виду ваша всегдашняя бледность). И вообще, смею вас заверить, супруг ваш гораздо более достоин той груды ласкательных эпитетов, которыми вы в последнем своем письме совершенно некстати меня наградили.

В довершение позволю себе наглость пасть перед вами ниц и пр. и пр.

Имею честь пребыть: Венед. Ер.»

22 августа

Лежа в постели, выкурить 2 папиросы и поразмыслить одновременно, достойна ли протекшая ночь занесения в отроческие мои «Записки». Если все-таки достойна — выкурить третью папиросу.

Затем подняться с постели и послать заходящему солнцу воздушный поцелуй; дождаться ответного выражения чувств и, если такового не последует, выкурить четвертую папиросу.

С наступлением сумерек позволить себе легкий завтрак: 500 г жигулевского пива, 250 г черного хлеба и 2 папиросы (по пятницам: 250 г водки, литр пива и, добавочно к хлебу, рыбный деликатес). В продолжение завтрака следить за потемнением неба, размышлять о формах правления, дышать равномерно.

Последующие три часа затратить на усвоение иностранного языка, в перерывах — стричь ногти, по одному ногтю в каждый перерыв.

По окончании занятий повернуться лицом к северо-западу и несколько раз улыбнуться. Выпить 500 г пива, лечь в постель; лежать полчаса с закрытыми глазами (по пятницам один глаз дозволяется приоткрыть). Думать при этом о судьбах какой-нибудь нации, например, испанской, и находить в современной жизни ее — симптомы упадка.

Встав с постели — пройтись по засыпающей столице; каждой встречной блондинке говорить «спасибо» и стараться при этом удержать слезы; на поворотах икать и думать о ничтожном: о запахе рыбных консервов, о тщеславии Карла IX, о вирусном гриппе, о невмешательстве и т. д. Одним словом, казаться на людях человеком корректным и при грудных младенцах не сморкаться.

Придя домой, позволить себе до полуночи умственный отдых и скромный обед: 500 г пива и 450 г жареных макарон (по пятницам — 150 г водки, 500 г пива и, добавочно к макаронам, рыбный деликатес). Закончив обед, пожалеть кого-нибудь и внимательно на что-нибудь посмотреть.

Четыре послеобеденных часа заполнить литературным творчеством и систематизированием человеческих знаний. По возможности воздерживаться от собственных мнений, которые мешают нормальному протеканию пищеварительного процесса.

Ночные занятия сопровождать умыванием и закончить элегическим возгласом, вроде: «Какие вы все голубенькие!» или просто: «Маминька!»

Наступление рассвета встречать обязательно разутым, чисто вымытым и лежащим на полу. Так, чтобы первые утренние лучи падали под углом 45 градусов к плоскости моего затылка. Поднявшись затем, отряхнуться и послать восходящему солнцу воздушный поцелуй (по пятницам — добавочно к поцелую, рыбный деликатес).

Не дожидаясь выражения ответных чувств, углубиться в дебри своего мировоззрения, подвергнуть тщательному анализу свои отношения ко всем нравственным категориям: от стыдливости до насморка включительно. Затем обуться и выйти к ужину.

Ужин должен быть строго диэтическим, и выходить к нему необходимо в нагрудной салфеточке и с ваткой в ушах. Ужин — своеобразная кульминация суточного режима, поэтому в продолжение его следует держаться правил приличия: смотреть на все с проницательностью и живот не почесывать.

Закончив ужин, вынуть ваточку из ушей и тщательно проутюжить салфеточку (по пятницам ваточку из ушей следует вынимать при потушенном свете).

Приготовления ко сну начинать непосредственно после ужина.

Встав навытяжку перед постелью, пропеть тоненьким голосом моцартовскую колыбельную, — и уже после этого раздеваться. Ложиться следует так, чтобы затылок, ноги, живот и нервная система были вверху, а все остальное — внизу (по пятницам ноги должны быть внизу).

Засыпая, воздерживаться от размышлений и от будущих сновидений ожидать достойности.

25 августа

«Почтим, — говорю, — мою память вставанием...» А сам плачу; стою, руки опустив, и плачу... «На кого же я меня покинул», — говорю; а потом поправляю себя с улыбкой: «Не меня, а себя... покинул...» И так хорошо улыбаюсь, слезы по лицу размазываю... и шепчу, уже просветленный...

«Царствие мне небесное!..»

Сентябрь

Речь К. Кузнецова на открытии театрального сезона в «Обществе любителей нравственного прогресса».

«Господа! (Аплодисменты). Каждый из нас по-разному понимает те задачи, которыми мы должны руководствоваться в нашей деятельности. Нужно помнить, что наша основная задача — свести все эти задачи к одному — к борьбе. Но какая это борьба, господа?

Все мы беспрерывно боремся: утром — с зевотой, днем — с бюрократизмом и вспышками преждевременной страсти, вечером и ночью соответственно с отчаянием и половым бессилием. (Аплодисменты, возгласы: «Наверно, у Венедикта содрал!»).

В Америке происходит борьба за существование, в России — борьба за сосуществование. (Аплодисменты). Но главная борьба в наше время — это борьба за нравственное возрождение человечества! Почему в наше время каждый второй мужчина — алкоголик? Почему в больнице Кащенко не хватает коек для сумасшедших? Почему призывники 35 года* полегли тысячами в Венгрии? За что в наших ребят-призывников бросают камни в освобожденных странах? Разве мы, молодежь, виновата? (Аплодисменты). В таком случае — долой тишину и все это гробовое спокойствие! Мы — защитники нравственного прогресса! Наша главная задача на первом этапе — бить стекла! (Бурные аплодисменты). Срывать всякие вывески, вроде «Соблюдайте чистоту» и так далее! Наша вторая задача — устраивать шум и бардак — везде, где требуется тишина! Мы должны гордиться тем, что мы пушечное мясо! Нам никто не посмеет затыкать рот! (Аплодисменты). Нас пока четверо! Почетный член нашего общества — Венедикт! (Аплодисменты). Это, значит, уже пять! Будет еще больше! Мы — не хулиганы! Мы — революционеры! (Бурные аплодисменты, возгласы: «Сте-о-окла-а!»).

*1935 года рождения.

1 октября

По мере приближения к острову я все более и более удивлялся. Я опасался быть оглушенным хлопаньем миллионов крылий и разноголосым хором миллиардов птичьих голосов, — а меня встречала убийственная тишина, которая и радовала меня, и будила во мне горькие разочарования.

Ну, посудите сами: вступать на берега «Птичьего острова» и не слышать соловьиного пения! — это невыносимо для просвещенного человека. Тем более, что в продолжение всей церемонии «встречи» и на пути следования от аэродрома к отведенной вам резиденции вы поневоле вынуждены скрывать в себе свое разочарование и интернационально улыбаться.

Впрочем, любезная обходительность встретившего меня пингвина избавила меня от неискренности. А обращенные ко мне взгляды попугаев, до нежности снисходительные и до трогательности нежные, заставили меня улыбаться с совершенной естественностию.

Я был настолько растроган, что даже приветственная речь пингвина, затянувшаяся, по меньшей мере, на час, не показалась мне чрезмерно длинною. К тому же она несколько обогатила мои знания в области истории «Птичьего острова».

К крайнему моему удивлению, я узнал, что Горный Орел отнюдь не был родоначальником царствующей фамилии — он был всего-навсего последователем Удода. Однако деятельность Удода не заключала в себе ничего из ряда вон выходящего; да и скончался он в непогожую пару — одни лишь зяблики да снигири мрачно шествовали за гробом к заснеженному кладбищу.

И только тогда-то, в дни «безутешного траура», освобожденные пернатые впервые почувствовали на своих головах освежающее прикосновение орлиных когтей.

Нет, он тогда еще не был страшен, этот Горный Орел. Чувствовалось, что в его величественной птичьей голове еще только «гнездились» смелые замыслы, в его клекоте еще не слышно было угрожающих нот, — но орлиные очи его уже в ту пору не предвещали царству пернатых ничего доброго.

И действительно — не прошло и года, как начался культурный переворот, который прежде всего коснулся области философской мысли «Птичьего острова».

Уже издавна повелось в мире пернатых, что всякий, имеющий крылья, волен излагать основы своего мировоззрения в соответствии с объемом зоба и интеллектуальности.

Вороны беспрепятственно карр-кали.

Декадентствующие кукушки элегически ку-ковали.

А склонные к эклектизму петушки ку-карр-екали.

И в этом не было ничего удивительного. Даже выражение крайнего пессимизма считалось явлением вполне легальным. Так, еще в годы царствования двуглавых орлов одна из водоплавающих птиц перефразировала известное человеческое выражение, и с тех пор поговорка «Птица создана для счастья, как человек для полета» стала ходячей. В те годы даже мы, не говоря уже о водоплавающих птицах, не могли предвидеть «бурного развития реактивной техники», — и потому тогдашние птицы воспринимали поговорку как выражение убийственного скепсиса.

Тем не менее все было дозволено.

Но, как известно, чувства орлов, а тем более — горных — чрезвычайно изощрены: там, где обыкновенный пернатый слышит просто кудахтанье, горный орел может довольно явственно различить «автономию» и «суверенитет».

Потому и неудивительно, что «вскормленный дикостью владыка» первым делом основательно взялся за оппозиционно настроенных кур.

Операция продолжалась два дня, в продолжение которых все центральные газеты буквально были испещрены мудрой сентенцией: «Курица не птица, баба не человек». Оппозиция была сломлена.

Вместе с ней уходило в прошлое поколение великих дедов. Погиб проницательный Феникс. На соседнем острове, носящем чрезвычайно глупое название «Капри», скончался последний Буревестник. На смену им приходили полчища культурно возрождающихся воробьев.

А Горного Орла между тем мучили угрызения совести. И день, и ночь в его больном воображении звенело предсмертное куриное: «Ко-ко-ко». Временами ему казалось, что все бескрайнее птичье царство надрывается в этом самом рыдающем «Ко-ко-ко».

И Горный Орел издал конституцию.

Вся суть которой сводилась к следующему:

а) все дождевые черви и насекомые, обитающие в пределах «Птичьего острова», объявляются собственностью общественной и потому неприкосновенной;

б) официально господствующим и официально единственным классом провозглашаются воробьи;

в) дозволяется полная свобода мнений в пределах «чикчирик». Кудахтанье, кукареканье, соловьиное пение и пр. и пр. отвергаются как абсолютно бесклассовые. В вышеобозначенных пределах вполне укладывается миропонимание класса единственного и потому наиболее передового.

г) государственным строем объявляется республика, соединенная с революционной диктатурой; последняя, как явление временно необходимое, носит исключительно семейный характер.

Свежепахнущие номера конституции были распроданы в три дня. И один уже этот факт свидетельствовал о наступлении «золотого века».

Но враги не дремали.

Скрежетали зубами от агрессивной злости невоспитанные «заморские страусы». Страшным призраком надвигающейся катастрофы доносилось с запада ястребиное шипение. С высоты птичьего полета можно было отчетливо разглядеть за мерцающей далью странное передвижение птичьих стай, агрессивных по самому своему темпераменту.

И гроза не замедлила разразиться.

«Птичий остров» облачался в мундиры. На скорую руку реорганизовывалась индустрия.

– Ворроны накарркали!! – судорожно сжимал кулаки Горный Орел. Однако перед частями мобилизованных воробьев попытался преобразиться в «канарейку радужных надежд»:

– Снова злые корршуны заносят над миром освобожденных пернатых ястребиные черрные когти! Будьте же орлами, бесстрашные соколы! Ни пуха вам, ни пера!

Военный оркестр грянул «Лети, лети, мой легкокрылый». Воинственно нахохлились воробьи и стрижи. То и дело раздавались возгласы:

– Дадим им дрозда!

Прощающиеся жены попробовали затянуть популярную в то время песенку «Крови жаждет сизокрылый голубок». Но от волнения произносили только:

– Кррр!

Поговаривали даже, что «сраженный воробей» своей парадоксальностию несколько напоминает «жареный лед» и «птичье молоко». Оптимизм обуял всех. И от избытка его многие дышали учащенно.

С неколебимой верой в правоту своего дела и с годовым запасом провианта улетали на запад возбужденные стаи. В пахнущем кровью воздухе звучало супружески-прощальное, наивно-трогательное:

— Касатик ты мой! Весточку хоть пришли... голубиной почтой...

— Ласточка ты моя! Горлинка!

— Соколик мой ненаглядный!

— Проща-ай, хохла-а-аточка!

А оттуда, с запада, неслись уже странные, доселе не слышимые звуки. Что-то, как филин, ухало и, как сорока, трещало. А по крышам опустевших гнезд забегали вездесущие «красные петухи»...

Шел уже 47-ой месяц беспрерывной, тягостной войны, когда, наконец, на прилегающих к столице дорогах показались первые стайки уцелевших освободителей. «В пух и прах, в пух и прах!» — словно бы выбивали из земли воробьиные лапки. И царство пернатых, вторично освобожденное, захлестнула волна бесшабашно-лихой воробьиной песни:

Салавей, салавей,
Пта-а-ашечка,
Канаре-е-ечка-а!

Снова, как встарь, сомкнулись «орлиные крылья» вокруг «лебединых шей» — и жизненные силы дамских прелестей, вполне разбуженные еще залпом Авроры, теперь окончательно восстали ото сна.

Не прошло и трех лет, как пернатое население острова стало жертвой нового стихийного бедствия: Горный Орел «погрузился в размышления».

Страшны были не размышления; страшны были те интернациональные словечки, в которые он их облекал и о которых он не имел «совершенно определенного понятия». Так, он еще с детства путал приставки «ре» и «де» в приложении к «милитаризации».

Будучи уже в полном цвете лет, «коронованный любитель интернациональных эпитетов» предложил произвести

поголовную перепись населения «Птичьего острова». Когда ему был, наконец, представлен довольно объемистый «Список нашего народонаселения», — он, видимо, возмущенный отсутствием эпитета к слову «список», извлек из головы первый пришедший на ум; к несчастью, им оказался «проскрипционный».

Запахло жженым пером, задергались скворцы в наглухо забитых скворешниках. Специфически воробьиное «чик-чирик» уступило место интернациональному «пиф-паф».

И все-таки без особой радости восприняли воробьиные стаи весть о кончине Горного Орла. Глухо гудели церковные колокола. Окрасились трауром театральные афиши. По столичным экранам совершала последнее турне «Гибель Орла». Трупный запах и журавлиные рыдания повисли в осиротелой атмосфере.

«Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои...» — стонали пернатые; причем, грачи-терапевты с подозрительной нежностию выводили слово «сами» и рабски преданно взирали на стоявшего у гроба пингвина.

А пингвин, видимо слишком «окрыленный» мечтою, уже «парил в облаках».

Начинался век «подлинно золотой».

Мудрое правление пингвина вкупе со слоем ионосферы вполне обеспечивали безмятежное воробьиное существование. «Важная птица!» — с удовольствием отмечали воробушки и с еще бóльшим рвением клевали навоз экономического развития.

После длительного периода сплошного политического оледенения наступили оттепели, следствием чего явилась гололедица — полное отсутствие политических трений. А гололедица, как известно, лучшая почва для «поступательного движения вперед».

Молодые и неопытные воробушки зачастую поскальзывались и падали. Их подбирали пахнущие бензином и гуманностью черные вороны. И отвозили к Совам.

«Неопытность» молодых воробушков заставляла, однако же призадуматься и пингвина, и попугаев, и пристроившуюся к ним трясогузку. Не раз перед воробьиной толпою приходилось им превращаться в сладкоголосых сирен и уверять слушателей в том, что добродетель несовместима с бифштексом.

Доверчивые воробушки в таких случаях чирикали впол-

не восторженно, однако здесь же высказывали «вольные мысли» по адресу трясогузки и составных частей ея.

И вообще, следует отметить, в последнее время воробушки вели себя в высшей степени неприлично. К филантропии пингвина относились весьма скептически. И в самом выражении «бестолковый пингвин» усматривали тавтологию.

Единственное, что вызывало сочувствие у жителей «Птичьего острова», так это внешняя политика пингвина. Вероятно потому, что она была очень проста и заключалась в ежедневном выпускании голубей. Если даже иногда и приходилось вместо голубей пускать «утку» или даже «ястребки», воробушки не меняли своего отношения к внешней политике, ибо считали и то, и другое причудливой разновидностью голубей.

Все это я почерпнул, как уже отмечалось, из приветственной речи пингвина. «Растроганный до жалобных рыданий» я произнес, в свою очередь, несколько слов перед микрофоном. Я убеждал их всех, что подводное царство, коего я являюсь полномочным представителем, всегда питало к «Птичьему острову» любовь почти материнскую и даже почти сыновнюю; что к «Птичьему острову», без сомнения, обращены теперь взоры всего прогрессивного животного мира и т. д. и т. д. В заключение я выразил надежду, что в гостинице «Чайка», которая любезно мне предоставлена, я буду чувствовать себя, как «рыба в воде». Что же касается «временных недостатков», то по прибытии в свою подводную резиденцию я буду молчать, как рыба.

Вслед за этим открытая машина помчала меня к новой моей резиденции; причем, всю дорогу сопровождали меня поощрительные возгласы «Хорош гусь!», снисходительное щебетанье и восторженное кукареканье. В воздухе словно звенел алябьевский соловей, запах птичьего кала говорил о подъеме материального благосостояния. И тем не менее мне казалось, что все эти звуки и запахи сливаются в одно — в мелодию «лебединой песни».

11 октября

Пятница — синее, удивительно — синее, иногда сгущается до фиолетового, иногда отливает голубизной, но во всех случаях — непременно синее.

Суббота — под цвет яичного желтка, гладкая, желтая и блестящая; к вечеру розовеет.

Воскресенье — кроваво-красное, зимой — румяное. Если смотреть на него со стороны синей пятницы — кажется багровым, а в самом себе ассоциируется со знаменами и кирпичной стеной.

Понедельник — до такой степени красное, что представляется черным.

Вторник — светло-коричневое.

Среда — невнимательному глазу кажется белым, на самом же деле — мутно-белесоватое, за которым трудно разглядеть определенный цвет.

Четверг — зеленое, без всяких примесей.

12 октября

Честное слово, я не виноват...

Разве ж я знал, что вы уезжаете... И потом — неужели все, о чем я говорю, нужно принимать всерьез... Мало ли что я скажу, — так ведь надо уметь отличить...

Одним словом, я совсем не виноват... я никак не мог ожидать, что опоздаю... Вернее, я опоздал нарочно, но ведь я совсем не хотел опаздывать...

Да и зачем мне опаздывать, даже если бы я этого и хотел... Это же не оттого, что я сошел с ума... я совсем и не сошел с ума... у меня, наоборот, самая нежная к вам привязанность, ко всем трем...

Может, я потому и не явился на «последнюю семейную встречу», что очень нежно к вам привязан... Вы, наверное, думали, что я снова «Жаворонок» вам буду играть или хвастаться... пить водку крохотными глоточками... Вы даже специально купили мне... А потом у поезда ждали... И уже когда поезд тронулся, все ждали: ведь он сейчас прибежит... как же он может не прибежать...

А я, может, в это время проститься с вами хотел... Лежал и «хотел»... Посмеивался... Я теперь всегда смеюсь, чтобы от страха не стучали зубы... Чтоб было незаметно, что они стучат... Я, может, в это время и «Жаворонок» хотел вам играть...

Мне ведь совершенно все равно, куда идти и что играть...

А я на самом деле только к двери подходил... и говорил «Как вы смеете...» Младшего называть сумасшедшим, а потом еще «хотеть» чего-то... Вы хоть и не называли меня сумасшедшим, а я все-таки видел, что вы меня называли... Я даже к двери подходил и говорил «Как вы смеете»...

Это не оттого, что мне хотелось отомстить... Вы же ничего не говорили – как же я могу отомстить!.. Вы просто думали, что я хвастаться буду... «Жаворонок» умеет играть... как же он не прибежит... он обязательно прибежит...

Вы совсем этого не думали... Ведь нельзя же в последний раз... Самый последний раз... Нужно быть сумасшедшим...

Я даже не помню... я как будто бежал за вагонами... немножко бежал... У меня, если хотите знать, слезы были... Вот видите – даже слезы...

16 октября

Как ни расписывал Кирилл Кузнецов мой режиссерский и актерский талант, постановка «Нормы» при газовом ночном освещении кончилась блестящим провалом. Хор друидов, состоявший из членов 307-й комнаты, оказался не на высоте. И, не дождавшись кульминации спектакля, взялся за вольнодумство.

Особенно неистовствовал Якунин.

«Так что же, я, по-вашему, молчать должен? Нет уж, извините, господа, когда по радио да в газетах про рабочих всякие небылицы пишут, а здесь рабочего человека за скотину считают! Я бы этому Маркову сегодня в морду плюнул, если бы хоть немного выпил! Какое он имеет право издеваться над грязно-рабочим! Что же это я, выходит, работаю, как скотина, чтобы себя прокормить, а у меня половину отбирают на заем! «Отдадим свои излишки в долг государству!» А?»

Мишенька шел еще дальше:

«Мы не живем! Мы существуем! Мы, как бараны, трудимся для хлеба и для водки, а пошлют нас, как стадо баранов, воевать в Сирию или в Венгрию, так мы и пойдем, будем резать и кричать «ура», пока нас не зарежут!»

Михаил Миронов, всегда исполнительный, восставал теперь против армейского насилия над чувством человеческого достоинства.

Шопотом выражал неудовольствие Сергей Грязнов: как это можно – работать в бетонном цехе целый месяц – и в результате не только не получить ни копейки, но даже остаться должником государства! (Факт, действительно имевший место).

Кирилл Кузнецов с братиею восстанавливали в памяти

лица расстрелянных родственников и оглашали кухонные стены великолепным «Долой!»

Виктор Глотов скрипел зубами. Он уже устал от прожектов «всеобщего благородного хулиганства».

А Ладутенко договаривался до абсурда:

«Да вы знаете, что будет, если война начнется? Да русский Иван с голоду будет подыхать! В ту войну еще как-то держались на американской тушенке, а то бы и тогда половина передохла! Вот попомните мои слова — полная измена будет! Вы думаете, что у нас это высшее командование мирно настроено! Да у них руки-то чешутся, может, больше, чем у американцев! Пусть будет война!

А то вот для чего мы живем? Ничего у нас впереди нет и ждать нечего... Пить, разве, только!..»

«Болото... болото...»

«Гасспада! Свет не включать!»

Пришествие коменданта несколько облагонамеривает романтиков и реалистов.

— Как это так — разойдись?!

— Пришибеевщина!..

— О-о-о! Комендант! Нам как раз нужен «хор друидок»!

Это — несгибаемые декаденты. Они весело изливают мрачное недовольство. Если бы ставилась пьеса Волковича, они с таким же успехом предложили бы коменданту занять вакантную должность ангела-хранителя.

— Ерофеев, уйдите из кухни! И все остальные — расходитесь по этажам!

— Поми-и-илуйте! Вы же затыкаете рты!

— Свобода мне-ений! Свобода сборищ!

— На фона-а-арь...

Пролетариат негодует. Как будто кто-то виноват, что они голодны и «выражают мнения». Меньше пить! — здравая логика. И держать язык за зубами.

— Вы знаете, что за это бывает, за ваши длинные языки?

Конечно же, они знают — и, тем не менее, завтра они снова будут здесь. Ох, уж эти пролетарии! Раньше хоть смотрели волками, но ведь не нарушали порядка в Новопресненском общежитии. А теперь добрая четверть схватилась вдруг за «достижения человеческого разума», вооружилась бумагой и фиолетовыми чернилами... Этак скоро они потребуют и людского существования...

21 октября

Несколько истин, которые были мною постигнуты на девятнадцатом году моего существования:

«Всякое тело сохраняет состояние покоя, пока и поскольку оно не понуждается внешними силами изменить это состояние» (в дни прошлогодней октябрьской «горизонтальности»).

«Из двух хорд, неодинаково удаленных от центра, та, которая ближе к центру, больше и стягивает бóльшую дугу» (в минуты мысленного сопоставления В. М. и Л. К.).

«Две параллельные прямые не пересекутся, сколько бы мы их ни продолжали» (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб А. Г. М.)

«Все тела в данном месте «падают» с одинаковым ускорением. Это ускорение называется ускорением свободного «падения» (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб Л. А. В.).

«На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной этим телом» (в час изгнания из университетского общежития).

«Выпуклая фигура, концы которой сходятся к одной точке, является «замкнутой» (по поводу А. Г. М. и А. Б. М.).

«Если в треугольнике два угла — острые, но оба они в сумме — меньше прямого, то наибольший угол данного треугольника — тупой» (по поводу савельевского острословия).

«Чтобы опрокинуть вертикально стоящее тело, достаточно довести его до положения неустойчивого равновесия» (по поводу мартыновской целомудренности).

«Звуки, «образование» которых не требует участия голоса, называются «согласными» (о пролетарской лойяльности).

«Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов» (единственное, что можно сказать по поводу будущего моего существования).

23 октября

Накануне дня своего рождения приветствую проблески жизни в святом для меня чреве. Преклоняюсь перед «очаровательной стыдливостью» будущей матери Антонины Мартыновой.

24 октября

Я – все.

Я – маленький мальчик, замурованный в пирамиде. Ползающий по полу в поисках маленькой щели.

Я – оренбургский генерал-губернатор, стреляющий из мортиры по звездам.

Я – мочка левого уха Людовика Восемнадцатого.

Я – сумма двух смертоносных орудий в социалистическом гербе. Меня обрамляют колосья.

Слово «зачем» – это тоже я.

Я – это переход через Рубикон, это лучшие витрины в Краснопресненском универмаге, это воинственность, соединенная с легкой простудой.

Я – это белые пятна на географических картах.

Надо мной смеялись афинские аристократы. Меня настраивали на программу Московского радио. Меня подавали с соусом к столу мадам Дезульер.

В меня десять минут целился Феликс Дзержинский, – и все-таки промахнулся.

Мною удобряли земельные участки в районе города Исфагань и называли это комплексной механизацией, радостью освобожденного труда и еще чем-то, чего я не мог уже расслышать.

Знаменитый водевилист Боборыкин обмакивал в меня перо, а современные пролетарии натирают меня наждачной бумагой.

Я – крохотный нейтрон в атоме сталинской пепельницы.

Я изымаю вселенную из-под ногтей своих.

25 октября

«Ничего такого особенного не было. Какой там духовой оркестр! Если бы не Маруськи Перевозчиковой муж, мы бы, наверно, и лошади не достали. А он и гроб сделал сам, с ее сестрицы денег на могилу потребовал.

Я даже мать приглашал хоронить – так она потом весь день на меня кричала. И тебя потом обзывала, ревела всю ночь. А ее – и «паскудой» и по-всякому...

Я бы, говорит, ей в морду плюнула в мертвую... Как будто это она и виновата, что ты запьянствовал и бросил учиться...

И вообще, мало народу было. Кроме меня, наверно, человек десять. И лошадь – какая-то кляча, все время споты-

калась; полтретьего только доплелись, а там фонарей почти нет, темнота... да еще буран к вечеру поднялся...

Могилу заново пришлось разгребать...

А она — ничего, все такая же, только уж слишком белая какая-то. И снег — просто падает на лицо и не тает. Такая смирная, даже на себя не похожа. Я смотрел, смотрел, так даже влюбился. Ну, чего ты смеешься, честное слово, влюбился... И все время тебя вспоминали».

Борис Ер.

27 октября

Странные люди, эти Мартыновы! Даже там, где нужно всего-навсего вмешательство милиции, они взывают к небу! Я говорил им, а они не понимали, что это нелепо.

Потому-то я решил удалиться.

Но удалился не сразу. Ровно полмесяца еще устрашал их с порога «ужасами правосудия». А они смеялись и про себя называли меня трусом.

Как им угодно! Я же говорил, что это чрезвычайно странные люди...

Они никак не могли представить себя в положении подсудимых и калек... А ребенок?.. Что же будет с ребенком?.. Ведь не обязан же он отвечать за буйство своего родителя!

Александра Мартынова действительно так выражалась. «Поклонники» утешали ее: вашему супругу за колючей проволокой гораздо приятнее... к тому же сбылись ваши давешние мечтания... начало нравственной свободы... а стало быть, пружинный матрас и жизненные утехи... фу, как очаровательно, Сашенька...

Сашенька казалась неутешной. Она одна виновата... Она и не предполагала... Супруг вернется через три года и зарежет ее... Это уже ясно, как день... А в этих благодетелях совершенно нет сострадания... Тянутся к матрасу... точно клопы... Ух, как она их ненавидит!

Она даже ножкой притопнет — вот как она их ненавидит!

Все это слишком уж было чувствительно. И я решил «удалиться».

Несколько странно смотрел на косы и «вдовьи» плечи: ничего не поделаешь... раз виноваты, так уж, конечно, виноваты... да нет, не холодно, а то там у вас — «поклонники», духота... во-о-от, видите, как хорошо, — даже заулыбались

оба... а он-таки вас прирежет... и вообще эта самая жизнь — вещь недурная... ну, что вы, непременно ее, мы даже имя вместе изобрели... это даже в некоторой степени знаменательно... будущее вашей фамилии...

Да ну вас, не люблю это я что-то трогательное... Помните, как-то в июнь — под дождем смеялись и очаровательный сосок... В общей сложности — пятьдесят лет... а подставляли грудь, словно... И вообще — слишком уж веселая вещь, этот «июнь»... А что касается супруга — так этого вам никто не простит... И поделом... Читайте «Евангелие»... дочь, непременно дочь!.. Прощайте...

31 октября

Незаметно смиряюсь.

Раньше меня обнадеживала довольно странная вещь: мне почему-то казалось, что в пятьдесят седьмом году не может быть никакой осени... Вчерашний день убедил-таки меня, что так оно и есть...

Я как будто задремал...

Проводил аплодисментами все происшедшее, а вызывать на бис не собираюсь...

1 ноября

«Сегодня случилось одно незабываемое событие. Тот самый Ерофеев, который всегда приходил в нашу комнату, пришел немножко пьяный и взялся рассуждать. Все, которые у меня сидели, человек десять, стали смеяться над его идейками и спорить. Я, конечно, не принимал никакого участия, а только слушал... А потом, когда все разошлись, я долго не мог заснуть. Переворачивался с боку на бок и все думал и думал: «Ну, для чего я живу, для чего это я переворачиваюсь?» Повторял до двух часов ночи все, что я услышал, и про себя смеялся... В конце концов, не смог улежать и вот теперь на кухне пишу дневник. Теперь я уже знаю свою цель: я не буду, как другие, слепо подражать Ерофееву, но буду читать, читать и читать. Это для меня теперь самое главное. И все, что я смогу сделать в этом деле, о котором говорил Ерофеев, я все сделаю. Но для этого — читать».

(«Дневник» В. Я., 15-е окт.)

«...я немного сошелся с Ерофеевым; я и раньше много о нем слышал от Кузнецова, но он превзошел все мои ожида-

ния. Все его разглагольствования я хоть разбить и не могу, но я чувствую, что все это не по мне. А когда он играл вторую сонату, то слушал с удовольствием. А ведь раньше я ничего не понимал...»

(«Дневник» Мих. Мир., 3-е окт.)

«Если он серьезно говорит, что у меня есть талант, то этим я обязан только ему. Если бы игра судьбы не занесла этого непонятного человека в нашу среду, вряд ли я бы стал писать...»

«...и мне не понравилось только то, что, когда начался серьезный спор между «вольнодумцами» и «благонамеренными», Венедикт, от которого мы все ожидали решительного слова, все свел к какой-то шутке...»

«...боюсь, что, когда Венедикт уедет, будет все то же самое; и я буду тем же самым...»

(«Дневник» В. Гл., 8, 8, 24 сент.)

«...Зина назвала Венедикта Дон Кихотом, Обломовым и Иудой. Я за это обозвал ее дурой и больше в тот вечер с ней не разговаривал...»

«...О! Теперь я знаю, что мне делать, где я нужен! Вот где истинное мое призвание! Тысяча благодарностей будущему собаке-МГБ-шнику! А разве я жил до этого?..»

(«Дневник» К. К., 11-е, 20-е окт.)

3 ноября

Как раз это очень важно!

В другой раз я, может быть, не обратил бы на это никакого внимания. Мало ли что может присниться во сне!

Да и действительно — мало ли...

Снилось мне, например, на прошлой неделе, что я с солнышком разговаривал. Его хоть и не было нигде, а я все равно разговаривал. Честное слово.

А в другой раз приснилось мне, будто бы сразу вдруг никого не стало. Совершенно никого не стало. И каждый ко мне подходил и спрашивал: «Почему это меня нет?» А я как будто бы глухонемым притворяюсь и каждого переспрашиваю: «А?» И так это смешно мне было. Я даже во сне смеялся.

Мало ли что мне снилось... Так это ведь все на прошлой неделе было. А в этот раз совсем не то... вовсе не то...

Было что-то важное... А что важное — я и теперь понять не могу... Вернее, вспомнить никак не могу. Со мной это часто бывает: во сне гениальные догадки делаю, а как проснусь — забываю... помню только, что было что-то гениальное, а что — никак не могу вспомнить...

Так вот и теперь — пустое ощущение важности... и ничего сколько-нибудь определенного. И от этого самого — бесчувственно хорошо: может, это и действительно настолько важно... может, я и в самом деле лишаю мир еще одной необходимой истины... тем самым лишаю, что насильственно держу в голове эту самую... неопределенность.

Да ведь я и сам хочу узнать, что это...

А вот возьму — и не буду знать!.. И хотеть не буду! А ведь я могу... могу... одно маленькое, крохотное напряжение мысли... памяти... — и все!.. Но ведь это незачем... это ведь страшно необходимо, и мне самому это необходимо... а зачем это мне?.. это же вовсе не нужно...

Я вот даже плакать буду над тем, что это не нужно... над собой буду плакать... над тем, что я ничего не могу, хотя стоит мне только захотеть... но ведь я и не хочу, чтобы мне хотелось... Я вот и над этим плакать буду!..

Может, это как раз и есть то «важное»... Может, это неприятное удовольствие, которое меня охватило, и есть то самое, что мне хотелось узнать... и что снилось мне...

Но зачем мне это знать?.. зачем?..

7 ноября

Гражданка, отойдите вправо! Я не вижу, кто кого бьет! Она его или он ее? Ах, он ее! За что же это он ее? Это, наверно, от скуки! Ну, конечно, это от скуки!

То есть, как это: никто никого не бьет? Разве ж вы не видите? Ах, лобзаются! Ну да, ведь они лобзаются! За что это он ее? Ведь и в самом деле — он ее! Это, наверно, так просто, скучно им! Да и действительно скучно!

Ну, почему вы так думаете? Разве же можно — наедине? Наедине никак нельзя! Его не видно, но ведь он здесь! А она — вон, видите, и слева, и справа, — везде она! И вон там, в отдалении — тоже она! А он здесь совершенно не нужен! Он только на минутку показался и сразу...

Ну гражданочка, отойдите же, ради бога! Я ничего не вижу!..

11 ноября

Вот, как будто бы, и все...

13 ноября

Я хорошо понимаю, что приближающаяся станет очередной жертвой кирилловского опьянения... И хоть я уже ясно различаю выступающую из троллейбусного мрака, я отворачиваюсь и с нетерпением ожидаю...

— Гррыжданка! Рразришите прредставиться... Извините, что я не в своем обнаковенном виде...

Почти не оборачиваясь, я беру Кирилла за локоть и говорю недовольно:

— Кирилл, ну неужели тебе не надоело?

Спутник мой не обращает внимания, и, пока «жертва», огибая его, направляется к стромынской изгороди, неистовствует...

— Эта хладнокрровная гражданка... любит ходить зигзагами!.. Она, вероятно, полагает...

— Кирюш, брось... Это Музыкантова!..

— А мне срррать на то, что она Музыкантова! Эй! Ты! Ну, чего не оборачиваешься, ппизда!.. Она, Веничка, позорит свою фамилию! Граждане, которые идут на Стромынку! Прощайте! Прощайте! Уезжаем, так сказать, из пределов столицы! Прощайте! Не увидимся никогда — и слава богу! Еббать вас в ррот! Сейчас для вас будет исполнена 2-ая соната Ббитховена! Ария Каваррадости! Великий музыкант Вень...

Веничка, что с тобой?..

14 ноября

1. «Начальнику 2-го строительного управления Ремстройтреста от прораба Савельева А. И. заявление. Прошу обратить Ваше внимание на то, что рабочий Ерофеев В. В. на протяжении последних 3-х месяцев совершенно не является на работу без уважительных причин на это. Прошу принять соответственные меры. Савельев. 10/XI — 57 г.»

2. «Начальнику 88-ого отделения милиции от коменданта общежития Ремстройтреста Советского р-на г. Москвы заявление. Довожу до Вашего сведения, что проживающий по Новопресненскому пер. 7/9, к. 203, Ерофеев Венедикт Васильевич, прописан в д. месте жительства с условием работы в Ремстройтресте. Однако, на протяжении последних 4-х ме-

сяцев т. Ерофеев, нигде не работая, получает деньги подозрительными путями и к тому же нарушает все правила общежития. Подробности при рассмотрении. Комендант общежития Ст. Г. 11/XI – 57 г.»

К сему при «рассмотрении» прилагается перечень «вольных мыслей».

3. «Начальнику 88-ого отделения милиции от начальника 2-ой части Советского Райвоенкомата».

4. «Начальнику 2-ого строительного управления Ремстройтреста от начальника 24-ого отделения милиции г. Москвы».

5. «Начальнику 88-ого отделения милиции. Дело т. Ерофеева от 29/IX – 57 г. 66 отд. мил.»

6. «Начальнику 2-ого строительного управления Ремстройтреста Зеленову А. И. Объяснение. От рабочего Ерофеева В. В. Спешу Вас уведомить, что дело от 29/IX – 57 г. 24-ого отделения милиции вкупе с донесением коменданта, а такожде 66-ого отделения милиции вопроса о месте моего пребывания на территории общежития абсолютно не затрагивает. Передача вышеупомянутых дел на рассмотрение Народного Суда Советского р-на обязывает Вас несколько воздержаться от утверждения приказа за № 730. Имею честь пребыть: Венедикт Ерофеев. 11/XI – 57 г».

7. «Коменданту общежития Ремстройтреста от начальника отдела кадров 2-ого СУ Абдуррахманова В. В. 11/XI – 57 г».

8. «Приказ по Ремонтно-строительному тресту Советского р-на г. Москвы № 731».

В соответствии с... уволить т. Ерофеева с работы в СУ-2-РСТ с запрещением дальнейшего пребывания на территории г. Москвы. Ст. 47 Г. Зеленов. Суворов. 11/XI – 57 г».

9. «Ерофееву В. В. Предлагаю Вам в трехдневный срок освободить помещение. Комендант. 14/XI – 57 г».

10. «Т. Ерофееву В. В. 88-ое отд. милиции запрещает Вам выезд из места жительства до рассмотрения Ваших дел от 28/VIII, 29/IX, 11/X, 8/III – 57 г. и 31/X – 56 г. Советским районным судом г. Москвы, состоящегося 19/XI – 57 г. Ковтун. 14/XI – 57 г».

15 ноября

Знаменательно: вчера выпал первый снег, а сегодня растаял.

Чуть-чуть знаменательно.

16 ноября

Все-таки интересно, почему над моим домом никто еще не повесил гирлянду из желтых роз?

Они думают, что у меня нет дома — но ведь это не оправдание.

У меня действительно нет его, у меня вообще ничего нет, но дом-то все-таки есть; я даже развесил на окнах его фиолетовые занавески...

Если все остальные цвета, даже красный, кажутся мне до смешного глупыми, почему бы мне не предпочесть фиолетового?..

Видите — я даже могу предпочитать! Разве ж можно после этого сомневаться в том, что моя обитель требует украшения!

Совсем не обязательно — желтые розы... Можно просто... мимо пройти — и заглянуть в мои окна... И вы ничего не увидите — тот, кто заглядывает в чужие окна, видит на фоне темной занавески отражение своей собственной физиономии... А разве это не украшение моей «обители»?

Это даже единственное украшение. Все остальное я давно уже продал — иначе мне пришлось бы умереть с голоду... Оставил только это, последнее... Фиолетовые занавески...

Ведь если их сбросить, каждый увидит: пусто... Нет ничего... А ведь было, наверное... Что-то было...

МОСКВА — ПЕТУШКИ

поэма

Уведомление автора

Первое издание «Москва — Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот — Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

В. Ер.

Вадиму Тихонову,
моему любимому первенцу,
посвящает автор
эти трагические листы

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, — а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом — на Каляевской — другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше — что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню — это я отчетливо помню — на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера — выйду сегодня). И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик — и так и уснул). Нет, не поэтому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей — а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают — все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, — все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — ничего. Вон — аптека, видишь? А вон — этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше,

в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо — обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты — вот и получай свою суету...

— Да брось ты, — отмахнулся я от себя, — разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне — что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило...

— *Конечно, Веничка, конечно,* – кто-то пропел в высоте так тихо, так ласково-ласково, — *зажмурься, чтобы не так тошнило.*

О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

— *Ну, конечно, мы,* – и опять так ласково!..

— А знаете что, ангелы? — спросил я, тоже тихо-тихо.

— *Что?* – ответили ангелы.

— Тяжело мне...

— *Да мы знаем, что тяжело,* – пропели ангелы — *А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут...*

— Красненького?

— *Красненького,* – нараспев повторили ангелы Господни.

— Холодненького?

— *Холодненького, конечно...*

О, как я стал взволнован!..

— Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии — ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

— *А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..*

— Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

— *На здоровье, Веня...*

А потом так ласково-ласково:

— *Не стоит...*

Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, — не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил... А когда ты их вчера купил? вспомни... иди и вспоминай...

Я пошел через площадь — вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался — и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал.

— Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?

Москва. Ресторан Курского вокзала

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой — это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты — после. А может быть, и наоборот: выпив кориандровой, я...

— Спиртного ничего нет, — сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь — только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков... О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных»... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован... Не отверга-а-ай»...

— Будете чего-нибудь заказывать?

— А у вас чего — только музыка?

— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя...

Опять подступила тошнота.

— А херес?

— А хересу нет.

— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

— Оччень интересно. Да. Хересу — нет. А вымя — есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, — будет

страшно больно... Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела — тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль: ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль...

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты уже похмелился — не такая уж тяжелая эта мысль Но если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра — вот это уже тяжело... Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою...

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и...

— Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

— Хересу, пожалуйста. 800 грамм.

— Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

— Ну... я подожду... когда будет...

— Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» — да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

— Кому здесь херес?!..

Надо мной — две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них — о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности — я это

понял по н и м, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я весь как-то сник и растерял душу.

— Да ведь я... почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду... я так...

— Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..

— Да пппочти ничего... Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) — гостинцев купил...

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

— Я ведь... из Сибири, я сирота... А просто чтобы не так тошнило... хереса хочу.

Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал — о, боль такого позора! — через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже — вытолкнули.

Опять — на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом — от ресторана до магазина и от магазина до поезда — человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, — они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни — помни о них. В минуты блаженства и упоений — не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок — нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех

четырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, — изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда.

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

— Да, — говорю я вам, — из магазина. — А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

— Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

— Ну, это как сказать! — говорю я, склонив голову вправо. — Чемоданчик — точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...

— Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно

— Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да — розовое крепкое за рупь тридцать семь.

— Так-так-так, — говорите вы, — а общий итог? Ведь все это страшно интересно...

Сейчас я вам скажу общий итог.

— Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, — говорю я, вступив на перрон. — Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

— Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?

— Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без

закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так — вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

— Зачем? Опять стошнит?

— Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать — сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головой. Я даже вижу — отсюда, с мокрого перрона, — как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головой и беретесь иронизировать:

— Как это сложно, Веничка! как это тонко!

— Еще бы!

— Какая четкость мышления! И это — все? И это — все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше — ничего?

— Ну как, то есть, — ничего? — говорю я, входя в вагон. — Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

— О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив!

А вы все пристаете:

— Ты чего, обиделся?

— Да нет, — отвечаю.

— Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки.

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, — тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите всё знать, — я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день, — какие бездны во мне по вечерам!

Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, — так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно — и утром, и вечером — тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский — тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны...

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился. Еще раз ощупал — и поблек... Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве э т о мне нужно? Разве по э т о м у тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали т о г о, разве нуждался бы я в э т о м? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

— Вот-вот! — отвечал я в восторге. — Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», — тихо подумал

я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи!

Серп и Молот — Карачарово

И немедленно выпил.

Карачарово — Чухлинка

А выпив, — сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность — так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, — выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары... Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами...

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости... Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается: ...глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза...

Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире чистогана...

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел — пусть. Может, я там что репетировал? Да... В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста — никого не стыдятся, наливают и пьют. Закусывают и тут же опять наливают. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит «Заку-уска у нас сегодня — блеск! Закуска типа «я вас умоляю!». А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а... Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти — пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром... «Закуска типа «я вас умоляю»!»... Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что

это интимнее всякой интимности!.. До работы пью — прячусь. Во время работы пью — прячусь... а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество... Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного — и сколько раз это губило меня...

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то о т с т р а н я ю т меня от себя, как-то ш е п ч у т с я, на меня глядя, как-то с м о т р я т за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно... И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх... «В чем дело? — терзался я, — отчего это так?»

И вот, наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают — двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну... Не иначе, как что-то случилось...

— Послушай-ка, — сказали они, — т ы э т о б р о с ь.

— Что «брось»? — я изумился и чуть привстал.

— Брось считать, что ты выше других... что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред...

— Да с чего вы взяли!..

— А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка — Кусково

— Пил.

— Много пил?

— Много.

— Ну так вставай и иди.

— Да куда «иди»??

— Будто не знаешь! Получается так — мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...

— Позвольте, — говорю, — я этого не утверждал...

— Нет, утверждал. Как ты поселился к нам — ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а о т с у т с т в и е м этого дела. Ты н е г а т и в н о это утверждаешь...

— Да какого «дела»? Каким «о т с у т с т в и е м»? — я уж от изумления совсем глаза распахнул...

— Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь — вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.

— Нет, вы меня не так поняли, ребята просто я...

— Нет, мы тебя правильно поняли...

— Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я ..ать пошел!» или «Ну, ребята, я ..ать пошел!» Не могу же я так...

— Да почему же ты не можешь! Мы — можем, а ты — не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лилея!..

— Да нет же... Как бы это вам объяснить...

— Нам нечего объяснять... нам все ясно.

— Да вы послушайте... поймите же... в этом мире есть вещи...

— Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет...

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу... Я начал сдаваться...

— Ну, конечно, я тоже могу... я тоже мог бы...

— Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, — не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами...

— Да нет, нет, — тут уж я совсем стал путаться. — В этом мире есть вещи... есть такие сферы... нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли?.. есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тур-

генева... и потом — клятва на Воробьевых горах... И после этого встать и сказать: «Ну, ребята...» Как-то оскорбительно... Ведь если у кого щепетильное сердце...

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

— Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

— Пил.

— Сколько кружек?

— Две больших и одну маленькую.

— Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы и х облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего Он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не понял. А это целомудрие — самое смешное! — это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности...

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

— А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул...

— Как!! Ни разу!! — удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. — Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

— Ну, как то есть ни разу! Иногда... все-таки...

— Как!! — еще больше удивляются дамы. — Ерофеев — и... странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

— Ну... а что в этом т а к о г о, я же... это ведь — п у к н у т ь — это ведь так ноуменально... Ничего в этом феноменального нет — в том, чтоб пукнуть...

— Вы только подумайте! — обалдевают дамы.

А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «Он все

это делает вслух, и говорит, что это не плохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар — кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет — «превратно» бы еще ничего! — но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все — я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю мне следовало бы еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

Кусково — Новогиреево

а уж потом пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад — назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом — известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один — вермут пил, другой, кто попроще — одеколон «Свежесть», а кто с претензией — пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасыва-

ли, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом — что же? — потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом — ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом — каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой — пили вермут, на третий день — опять в сику, на четвертый — опять вермут. А тот, кто с интеллектом, — тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, — да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге — в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодо-

вольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, — сказал, — вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, — и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! — Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков — известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..

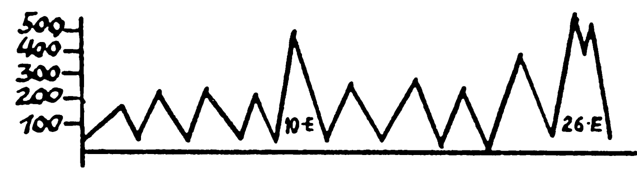
И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли...

Новогиреево — Реутово

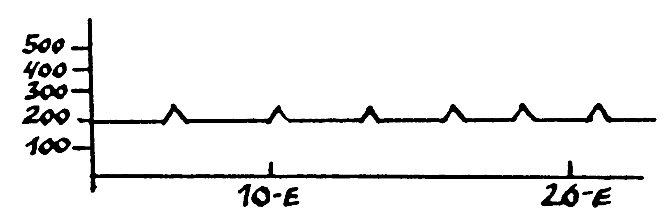
Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси — одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На го-

ризонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной — количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером — величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

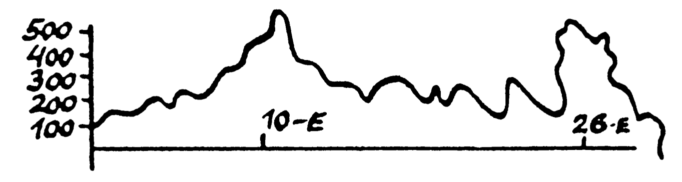
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой — столько-то, et cetera. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, потрепанный старый хрен:



А вот уж это — ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва — Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда — интересные? У одного — Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого —

предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это — если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, — и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже — получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось — ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц — от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь — они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь — они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом,

выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Как бы то ни было — меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня — снизу — сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху — лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

– *Фффу!*

— Кто сказал *«фффу!»* Это вы, ангелы, сказали *«Фффу»?*

— *Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!*

— Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить... У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и теперь...

— *Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце...*

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! — отчеканивал рассудок. — Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну...

ну хоть сто пятьдесят...» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, — сказал, — хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома...»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает э т а д е в у ш к а с глазами белого цвета, — белого, переходящего в белесый, — эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной — о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил — там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, — вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? — а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, — там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву «ю» и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква «ю»? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока — вы уж простите меня — пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот — я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

Никольское — Салтыковская

«Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков», — подумал я, делая тринадцатый глоток.

«Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, — омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, — но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»

«Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус — это уже так много, что мозги делаются прямо излишними.

А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?»

«А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен — он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен... Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, — мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что м е н я занимает, — об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может еще отчего, но все-таки — н и с л о в а.

Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!» А мне удивлялись и говорили: «Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».

Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво — сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! — хоть это-то поймите.

Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть сме-

ло, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое — ну, фиал из севрского фарфора, — или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, — что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она «выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра»!

Ну, так как же? Скушна эта княгиня? — Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? — В высшей степени легкомысленна!

Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание — весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем».

Смотрите, как это делается!..

Салтыковская — Кучино

Остаток кубанской еще вздымался совсем неподалеку от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

— *Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много...*

Я от удушья едва сумел им ответить:

— Во всей земле... во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков — нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим... И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

— *Мы боимся, что ты опять...*

— Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы... Я с каждой минутою все счастливей... и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо... как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того... какие вы глупые-глупые!..

— *Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь...*

— До чего не доеду?!. До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду? — до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы...

— *Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов...*

— Ну что вы, что вы! Пока я жив... что вы! В прошлую пятницу — верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать... Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля... Но сегодня — доеду, если только не подохну, убитый роком... Вернее — нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

— *Бедный мальчик...* — вздохнули ангелы.

— «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

— О *нет, до самых Петушков мы не можем... Мы отлетим, как только ты улыбнешься... Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз — мы отлетим и уже будем покойны за тебя...*

— И там, на перроне, встретите меня, да?

— *Да, там мы тебя встретим...*

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге... Но ведь он тут же пошел на поправку — как только меня увидел!.. Да, да... Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..

Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку — он очень любит, когда его мать затопляет печку, — оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется... А если и заболеет, — пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку...

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он

спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар...

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке... Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

— Ты... знаешь что, мальчик? ты не умирай ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная... Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

— *Понимаю, отец...*

И как он это сказал! И все, что они говорят — вечно живущие ангелы и умирающие дети, — все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, — махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. *«Понимаю, отец!»...*

— Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» — помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик...» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак... «С фе-вра-ля до августа я хныкала и вякала, на исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла»... Ты любишь отца, мальчик?

— *Очень люблю...*

— Ну вот и не умирай... Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь... Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу... «На исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла...» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-надень-ка-как-ти-бе-не-стыдно-спать?»... У меня особые причины любить эту гнусность...

Я допил свой четвертый стакан и разволновался:

— Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок... Ты понимаешь?.. ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, — смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет

зеленая, пока не рухнет. Вот и я — пока не рухну, вечно буду зеленым...

— *Зеленым,* — отозвался младенец.

— Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть... Вот и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..

— *Противно,* — повторил за мной младенец и блаженно заулыбался...

Вот и я теперь: вспоминаю его *«Противно»* и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы — и отлетают от меня, как обещали.

Кучино — Железнодорожная

Но сначала все-таки к н е й. Сначала — к н е й! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться влежку, и пастись, пастись между лилиями — ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся.

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница — не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза — не женщина, а волхвование! Вы спросите: «Да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?»

— Может! — говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. — В Москве — нет, в Москве не может быть, а в Петушках — может! Ну так что же, что «сука»? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно — слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин.

А еще был день рождения непонятно у кого. И еще — была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать, не то двадцать пять. И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. «А еще? — спросите вы. — А еще что было?»

— А еще — было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем чаще разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.

Но вот ответное прозрение — я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!

— Так это вы: Ерофеев? — и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула...

— Ну, конечно! Еще бы не я!

(О, гармоническая! как она догадалась?)

— Я одну вашу вещицу — читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

— Так ли уж выше! — я, польщенный, разбавил и выпил. — Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

Вот — с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но — как бы то ни было — я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих — никого. И она — рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это — женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду!»

А она взяла — и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого, — все выдохнула. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами, — и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрогания...

Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она. . . . . ?» Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она. . . . . ! Еще бы она не. . . . . ! Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правою рукою»! — а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище — и не могу, все промахиваюсь мимо туловища...

«Что ж! играй крутыми боками! — подумал я, разбавив и выпив. — Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, м о ж е т б ы т ь, есть — все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!»

Так думал я. А она — смеялась. А она — подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...

Железнодорожная — Черное

выпила — и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит, — подумал я, — если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее — содрогнется земля и камни возопиют».

А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня. . . . . ?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо. . . . . !»

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с зах-

мелевшей... До этого — сказать ли вам? — до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся — сердце останавливалось в испуге. Помыслы — были, но не было намерений. Когда же являлись намерения — помыслы исчезали и хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне — как бы это назвать? «негу», что ли? — ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня — ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? — ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И... из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И... из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге... Но я отвлекся.

Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?

Она сама — сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя — тоже что-то было. И потом — эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля — живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство...

Вы мне скажете: «Так ты что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?»

А какое мне дело! А вам — тем более! Пусть даже и не

верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки «пусть». Зато вся она соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебалу — ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать — дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, это все в целях самообороны и чего-то там такого женского — я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду там совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

— Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь — лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

А она — молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал:

— Но почему?.. почему?

Она мне — второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

— Но почему? — заклинаю — ответь — почему???

Вот тогда-то и она разрыдалась, и обвисла на шее:

— Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам — знаешь, почему, угорелый!

И после того — почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня — сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!..

Черное — Купавна

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил...

— И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят?

Ты, у которого с т о л ь к о в душе и с т о л ь к о за душой! Ты, у которого т а к а я есть в Петушках! И т а к о й за Петушками!.. Одинок?

— Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, — тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, — и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной — что, не желая плакать, заплакал...

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, — день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне — что принесли? — две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать — и уже не мог...

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал...

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире п р е к р а с н о г о. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? — будет он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, — совсем наоборот. А если смотреть со стороны — конечно...

Нет, вот уж т е п е р ь — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить... «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного, и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример: отчего это, если ты с вечера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться — служба и все такое — и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? ну, допустим, сто пятьдесят) — отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен этого, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не «чего-нибудь», а именно того самого, что ты пил вчера, и с паузами в сорок — сорок пять минут пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.

Вот видите — сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом — потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом.

А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было «дерзание». И — Бог свидетель — как я дерзал! Если вы так дерзнете — вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли да и не проснулись. А я — просыпался, каждое утро почти просыпался — и снова начинал дерзать.

Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

Купавна — 33-й километр

и включительно по девятую — размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: «Надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу — тогда, может быть начнется рецидив возмужания». Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов — я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто! Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу, одним махом — но выпить идеально, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом — не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) — то есть мужать до того предела, за которым следуют безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! — святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было н е н а п л е в а т ь. А вот им — на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами; попью-попью — перестану, попью-попью — опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить каждый день по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, — но ведь о н и - т о ! о н и!..

Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше; а на другой день — исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы, как костер, — сидите, а они через вас прыгают. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узко специальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте...

— Помилуйте! — кричат мне со всех сторон. — Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы...

— Вот именно: нет! — кричу я во все стороны. — Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это — не наше, все это нам навязали Петр Великий и Николай Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! В той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете: «Призвание это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».

И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам — психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!..

А мы, повторяю, займемся икотой.

33-й километр — Электроугли

Для того, чтоб начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или an sich (термин Иммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, — или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть für sich. Термин Иммануила Канта. Лучше всего, конечно, и an sich и für sich, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое: старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом — сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого часа о н а начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность е е начала: потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза et cetera. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бума-

ге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть — в секундах, конечно:

— восемь — тринадцать — семь — три — восемнадцать.

Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения:

— семнадцать — три — четыре — семнадцать — один — двадцать три — четыре — семь — семь — семь — восемнадцать —

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального — смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:

— тринадцать — пятнадцать — четыре — двенадцать — четыре — пять — двадцать восемь —

Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека — нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон — он выше всех нас. Икота — выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

— двадцать две — четырнадцать — все. И тишина.

И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она неисследима, а мы — беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого — тоже нет.

Мы — дрожащие твари, а она — всесильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно, Он есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Электроугли — 43-й километр

Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне — к свету и Петушкам. Durch Leiden — Licht!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

— Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва — не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская — это такое дерьмо! А российская — смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков — невредимый, — я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду — напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до Петушков, пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора: пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки», и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура — это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат — 100 г.
Бархатное пиво — 200 г.
Политура очищенная — 100 г.

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечье называют «чернобуркой») — жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы».

В нем, в этом «Духе Женевы», нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» — это вам не «Бе-

лая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» — напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни...

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» — и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»! Слушайте точный рецепт:

Белая сирень — 50 г.
Средство от потливости ног — 50 г.
Пиво жигулевское — 200 г.
Лак спиртовой — 150 г.

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и «Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот — теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, — лишался.

Лаванда — 15 г.
Вербена — 15 г.

Одеколон «Лесная вода» — 30 г.
Лак для ногтей — 2 г.
Зубной эликсир — 150 г.
Лимонад — 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек — но вы меня не заставите помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой...

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов, превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское — 100 г.
Шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г.
Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г.
Клей БФ — 15 г.
Тормозная жидкость — 30 г.
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых — 30 г.

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов — и подается к столу...

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть — на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения, от недостатка полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-й километр — Храпуново

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас... А в Петушках — в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом «Иорданских струй», если доберусь живым; если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталась в моем чемоданчике? «Поцелуй тети Клавы»? Пожалуй что да. Из моего чемоданчика никаких других «Поцелуев» не выжмешь, кроме «Первого поцелуя» и «Поцелуя тети Клавы». Объяснить вам, что значит «Поцелуй»? А «Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою водкою. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская — это «Первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном — это «Поцелуй, насильно данный», или, проще, «Поцелуй без любви», или, еще проще, «Инесса Арманд». Да мало ли разных «Поцелуев»! Чтобы не так тошнило от всех этих «Поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и «Первый поцелуй» исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но — у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам «Поцелуй тети Клавы». Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, — согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить «Поцелуй тети Клавы».

Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в «Поцелуй». О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском...

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, — глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, — но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь...

Подошел — и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм — где же она теперь?

Я обвел глазами всех — ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, — когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, у к р а л и между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, — меня тем временем лишали «Поцелуя тети Клавы»... В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время — прямо комедия... Но теперь — «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И — финита ля комедиа. Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная... Довольно в мутной воде рыбку ловить — пора ловить человеков!..

Но как ловить и кого ловить?..

Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь начинается детективная повесть... Я заглянул внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти сто грамм? и кого ловить?..

Я взглянул вправо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, — а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура...

«Транс-цен-ден-тально»... — подумал я. — И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, — значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, — значит, ни тот, ни другой украсть не могли...»

Я глянул назад — нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают

на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том — до странности похожи: он в жакетке, и она — в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она — при усах и в коричневом берете...

Я протер глаза и еще раз посмотрел назад... Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом... Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед.

И впереди то же самое, странных только двое: дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка — на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются...

«Подозрительно», — подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозрительно... Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек — совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот...

А дедушка — тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия — в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередке расстрелянной физии — распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник...

«Очччень подозрительно», — подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже странно, — подумал я, — они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил»...

Я пригласил их сесть напротив себя.

Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую — дедушке.

— Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?

Храпуново — Есино

— Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич... Едем в Орехово, в парк... в карусели покататься...

А внучек добавил:

— И-и-и-и-и...

Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподымал правой: «И-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки»... «И-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка»...

— Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

— В карусели.

— А может, все-таки, не в карусели?..

— В карусели, — еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла...

— А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи...

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.

— Я нничего. Я просто хотел компоту покушать... Компоту с белым хлебом...

— Компоту с белым хлебом?

— Компоту. С белым хлебом.

— Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищете у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту...

Дедушка — первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста... Оба плакали...

— Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить... У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я — понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены выпить хотя бы то, что вы находите, — взамен того, чего вы хотите...

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

— Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он — тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении... Так что же? Значит, и вы решили — на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек — тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками...

— Но — довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили — я могу налить вам еще по пятьдесят грамм...

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

— Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете.

— И-и-и-и, — заверещал молодой Митрич, — какой дяденька, какой хитрый дяденька...

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:

— Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей — вот...

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

— От моей не откажетесь? — спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место.

— Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. «Поцелуй тети Клавы».

— Тети Клавы?

— Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове,

задолго до того, как я их помянил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек — тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы...

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

— На брудершафт, ребятишки?

— На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты... «Наш поезд на станции Есино — не останавливается. Остановки по всем пунктам — кроме Есино».

Есино — Фрязево

Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, — теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

— Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, — обязательно покраснеют...

— Ну так что же?

— Как, то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький — так те вообще не просыпались!..

— Прекрасно. Ну, а дальше?

— Как, то есть «ну, а дальше»? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: «Ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только — умер.

— Так-так?..

— А Фридрих Шиллер — тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского — и пишет. Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов — готова целая трагедия в пяти актах.

— Так-так-так... Ну, и...

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и...»

— Ну, и Николай Гоголь...

— Что Николай Гоголь?..

— Он всегда, когда бывал у Аксаковых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал...

— И пил из розового бокала?

— Да. И пил из розового бокала.

— А что пил?

— А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку...

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов...

— А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина»!»

И вот они сидят — Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него — Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый — пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает...

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и — бух! в канаву. А потом встанет — и опять похмеляться, и опять — бух!.. А между прочим, социал-демократы...

— Начитанный, чччерт! — в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел...

— Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! — продолжал человек в жакетке. — Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить: пью месяц, пью другой, а потом...

— Погоди, — тут уж я его прервал, — погоди. Так что же социал-демократы?

— Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все н у ж н ы е ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-

навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм... А когда они наконец разбудили Герцена...

— Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! — рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. — Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака...

Все, кто мог смеяться, — все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница — в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно... И я — вместе с ними... Я повернулся к жакетке и черным усам:

— Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и «Хованщина» и...

— А вот и притом! С этого и началось все главное — сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! все честные люди России! а отчего они пили? — с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ — пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик — не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подыхает, а Гаршин встает — и с перепою бросается через перила...

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, — все выпитое подстегивало его и ударя-

ло в голову, все ударяло и ударяло... Декабрист в коверкотовом пальто — и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза...

— И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет а б с о л ю т н о! Вы Маркса читали? А б с о л ю т н о! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь — вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону — никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так — до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия — он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом...

— Стоп! — прервал его декабрист. — А разве нельзя н е п и т ь? Взять себя в руки — и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем не пил.

— Не пил? Совсем? — черноусый даже привстал и надел берет. — Не может этого быть!

— А вот и может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма н е п и л...

— Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?

— Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни грамма не пил.

— Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?

— Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, — шепнул я сам себе, — помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или...»

— Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма? — я повернулся к декабристу. — А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему

бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева — и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но к а к б ы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости...

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет — а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет — и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый...

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается — еще бы! Алкоголик он был, а л к а ш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гете! И руки у него к а к б ы тряслись!..

— Вот это да-а-а... — восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист — широким жестом — вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки — до странности возбужденно...

Мне налили — больше всех. Старому Митричу — тоже налили. Молодому тоже подали стакан — он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы...

— Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?

Фрязево — 61-й километр

— Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные — тоже...

— А... разрешите вам задать один пустяшный вопрос, — сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко мне. — Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать — вы с утра ничего не пили!

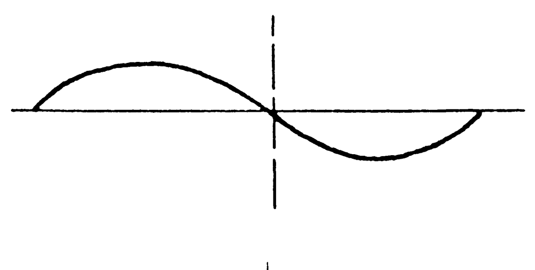
Я даже обиделся:

— Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз... Я просто немного поддал...

— Нет, нет, эта замутненность — от грусти! Вы как Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете...

— Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

— Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью — я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? — наутро я не просто н е в е с е л, не просто н е п о д в и ж е н, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:



И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия — это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой — момент засыпания, наинизшая — пробуждения с похмелья...

— Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли это забота, но она строго геометрична! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером — бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром — переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спьяна природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу — пожалуйста, с похмелья его сменяет порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма... Она — всеобща и к каждому применима. А у вас — все не как у людей, все, как у Гете!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист — тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

— А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу — не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть — и леммы уже нет... В особенности — если баба плохая, а лемма хорошая...

Враз заговорили все. «Да что такое вообще лемма?» «И что такое — плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие...»

— У меня, например, — сказал декабрист, — у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая...

— Причем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!

— И об усах! Не было бы усов — не было б и разговора...

— Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. — черноусый опять поворотился ко мне. — С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал:

— С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим...

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» — галдеж возобновился.

— Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать — это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это — уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить...

— Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

— Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба — берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить... Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

— А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации — способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка!» — голосом таким пропитым и печальным говорю: «Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры...» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк — волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему

7—3417

моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать — так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило!» «Цивилизации!» «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо — ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика — смеялась. А внучек верещал: «И-и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри...»

— А плохая баба? — сказал декабрист. — Разве не нужна бывает и плохая баба?

— Конечно! Конечно, нужна, — отвечал я ему. — Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уж четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу — вы бы видели, как она подошла!

— Знаем! — сказал декабрист. — «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево».

— Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю — встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал — и пошел. И вот уж три месяца хожу замутненный...

— Замутненность — от грусти, — повторил черноусый в беретке. — А грусть — от бабы.

— Замутненность — оттого, что поддал, — перебил его декабрист.

— Да причем тут «поддал»? А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! — плохая, значит, баба! Да если даже и плохая — все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

— Честное слово! — вскричал декабрист. — Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь... Давайте и я вам что-нибудь расскажу — про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет...

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старый Митрич — и тот сказал: «Давайте!..»

61-й километр — 65-й километр

Первым начал рассказывать декабрист:

— Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался — знаете, на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, — а вот поди ж ты, помешался...

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается... Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда — воскресюсь: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

— Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно!

А он:

— Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду!

Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

— Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову?

— Конечно, — отвечает, — если вы хотите, чтоб я ее, вашу Веру Дулову, удавил, струною от арфы, — тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.

Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой — да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Ррруль мне дай, — говорит. — Дай мне ррруль!» И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку...

И вот — я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом — швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил!.. «Вот она — Эрдели! Не веришь — спроси!»

И наутро смотрю: отворилось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом — потихоньку заработал, заучился, запил... И стал человек как человек. Вот видите!..

«Да где же тут любовь и где Тургенев?» — заговорили мы, почти не дав окончить. — «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили — вот примерно все это и расскажи...»

— Конечно, — прибавил я, — у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете... Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы уже и без жабо — лыка не вяжем...

— Конечно! Конечно!

— Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, — смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

— Ну зачем палец?.. при чем тут палец? — застонал декабрист.

— Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..

— Боже мой! Нет, не смог бы.

— Ну вот то-то...

— А я бы смог! — проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. — А я бы смог чего-нибудь рассказать...

— Ты? Р а с с к а з а т ь? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

— Ну и пусть, что не читал... Мой внучек зато все читал...

— Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..

«Представляю, — подумал я, — что это будет за чушь! что за несусветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй...

Дедушка начал рассказывать:

65-й километр — Павлово-Посад

— Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и весь в чирьях... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет... плывет и чирья из себя выдавливает...

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:

— А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол... и тут уже к нему не подступись — молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький...

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны...

— Ну и все, что ли, Митрич?..

— И все, — отвечал он сквозь слезы.

Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился:

— Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!

— Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! —

брякнул кто-то со стороны. — Кинокартину «Председатель»!

— Какая там, к черту, кинокартина!..

А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко... Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость.

— Давай, папаша, — сказал я ему, — давай я угощу тебя, ты заслужил! ты хорошо рассказал про любовь!..

— И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

— Давайте! За орловского дворянина!..

Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис...

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался...

— Я тоже хочу Тургенева и выпить, — проговорила она всею утробою...

Замешательство длилось не больше двух мгновений.

— Аппетитная приходит во время еды, — съязвил декабрист.

Все засмеялись.

— Чего тут смеяться, — сказал дедушка. — Баба как баба, хорошая, мягонькая...

— Таких хороших баб, — мрачно отозвался черноусый и снял берет, — таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали...

— Ну почему, почему! — я запротестовал и засуетился. — Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет! «Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!..» — Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана «тети Клавы».

Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет. «Вот это — видите?» И показала всем свой

шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала — и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».

Я налил ей еще полстакана.

Павлово-Посад — Назарьево

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: «Видите — четырех зубов не хватает?» «Да где же зубы-то эти?» «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу — у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба...»

И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа...

— Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил...» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок — я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин». А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин»... — Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, — оборвал ее черноусый. — Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже — нет, чтобы коров пасти и жать хлеба — так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я — как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!» И так всякий раз — стоило мне немного напиться. «Кто за тебя, — говорю, — детишек?.. Пушкин, что ли?»

А он — прямо весь бесится. «Уйди, Дарья, — кричит, — уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом — все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого... И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! детишек — не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу — любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, — орет, — сердцем — да, сердцем люблю твою душу, но душою — нет, не люблю!!» И как-то дико, по-оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего «я»!»

Да! А через месяц он вернулся! А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! — закричала. — Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек...» А он — не говоря ни слова — подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола...

— Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток...

Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка.

— А где же он теперь, твой Евтюшкин?..

— А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири...

— Верно говоришь, — поддержал я ее. — В Средней

Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов — был. Он говорит: идешь, идешь, видишь — кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул... Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего — приехал рыхлый и глаза навыкате...

— А в Сибири?..

— А в Сибири — нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца — и негры на них вешаются...

— Да что еще за негры? — встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?..

— Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

— Никаких негров? В Штатах?..

— Да! В Штатах! Ни единого негра!..

Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, — все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные — забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка...

— Значит, вы были в Штатах, — мямлил черноусый, — это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... я вам верю, как родному... Но — скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите...

— Да, — отвечал я ему, — свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них — я много ходил и вглядывался, — у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? — думал я и сворачивал с Манхеттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: — От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего. Но откуда берется самодовольство??» Я застывал посреди авеню,

чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством — а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

— Да, да, да, — кивал головою старый Митрич, — они там кушают, а мы почти уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... а сами что будем кушать?..

— Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

— Как же... помню... — и все выпитое выливалось у него из синих глаз, — помню... «мы с бабушкой уходили все дальше в лес...»

— Да разве ж это про Родину, Митрич! — осоловело сердился черноусый. — Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал...

Назарьево — Дрезна

А черноусый сказал:

— Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?

— Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует... И так от этого грустно! А они нашей грусти — не понимают...

— Да ведь итальянцы! — разве они что-нибудь понимают! — поддержал черноусый.

— Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, — захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так

мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поебанный!» Да разве ж я как поебанный! Просто — немотствуют уста...

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: «Далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!..»

Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер... А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра — тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну, что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?» — спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей — что присуще?» Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты, — говорит, — а никакой не Логос! Вон, — кричит, — вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго...

Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют — из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским Полям — а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых — она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню; короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. «Интересно, — прошмыгнула мысль у меня, — откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы...»

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего — а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал — а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла...

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак — я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок — и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммер элегант». Эссе по вопросам любви.

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр, твердый или мягкий?» — он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно». А покажи ему мягкий — так он и совсем растеряется. А там — нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр м я г к и й, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет...

Короче, «Ревю де Пари» вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? — я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок — и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»...

— И вам опять его вернули? — спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон...

— Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую — через кровосмесительство — трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..

Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями — и через Верден попер к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал: «Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены... « А в окрестностях Лондона...

— Позвольте, — прервал меня черноусый, — меня поражает ваш размах, нет, я верю вам как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы...

Дрезна — 85-й километр

— Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что

граница — это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском...

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершенно свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон — переходи...

Так что ничего удивительного... В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм: «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу...»

«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?»

— В каких же это носках?! — заговорил я, уже досады и не скрывая. — В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!» Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:

— Контролеры! Контролеры!.. — загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!..».

Мой рассказ оборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, — все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фатаморгана...

Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого — ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика — публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опустил, мудозвон! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие — и можешь ли ты осудить нас? Походи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим...

До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контроля, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены — так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты...

Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеныч брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант...

Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало... И в том всеобщем трепете, который вызывает

крик «Контролеры!!» — нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение...

Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины...

— Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская — Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот — Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», теперь же вызывает «законную гордость»... А ты, Веня?..

И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром: — А ты, Веня? Как всегда: Москва — Петушки?..

85-й километр — Орехово-Зуево

— Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки...

— И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!

Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься»?

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только еще заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял в чем дело, он объяснил мне в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну, как? Уебал он все-таки эту Лукрецию?»

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и...» Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный...

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва — Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже...

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда...

И вот — Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

— Москва — Петушки? Сто двадцать пять.

— Семеныч! — отвечал я, почти умоляюще. — Семеныч! Ты выпил сегодня много?..

— Прилично, — отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину...

— А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты м о ж е ш ь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

— Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..

— От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда — можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

— Могу! — рокотал Семеныч. — Говори, говори, Шехерезада!

— Так слушай. То будет день, «избраннейший из всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет наконец:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...» И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот — мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют «Исайя, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе...

— Сольются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпении...

— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина...

— Женщина!! — затрепетал Семеныч. — Что? что женщина?!!!..

— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет...

— Возляжет?!! — тут уж он задергался. — Возляжет?!!

— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится! И...

— О-о-о-о! — застонал Семеныч. — Скоро ли сие? Скоро ли будет?.. — и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности...

Я, как ни был я пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «о г о»! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было б понять...

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? — что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут.

А уж публика: «Ого! — говорит. — Ай да генерал де Голль!» Или: «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!»

— Семеныч! Семеныч! — я обхватил его и потащил на площадку вагона. — На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей...

— Веня! Скажи мне... женщина Востока... если снимет с себя паранджу... на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась...

Орехово-Зуево

Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстегнутого — вынесло на перрон и ударило головой о перила... Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону...

Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального — я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, — и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если т а м Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..» — я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу... « Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства

вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей...

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты — о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим, Господь! это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! — я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, — а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты...

«Все ваши выдумки о веке златом, — твердил я, — все — ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому назад, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск — в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, — а ч т о там в жасмине? К т о там, облаченный в пурпур и крученый виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..»

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина...

Орехово-Зуево — Крутое

...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

— Что ты здесь делаешь, Тихонов?

— Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы...

— Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?

— А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить — нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие...

— А ты выпей можжевеловой, Вадя...

Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил.

— Ну как? Назрела ситуация?

— Погоди, сейчас назреет...

— Когда же выступать? Завтра?

— А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить — нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

— А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой...

Вадимчик выпил и опять загрустил.

— Ну, как? Ты считаешь: пора?..

— Пора...

— Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Тартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу...

— Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.

— До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь...

— Постараюсь, усну, до свидания, товарищ...

Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: «бесплодной, как смоковница».) Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня — я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие...

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами — в ногах правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого: приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу...

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, — но, как бы то ни было, с этого все началось.

Двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли — колонна на Елисейково, другая — на Тартино. И шли беспрепятственно, вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один — бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодово и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда — от магазина в Поломах до андреевского склада сельпо, — все заняты были силами восставших...

А после захода солнца — деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич...

С места кричали: «А где это такая — Норвегия?..» «А кто ее знает, где! — отвечали с другого места. — У черта на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была, — унимал я шум, — без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов...» «Белополяки нужны!» — кричал закосевший Тихонов. «О, идиот, — прерывал я его, — вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, — но как доходит до дела, ты говно-говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?..» «Да разве я спорю! — сдавался Тихонов. — Как будто они мне больше нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия...»

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу, с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо — вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, — было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разъебай-каудильо!.. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И, наконец, четвертое письмо — Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский коридор ни малейшего права...

И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, гу-

бошлепы, признают за это субъектами международного права...

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич...

Не спал и пленный, бывший предсельсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

— Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

— Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

— А чего это такое?..

— Узнаешь, чего это такое! То есть, ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянет!..

Крутое — Воиново

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их: 1-й Пленум, 2-й Пленум, 3-й Пленум и 4-й Пленум...

Весь 1-й Пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть «декреты»? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще? — нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не пришло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со

всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать утра, а не в девять...

Мысли роились — так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

— Слушай-ка, канцлер!

— Ну, чего?..

— Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.

— Найди другого, — обиделся Тихонов.

— Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатоль Иваныча? Ты что же это? — открываешь террор?

— Да так... Немножко...

— И какой террор открываешь? Белый?

— Белый.

— Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем — и декларацию прав. А уж только потом — террор. А уж потом выпьем и — учиться, учиться, учиться...

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:

— Да-а-а... сплоховал я с этим террором... Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было... Были, правда, прецеденты, но...

— Ну, разве это прецеденты! Это — так! чепуха! Полет шмеля это, забавы взрослых шалунов, а никакие не прецеденты!.. Летоисчисление — как думаешь? — сменим или оставим как есть?

— Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет...

— Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, Пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

— Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет 2-й Пленум... Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открыть 2-й Пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

— Я встаю с президентского кресла, — сказал я в своем выступлении, — я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?

— Нет таких, — хором отвечали делегаты.

— Мою, например, харю — разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».

— Ну, так вот, — продолжал я. — Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет...

Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, — допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..

Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем:

— Тебе нравится, Вадя, наша революция?

— Да, — ответил Вадя, — она лихорадочна, но она прекрасна.

— Так... А насчет Норвегии, Вадя, — насчет Норвегии ничего не слышно?

— Пока ничего... А что тебе Норвегия?

— Как то есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с

ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет... Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло — и тогда увидишь, что будет!..

— Садись, — ответил Вадя, — кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь — садись...

Воиново — Усад

Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3-й Пленум, я сказал:

«Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, — я беру в свои руки всю полноту власти; то есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того — полномочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно становлюсь президентом. То есть «личностью, стоящей над законом и пророками...»

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения...

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение. «Смерть наступила вследствие естественных причин». Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й Пленум был траурным.

Я выступил и сказал:

«Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки — вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных катего-

рий, — а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка...

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В Общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят...»

Тут уже заорали с мест:

— А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!

— Как же! дадут вам Б-52! Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!

— «Фантомы» дадут!

— Ха-ха! Кто это сказал: «Фантомы»? Еще одно слово о «Фантомах» — и я лопну от смеха...

Тут Тихонов со своего места сказал:

— «Фантомов» нам, может быть, и не дадут, — но уж девальвацию франка точно дадут...

— Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия — и ухожу от вас. В Петушки.

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел — какие слова полетели мне вслед! Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду...

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в пояс кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце, а я все шел.

«Царица Небесная, как далеко еще до Петушков! — сказал я сам себе. — Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду — где же Петушки?»

«Где же Петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю, и вечно путаю.

Я постучался и спросил: «Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?» А мне в ответ — все, кто был на веранде, — все расхохотались, и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал — ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того — кто-то ржал у меня за спиной.

Я оглянулся — пассажиры поезда «Москва — Петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

«Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, — чтобы не так тошнило».

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна...

— Мы подъезжаем к Усаду, да? — Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос: — Мы подъезжаем к Усаду?

— Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, — отвечал какой-то старичок. — Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил:

— От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

— Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

«Милая странница!!!?»

Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал: какая же я после этого «милая странница»? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить — но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем — или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих, спросил:

— Это Усад, да?

А он (совсем неожиданно) вытянулся передо мной в струнку и рявкнул: «Никак нет!!» А потом — потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!..»

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

Усад — 105-й километр

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», — но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку — о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!..

— А! Это ты! — кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же ведь время — искушать!»

— Так это ты, Ерофеев? — спросил Сатана.

— Конечно, я. Кто же еще?..

— Тяжело тебе, Ерофеев?

— Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал...

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

— А раз тяжело, — продолжал Сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв — легче будет.

— Ни за что не смирю.

— Ну и дурак.

— От дурака слышу.

— Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми — и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...

Я сначала подумал, потом ответил:

— Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь...

И Сатана ушел, посрамленный.

А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой — таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма...»

«Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать, с Курского вокзала...»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться — бах! уже темно... А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего «о-о-о»! Чего ты все «о-о-о» да «о-о-о»! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например...»

«Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили... А теперь, черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есино...»

Я взглянул за окно и опять нахмурился: «Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще едем...»

Тут уж сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие — ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, — так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон, и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть было тоже не задремал...

И вдруг — подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно... Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдрабадан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы — заря моей пятницы уже взошла. Значит — уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..»

«Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу...»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню...»

«Да что «коса»! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего

не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: «коса»! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы... А осенний день наоборот — он уже с гулькин хуй! Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!»

Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка — и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь триста грамм конфет «Василек». И вот — через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот «Василек». А все будут говорить: «13-й раз подряд мы видим сплошной «Василек». Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура». А она рассмеется и скажет: «...»

Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку...

105-й километр — Покров

Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине.

Я вздрогнул и обернулся: передо мною был н е к т о без ног, без хвоста и без головы.

— Ты кто? — спросил я его в изумлении.

— Угадай, кто! — и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся...

— Вот еще! Буду я угадывать!..

Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: передо мною был все тот же н е к т о, без ног, без хвоста и без головы...

— Ты зачем меня бьешь? — спросил я его.

— А ты угадай, зачем!.. — ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз — я все-таки решил угадать. «А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине обеими ногами...»

Я опустил глаза и задумался. Он — ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку, сопли вытирал...

Первым заговорил все-таки он:

— Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где...

— Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.

— Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

— Да. Куда им вздумается.

Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых.

— Так слушай же. Перед тобою — Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

— Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в Петушках, — чего? моровая язва? Там кто-то вышел замуж за собственную дочь, и ты...?

— Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе — не пущу, значит не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

«Для чего ему, подлюке, загадки?» — подумал я про себя. А вслух сказал:

— Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

«Для чего ему, разъебаю, загадки?» — подумал я еще раз.

А он уже начал первую:

«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня — по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу — по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».

Про себя я подумал: «На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?..»

Я обиделся и сказал:

— Это плохая загадка. Сфинкс, это загадка с поросячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

— Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седь-

8—3417

мого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована; каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой; каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 — определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

«На кого, на кого т е п е р ь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?»

— Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

— Ха-ха! Давай третью!

«Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта $Б_1$ в сторону пункта $Б_2$. В то же мгновенье Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта $Б_2$ в пункт $Б_1$. Неизвестно почему оба они оказались в пункте $Б_3$, отстоящем от пункта $Б_1$ на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта $Б_2$ — на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?»

«Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?..»

— Ха-ха! — вскричал, потирая руки, Сфинкс. — И эту решать не будешь?! И эту — не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе — на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине — и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 78 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все тарелки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени,

а цену хереса знает каждый ребенок, — узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?!»

— Как то есть «Курского вокзала»?

— А вот так то есть. «Курского вокзала».

— Так он же поскользнулся-то — где? Он же в Петушках поскользнулся! Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

— А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

«Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несут такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?..»

— Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.

— Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда...

— Тогда давай последнюю, давай!

«Вот: идет Минин, а навстречу ему — Пожарский. «Ты какой-то странный сегодня, Минин, — говорит Пожарский, — как будто много выпил сегодня». «Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь». «Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?» «Сейчас скажу: сначала 150 российской, потом 150 перцовой, 200 столичной, 550 кубанской и 700 грамм ерша. А ты?» «А я ровно столько же, Минин». «Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?» «Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?» «Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, идешь совсем не в ту сторону!» «Нет, это ты идешь не туда, Минин». Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин — туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем — куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи».

— В Петушки? — подсказал я с надеждой.

— Как бы не так! Ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги:

— А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

— Может быть, в Петушки? — я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. — В Петушки, да?..

— А на Курский вокзал — не хочешь?! Ха-ха! — И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. — И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! — а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил...

— Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..

— А вот увидишь — куда! Ха-ха! Увидишь!..

Покров — 113-й километр

Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку — и растворился в воздухе... Для чего это ему было надо?

Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано: «...» — и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров».

«Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом — Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все подымалась, разом опустилась на дно души и там затихла...

Три или четыре мгновения она, притихшая, там и лежала. А потом — потом она не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души подскочила, одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло:

Вот — я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо — и «Покров», и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю: если станция Покров оказалась справа, значит — я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. «Постой, Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал: может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди, выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано «...».

Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «...». Я поглядел налево: там так же красиво было написано «...». Боже! Я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался...

«Постой, постой... А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы — все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!..»

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика — чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?!

«Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик — вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль — а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом — миллион».

«Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской — за то, что ты благороден».

И вот — я запрокинулся, допивая свой остаток. И — сразу — рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка, и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице.

«Человек не должен быть одинок» — таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!) А вы — отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

«И по-твоему, именно так должен поступать человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево.

«Да. Именно так, — склонив голову вправо, ответил я сам себе. — Не век же рассматривать «...» на вспотевших стеклах и терзаться загадкою!..»

И я пошел по вагонам. В первом — не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором — тоже никого; даже дождь не брызгал...

В третьем — кто-то был...

113-й километр — Омутище

...Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Ни дать, ни взять — копия с «Неутешного горя», копия с тебя, Ерофеев», — сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала...

Вот! Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, — чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..

Что же мне все-таки сказать?

— Княгиня, — позвал я тихо.

— Ну, чего тебе? — отозвалась княгиня, глядя в окно.

— Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего...

— Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица... Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь...

«Это мне-то, в моем положении — молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное... Впрочем, ладно, потом вспомню... Женщина плачет — а это гораздо важнее... О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад — и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме «скорби» и «страха», и после этого — и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..»

Я подумал и сказал:

— Княгиня!.. а, княгиня!..

— Ну, чего тебе опять?

— Нет у тебя уже гармони. Не видно.

— Чего ж тебе тогда видно?

— Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь.)

— Сам ты кустик, я вижу...

«Ну что ж, кустик, так кустик». Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину... О чем же все-таки это «важное»?

— Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

— Чего ты мелешь?

— Честное слово, с тех пор не видел... Где он, твой камердинер?

— Он такой же твой, как и мой! — огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей — остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула:

— Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!

И скрылась.

«Вот это да-а-а, — протянул я восторженно, как давеча декабрист. — Ловко она меня отбрила!» И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих — дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик... Через час — опять позвонил.

— Ка-мер-ди-нер!!

Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спьяну, ходить во всем желтом, до самой смерти — так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.

— Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет — как ты думаешь? Спал?

— В том вагоне — да, спал.

— А в этом — нет?

— А в этом — нет.

— Чудно мне это, Петр... Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое... А то, знаешь, опять мне делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

— Не знаю. Я сам спал — в этом вагоне.

— Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?

— Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том — зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?

— Ты не путай меня, Петр, не путай... Дай подумать. Видишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.

— Какая же это мысль?

— А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

Омутище — Леоново

Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь — когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан... Не очень заметно, что я расщеплен?

— Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.

— Ну, это ничего. Рожа — это ничего...

— И выпить тоже нет ничего, — подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепенулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то — знаешь? — немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас».

— А где же твоя княгиня, Петр?

— Она давно уже вышла.

— Куда вышла?

— В Храпунове вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове — вышла.

— Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не путай... Так, так... Самая главная мысль... Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А по-

чему — понятия не имею. Да, да... вот теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гете, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке... А я — нет, я и дома без шлафрока; я и на улице — в тапочках... А Шиллер-то тут при чем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер...

Петр все глядел на меня, стоя надо мной. И все еще мало что понимал.

— Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты — смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде нет никого?

— Никого.

— Так...

Я опять задумался. И странная это была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это «что-то» тоже было странно. И дума — тяжелая была дума...

Что я делал в это мгновение — засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? «Есть бытие, но именем каким е г о назвать? — ни сон оно, ни бденье». Я продремал так минут 12 или 35.

А когда очнулся — в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души...

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался...

— Ка-мер-ди-нер!

В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый — почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?»

— Я ничем не хлопал. Я спал.

— Кто же тогда хлопал?

Петр глядел на меня, не моргая.

— Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде никого-никого?

— Никого.

— Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, так кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь!..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да; он повалился на канделябр и погасил его собою — и так пошел по вагону, гася огни. «Ему стыдно, стыдно!» — подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

— Возвратись, Петр! — я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. — Возвратись!

— Проходимец! — отвечал тот из-за окошка.

И вдруг — впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою...

— Что с тобой, Петр? Что с тобой?!..

— Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабуленька! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у-у...

И снова выпорхнул, теперь уже навечно.

«Черт знает что такое! Что с ними со всеми?» Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали...

Леоново — Петушки

...Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот — влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эриний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы...

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами:

«Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!..» А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхалась от бега.

— Куда вы? Куда вы все бежите?..

— Чего тебе?! Отвяжи-и-сь! Пусти-и-и-и!..

— Куда? И все мы едем — куда??..

— Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..

И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб — до того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась — и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею...

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд «Москва — Петушки» летит под откос. Вздымались вагоны — и снова проваливались, как одержимые одурью... И тогда я заметался и крикнул:

— О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..

Крикнул и оторопел: хор Эриний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой...

А кимвалы продолжали бряцать, а бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

Петушки. Перрон

А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь — да, как будто туман. А если вы скажете — нет, то не туман, то пламень и лед — попеременно то лед, то пламень, — я вам на это скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

«Это лихорадка, — подумал я. — Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман». А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках — ножик...

— Митридат, это ты, что ли? — мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. — Это ты, что ли, Митридат?..

— Я, — ответил понтийский царь Митридат.

— А измазан весь — почему?

— А у меня всегда так. Как полнолуние — так сопли текут...

— А в другие дни не текут?

— Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

— И ты что же, совсем их не утираешь? — я перешел почти на шепот. — Не утираешь?

— Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние...

Я прервал его:

— Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

— Как зачем?.. да резать тебя — вот зачем!.. Спрашивает тоже: зачем?.. Резать, конечно...

И как он переменился сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел — и куда только сопли девались? — и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: «Что ты, Митридат, что ты! — шептал я или кричал, не знаю. — Убери нож, убери, зачем...?» А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась... «Изувер!» И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою защититься от ножика... «Перестань, Митридат, перестань...»

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, опять правый, — я успевал только бессильно взвизгивать, — и забился от боли по всему перрону. И проснулся, весь в судорогах. Вокруг — ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего

холода. «Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже...»

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихоманка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и, приблизились ко мне вплотную и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка — серпом по ..цам. Я закричал — наверно, вслух закричал — и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось — и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, — я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от вас, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица Небесная, я — в Петушках!..

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик где твой? Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты «Василек» и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл — ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, посмотри, есть ли деньги, может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь — деньги?.. О, эфемерность! О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа — время от закрытия магазинов до рассвета!..

Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, — то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше — то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: «Раз-два-туфли надень-ка как-ти-бе-не стыдна-спать...» Самое главное — уйди от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она не встретила, и все узнаешь... Иди, Веничка, иди...»

Петушки. Вокзальная площадь

«Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят...»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, — и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю, — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, — умру, и Он меня спросит: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?» — я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...

Может, все-таки разомкнуть уста? — найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу — а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от

тебя отвернулось, — так зачем тебе узнавать время? «Не женщина, а бланманже», как ты в шутку ее называл, — на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины — не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой...

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

Петушки. Садовое кольцо

Постучался — и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят...

«Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы — непомерно широкими, дома — странно большими... Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян... Помнишь лемму этого черноусого?»

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего: «Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю... Они, серьезные, это понимают, а я, легковесный, никогда не пойму... Мене, текел, фарес — то есть «ты взвешен на весах и найден легковесным», то есть «текел»... Ну и пусть, пусть...

Но есть ли т а м весы или нет — все равно — на т е х весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал — и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков.

Есть т а м весы, нет т а м весов — т а м мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, и знаю, и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..»

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, — я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы...

«Не плачь, Ерофеев, не плачь... Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо...»

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулок, и снова задрожал и заплакал...

И тут — началась история, страшнее всех, виденных во сне: в этом самом переулке навстречу мне шли четверо... Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо... Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу...

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех четверых — вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета? — вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож... впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

— Ну, вот ты и попался, — сказал один.

— Как то есть... попался? — голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

— А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.

— А почему?..

— А потому.

— Слушайте... — голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью. И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды,

пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, — потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с э т и м и. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я предал бы Его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал...

— Слушайте, — говорил я им, как умел, — вы меня пустите... что я вам?.. я просто не доехал до девушки... ехал и не доехал... я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал... там пустяки и были, а все-таки жалко... «Василек»...

— Какой еще василек? — со злобою спросил один.

— Да конфеты, конфеты «Василек»... и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает... но это чепуха... вот только дождаться рассвета, я опять поеду... правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут... даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: «Как этот подонок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах я видел эти рожи?..

— Я хочу опять в Петушки...

— Не поедешь ты ни в какие Петушки!

— Ну... пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу...

— Не будет тебе никакого вокзала!

— Да почему?..

— Да потому!

Один размахнулся — и ударил меня по щеке, другой — кулаком в лицо, остальные двое тоже надвигались, — я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо тихо наступали...

«Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад — все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!..»

Я схватился за голову — и побежал. Они — следом за мной...

Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому

«А может быть, это все-таки Петушки?.. Может, крикнуть «караул», хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят, не сморгнув. Может, и в са-

мом деле Петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, — это же райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!..»

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не Петушки! Если Он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, — Он в эту сторону ни разу и не взглянул. А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, — Он это место обогнул и прошел стороной.

Не Петушки это, нет! Петушки Он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы Его ночлега — пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым.

Нет, это не Петушки! Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже за собою топот погони — я успел подумать: «Вот! Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, сколько раз проходил — и ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот теперь наконец увидел — когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!..»

Неисповедимы Твои пути...

Топот все приближался — а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до Кремлевской стены — и рухнул. «Что это за люди и что я сделал этим людям?» — такого вопроса у меня не было, я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. И заметят они меня или не заметят — тоже все равно. «Мне не нужна дрожь, мне нужен покой, — вот все мои желания. Пронеси, Господь...»

Они приближались с четырех сторон, поодиночке. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги — они бы сразу убили меня...

— Ты от нас? О т н а с хотел убежать? — прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот... Я почти упал, но удержался... Началось избиение!

— Ты ему в брюхо сапогом! Пусть корячится!

Боже! я вырвался и побежал — вниз по площади. «Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятни-

ка — смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть — сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина — куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда — я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский...

Москва — Петушки. Неизвестный подъезд

Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул — я все еще надеялся... «О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо...»

Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять...

Весь сотрясаясь, я сказал себе «талифа куми». То есть «встань и приготовься к кончине»... Это уже не «талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине», это л а м а с а в а х ф а н и. То есть: «Для чего, Господь, Ты меня оставил?»

«Для чего же все-таки, Господь, Ты меня оставил?»

Господь молчал.

«Ангелы небесные, они подымаются! что мне делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы!..»

И ангелы — засмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю, — вам сказать, как они сейчас засмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мерт-

вый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг — и хохотали над этой забавностью...

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел — они подымались с последнего этажа... А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках — для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление.

Они даже не дали себе отдышаться — и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками; я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего...

— Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. — бормотал я...

Они вонзили мне свое шило в самое горло...

Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

На кабельных работах в
Шереметьево – Лобня,
осень 69 года

ПРОЗА ИЗ ЖУРНАЛА «ВЕЧЕ»

1

Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета; один пистолет я сунул себе за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, а колыха́нье струй и душевредительство. Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на самого себя («не убий» себя, как бы ни было скверно), — но сегодняшняя скверна и сегодняшний день — вне заповедей. «Ибо лучше мне умереть, нежели жить», — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так».

Дождь моросил отовсюду, а, может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца — тоже щемило. Все ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две три идеи, что меня чуть-чуть подогревали, — тоже исчезли

и растворились в пустотах. И, в довершение, от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!», потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благовонно-лонная, останься!» — она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался подо все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома, над головой, я вбил крюк виселицы, две недели с веточкой флер-д'оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ты ни был, ты, доставший мне эти три пистолета, — будь ты четырежды благословен!

Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа все распухала, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица. Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее; что-нибудь такое освежающее... например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано. Но это не освежает, — где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня — ни одной звезды, ни в одном глазу.

И Алексей Мересьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом».

Не подымаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из

подмышек, третий не помню, откуда, — и из всех трех разом выстрелил во все свои виски — и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навылет.

2

«Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, — вот что это такое. Ты промазал, фигляр, зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно! У тебя остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии». Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: «Omnia animalia post coitum oppressus est», то есть «каждая тварь после соития бывает печальной», а я вот постоянно печален — и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (Тьфу, я не могу больше говорить, у меня спазмы). Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает, что еще.

«Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи», — так подумал я и постучал:

— Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят, — сказал он. — Я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи.

— О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же бу-

дет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике! — Я взгромоздился к нему на пуфик, я умолял: — Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волоки все!

Он ответил:

— Не дам.

— Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия? Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленоррею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, у придурка, ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (о нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы).

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: «У каждого в жизни есть своя Страстная неделя». Вот и у тебя...

— Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная неделя, и на ней семь Страстных пятниц! Как славно! Кто такой этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем заветном ты думаешь? — спросил я его. Он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.

3

Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал подмышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?
— Еще бы!
— И ничего более оголтелого нет?
— Нет ничего более оголтелого.
— Более махрового, более одиозного — тоже нет?
— Махровее и одиознее некуда.
— Прелесть какая! Мракобес?
— «От мозга до костей» — как говорят девочки.
— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?
— Сгубил, царствие ему небесное.
— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?
— В какой-то степени — да.
— Волшебный человек! Как только у него хватало нервов, желчи и досуга! И ни одной мысли за всю жизнь?
— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.
— И всю жизнь и после жизни — никакой известности?
— Никакой известности. Одна небезызвестность.
— Да, да, я слышал (погоди, Павлик, я сейчас иду), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев («простер совиные крыла»), Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин («не то беда, что ты поляк»); Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин («по Невскому бежит собака»), Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде.
— Славная женщина София Соломоновна Гордо, относительно «банды» я не спорю, это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутыль с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух, — и никудышно, и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше, ни меньше, как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по назначению, ни по размерам, ни по досягаемости».
— Ну, это я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от

нашей классной наставницы Беллы Борисовны Савнер, женщины с дивным пахом (погоди, Павлик, я сейчас иду). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?

— Решительно всех.

— И переплюнул?

— И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах — и я ухожу.

— Умер как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и за книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4

Сначала отхлебнуть цикуты, а потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина: «Книга должна быть дорогой. И первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить. Книгу не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать», — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и публичные библиотеки суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь не о развратницах-книгах, а просто о развратницах: «Можно дозволять очищенный род проституции «для вдовствующих замужних», то есть для того разряда женщин, которые неспособны к единобрачию, неспособны к правде, высоте и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «разверстыми ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехоро-

шим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен для сквозняков.

А потом повалился на канапе и продолжал:

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне? Томится душа моя. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». (У обскуранта — и вдруг томится душа?) «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем поговорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы о чем поговорить!)

«Только горе открывает нам великое и святое». Боль беспредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит».

«Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда». «Грусть — моя вечная гостья». «Смех не может никого убить, смех придавить только может. Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа». «Христос — это слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня. Никогда от меня не отходи».

(Вот-вот! Мересьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она еще ни имела дела — с парадоксом или прописью).

«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся пере-

вернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

«И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «Русскими женщинами».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напомнить о Христе»): «Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20 томах, не наш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? Что их просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять». (Как это может страдалец — вонять?)

И о графе Толстом: «В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает больше движения души, чем их «философия и публицистика». Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили».

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается: и насадка плохая, и крючок туп. Но он не унывает. И опять закидывает».

И об основателе «политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его поклонения:

«За всю его жизнь — ни одного высокого и натурального помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он, еще будучи гимназистом, матери в

письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом «ползучем гаде» я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней бренная — тоже уснула.

5

И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел: «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело; но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые, со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абаддона, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддону.

(А я все лежал на канапе, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал).

Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным раздал по подзатыльнику.

(«О, шельма!» — сказал я, путаясь в восторгах).

А он, между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старых монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каж-

дую монетку, я тихо приподнялся на канапе и шепотом спросил:

— Неужели это интересно: дуть на каждую монетку?

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно — или ты всю ночь путался с блядями?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне было скверно. «Книга, которую дают читать...» — и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера — мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпáли голову пеплом, раздирали одежды и препоясывались вретищем. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать...

Меня прорвало, и я на намять пересказал свой вчерашний день, от пистолетов до ползучего гада. И тут он пришелся мне уж совсем по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады», о Шернвале и Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сердечностью, с нежностью, настоенной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только

потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к амаликиянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к амаликиянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен всему этому? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старый Лаван, изверившийся во всем, клялся дочерьми, не зная, что еще можно избрать предметом. А есть ли у кого-нибудь из нас, во всей России, хоть одна дочь? А если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».

6

И тут меня прорвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменилось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбежались по заграницам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли и поперевешались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работящие. Говна нет, и не пахнет им. Остались брильянты и изумруды. Я один только — пахну... Ну, и еще несколько отщепенцев — пахнут...

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подыхаем. А они, мерзавцы, долголетны и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен. Всякая их идея — непреходяща, им должно расти, а нам — умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев...

9—3417

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань нести околесицу...

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут нести околесицу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если б знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, все теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десяток мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и только потому, что у меня была изжога и на спине два пупырышка...

(«Хо-хо! — сказал собеседник. — Отменно».)

И вот — меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит — они кретины, а я — прирожденный идиот. Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора; как моя легкая придурь от глубокой припизднутости (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мне душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и несказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумья уйду, у меня есть опыт в этом, у меня под рукой яд, благодарение Богу. Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих...

Все это проговорил я, давясь от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуту, а потом сказал:

7

— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов и штук сто тридцать невольных, позаботься о них вначале. Тебе ли сетовать на грехи мира и отягчать себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем «безумии сынов человеческих» есть и доля твоей (как ты сладостно выразился) припизднутости.

«Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того. «Мы часто бываем неправдивы, чтобы не причинять друг другу излишней боли. Он же постоянно правдив». Благо тебе, если ты увидишь Его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего шестьдесят таких промежуточков. Все было недавно. «И оставь свои выспренности», все еще только начинается.

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы. «Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина, и поверить в нежную идею. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канапе, и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне надежду». У меня все началось еще лет десять до того — все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось внутри меня, как помои, переполняло чрево и душу и просилось вон; оставалось прибечь к самому проверенному из средств: изблевать все это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев

стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца-Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы и не началось.

Если бы он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитизируется?

Я ответил бы:

— Чувствую. Теитизируется.

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и блеянье, блеянье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемешку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерстве образцов и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили: «неумело» благотворить и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калимантанских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?» Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канапе Василий Розанов.

Да, что он там сказал, уходя? О вздохе, о свиньях?

Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь. Мы — святые, а они — корректные. К «вздоху» Бог придет. К нам придет. Но скажите, пожалуйста, неужели же Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох. У них — нет вздоха.

И тогда я понял, где корыто и свиньи,

8

а где терновый венец и гвозди и мука.

И если придется, я защищу это все, как сумею. А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сферах повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим каламбуром, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случалось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся незыблемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки», уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если мне это скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь ни разу не застилала глаз.

Да этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто у с п е т ь доносить свои башмаки. Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же можем быть искушены во всех грехах, — чтобы знать им цену и суметь отвратиться от них от всех. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустяшной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавление от той гигантской лжи — (все, дурни, знают, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глазки постоянно

блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, засранкам, отвечу так: «Ну, так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства. У масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если б встретил его где-нибудь. Ну, как может пахнуть изо рта человека, который хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора. Те, кто знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), — эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе от юности до смерти прочно стоял монастырь, — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунстштюками, если б это, допустим, и в самом деле были только кунстштюки и забавы? И почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим от нас или нет причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы; каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака.

9

Короче, так. Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше, ни меньше: честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчат в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопа, с книгами подмышкой. В такой вот поздний час никто не набрасывает на себя салоп и не идет из дома к друзьям-фармацевтам с шовинистами подмышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати — какая разница? Ну, что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у братца своего, Британика, но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди.

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навытворяют дел, паскуднейших, чем натворили, — это я тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, все равно — опали!

Вот, вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше, от темени головы до подошвы ног!»

(Прелестная формула).

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дома, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если

вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе!). В вашей грамотности и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях, будьте прокляты! На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты! Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы согласны растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта проблядь Снегурочка, — если согласны — я снимаю с вас все проклятья. Меньше было б заботы о том, что станется с моей землей, если б вы согласились. Ну, да разве вас уломаешь, ублюдков?

Итак, проклятие остается в силе.

Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы прейдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем — в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, — доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот — вы благосклонны ко мне?»

«Благосклонны», — ответили созвездия.

Июнь 1973 г.

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ, ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА

Трагедия в пяти актах

Досточтимый Мур!

Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: «Вальпургиева ночь» (или, если угодно, «Шаги Командора»). Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха «Драй Нэхте».

Первая ночь, «Ночь на Ивана Купала» (или проще «Диссиденты») сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой веселой и самой гибельной для всех ее персонажей. Тоже трагедия и тоже в пяти актах. Третью — «Ночь перед Рождеством» — намерен кончить к началу этой зимы.

Все Буаловские каноны во всех трех «Ночах» будут неукоснительно соблюдены:

Эрсте Нахт — приемный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт — 31-е отделение психбольницы;

Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной.

И время: вечер — ночь — рассвет.

Если «Вальпургиева ночь» придется тебе не по вкусу, — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает.

Венедикт Ер.
Весна 85г.

В трагедии участвуют:

Врач приемного покоя психбольницы

Две его ассистентки-консультантши.
Одна (Валентина) — в очках, поджарая
и дробненькая. И больше секретарша, чем ассистентка.
Другая — Зинаида Николаевна, багровая и безмерная

Старший врач
Игорь Львович Ранинсон

Прохоров — староста 3-й палаты и диктатор 2-й

Гуревич

Алеха по кличке Диссидент, оруженосец Прохорова

Вова — меланхолический старичок из деревни

Сережа Клейнмихель — тихоня и прожектер

Витя

Стасик — декламатор и цветовод

Коля

Комсорг 3-й палаты
Пашка Еремин

Контр-адмирал Михалыч

Медсестра Люси

Медсестра Натали

Медсестра-санитарка Тамарочка

Медбрат Боренька, по кличке Мордоворот

Хохуля — сексуальный мистик и сатанист

Толстые санитары с носилками, в последнем акте уносящие трупы

Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета.

Первый акт

Он же Пролог. Приемный покой. Слева от зрителя — жюри: старший врач приемного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физией и в совершенно квадратных очках. По обе стороны от него — две дамы в белых халатах: занимающая почти пол-авансцены Зинаида Николаевна и сутуловатая, *на все отсутствующая,* в очках и с бумагами, Валентина. Позади них мерно прохаживается санитар и медбрат Боренька, он же Мордоворот, и о нем речь впереди. По другую сторону стола только что доставленный «чумовозом» (скорой помощью) Л. И. Гуревич.

Доктор. Ваша фамилия, больной?

Гуревич. Гуревич.

Доктор. Значит, Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не... Документы какие-нибудь есть при себе?

Гуревич. Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что...

Доктор (поправляя очки). Имя-отчество?

Гуревич. Кого? Декарта?..

Доктор. Нет, нет, больной, ваше имя-отчество!

Гуревич. Лев Исаакович.

Доктор (из-под очков, в сторону очкастой Валентины). Отметьте.

Валентина. Что отметить, простите?

Доктор. *Все! Все* отметить!.. Родители живы?.. И зачем вам лгать, Гуревич?.. если вы совсем не Гуревич... Так, я еще раз повторяю: ваши родители живы?..

Гуревич. Оба живы, и обоих зовут...

Доктор. Интересно, как их зовут.

Гуревич. Исаак Гуревич. А маму — Розалия Павловна...

Доктор. Она тоже Гуревич?

Гуревич. Да. Но она русская.

Доктор. Ну, а как обстоит дело с вашей матерью?

Гуревич. Вы бестактны, доктор. Что значит «как обстоит дело с матерью?» А с вашей, если вы не сирота, как обстоит?

Доктор. Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу и от вас... А кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем не маловажно.

Гуревич. Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт...

Доктор (очкастой Валентине). Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую маму... А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изменяют познания в географии, — ведь это *еще* не наша территория...

Гуревич. Ну, это как сказать. Вся территория — наша. Вернее, будет нашей. Но нам не дают туда погулять — видимо, из миротворческих соображений: чтобы мы довольствовались шестой частью обитаемой суши.

Доктор. А... очень широк, этот Геллеспонт?..

Гуревич. Несколько Босфоров.

Доктор. Это вы что же — расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками и табуретками, вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

Гуревич. Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно 670 моих шагов — а по Брокгаузу, это точная ширина Босфора.

Доктор. Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?

Гуревич. Когда как. Другие — чаще... Но я — в отличие от них — без всякого форсу и забубенности. Я — только когда печален...

Доктор. Н-ну, печаль печалью. А на какие средства вы... каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно...

Гуревич. Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов — массовый сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

Зинаида Николаевна. И сколько вам платят?

Гуревич. Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить?» — я бы сказал: «Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни хуя нету».

Доктор (из соображений авантажности). Я понял, что вы больше вольный мореплаватель, а не татарин из хозмага. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

Гуревич (делает то, что предписывают). Я могу сесть?

Доктор. Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно. Вот — одна еще деталь: о том, женаты вы или нет, я не спрашиваю: но есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, та, что сопровождает вас в жизни?

Гуревич. Конечно, есть. Вернее, конечно, была. Когда мы вместе с нею переплывали Гиндукуш... она разбила свою прекрасную голову... о скалы Британского Самоа. В эту минуту (Гуревич почти плачет) ...и вот в эту минуту — судьба выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл — вы рады, что я выплыл?

Доктор. Из Гиндукуша?

Гуревич. Из Гиндукуша. А чего стоит выплыть из Гиндукуша, если прежде человеку покорялись Дарданеллы?

Доктор. Вот-вот. Для нас такой пациент — большая редкость, я рад, что вы не утонули. А вот когда вы плавали — вы брали с собой бутылку?

Гуревич. Еще бы! И какую бронебойную! Уксуснокислого аммония — акулы его не выносят. Как только появляется акула — выливаешь на голову себе и своей подруге немножко уксуснокислого аммония, — и все, акулы кочевряжатся, вконец теряют свои пустые головы, ну... на прощанье лизнут икры моей подруги... но ведь смешно было бы в такой ситуации ревновать... А когда уже дело доходило до Каракорума...

Доктор. А какое сегодня число на дворе? год? месяц?

Гуревич. Какая разница?.. Да и все это для России мелковато — дни, тысячелетья...

Доктор. Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса..?

Гуревич. Вот этим обрадовать вас не могу, не случалось. Но...

Доктор. Что все-таки «но»..?

Гуревич. Да вот я о химерах... Ну для ради чего, например, я изъездил весь свет, пересекал все Куэнь-Луни, взбирался на вершины Кон-Тики, — и узнал из всего этого только одно — что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего сдавать на улице Розы Люксембург!

Доктор. А еще какие странности?

Гуревич. Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий. И чтобы меня — под этими Волопасами — лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается Мордоворот Боренька.

Гуревич (продолжает). Но что мне до Волопасов и Плеяд, когда я стал замечать в себе вот какую странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Это меня подкосило. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным...

Доктор дает знак левым глазом — с тем, чтобы Валентина записывала. Она лениво наклоняет конопатую голову.

Гуревич. ...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести мысли в ясность... И я спросил его шепотом — не потревожить бы кого, — да и кого, собственно, было тревожить, мы же были одни — кроме нас, никого... так вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде, немного... но только и у меня пошли в обратную».

Доктор. Пить вам вредно, Лев Исакыч...

Гуревич. Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас — все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что *потрясенному содеянным,* — сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфиксии.

Доктор. Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с виконтами, графьями, маркизами — не приходилось водку хлебать?..

Гуревич. Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой...

Доктор. Лев?

Гуревич. Да отчего же непременно Лев! Если граф — то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва — и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закусь ничего нет, кроме двух анекдотов о Чапае...

Доктор. И он далеко живет, этот граф Толстой?

Гуревич. Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной...

Доктор. А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называете... бормотухи..?

Гуревич. Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И — неплохо бы — анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали...

Доктор. Анемоны?

Гуревич. Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всем остальном...

Доктор (полномочный тон его переходит в чрезвычайный). Ну, а если с нашей Родиной стрясется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. (Обращаясь к Зинаиде Николаевне). Сколько у нас в России народностей, языков, племен..?

Зинаида Николаевна. А черт их знает... Полтыщи есть, наверняка.

Доктор. Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, больной, в случае *обстоятельств* — перед лицом противника —

какое племя окажется самым надежным? Вы — человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах — и знаете, что они от нас почему-то убегают... И вот — гроза разразилась — в каком вы строю, Лев Исаакович?

Гуревич. Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий Князь Константин Павлович. Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы...

Доктор (в сторону Валентины). Запишите и это.

Гуревич. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда Она скажет: «Лева! Брось пить, вставай и выходи из небытия» — тогда...

Оживление в зале. Стук каблучков справа — и в приемный покой стремительно, но без суеты вплывает медсестра Натали. Глаза занимают почти половину улыбчатой физиономии. Ямка на щеке. Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немыслимой заколкой. Все отдает славянским покоем, кротостью, но и Андалузией — тоже.

Доктор. Вы очень кстати, Наталья Алексеевна (Обычный обмен приветствиями между дамами, и все такое. Натали усаживается рядом с Зинаидой).

Натали. Новичок... Гуревич?! Сколько лет, сколько...

Доктор. Мы уже, по существу, заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей... Осталось выяснить только несколько обстоятельств — и в палату...

Гуревич (одушевленный присутствием Натали, продолжает). Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше... (смех в зале). Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. (Вдохновенно цитирует из Хераскова).

Готовы защищать отечество любезно,
Мы рады с целою вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за *такую* Родину, такую Родину, я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостоин сражаться.

Доктор. Ну, почему же? Мы вас тут подлечим... и...

Гуревич. Ну так что ж, что подлечите?.. Я все равно ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкою гранат или даже без связки...

Зинаида Николаевна. Да без связки-то зачем?

Гуревич. Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего. Мой вам совет: больше читайте... Ну, а уж если не окажется ни одного танка поблизости — тогда хоть амбразура найдется точно. Чья — не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью — и лежу на ней, лежу, пока наш алый стяг не взовьется над Капитолием.

Доктор. Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, их, скоморохов, у нас пруд-пруди. Как вы оцениваете ваше общее состояние? Или вы считаете — серьезно — свой мозг неповрежденным?

Гуревич (пока зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощелкивает пальцами по столу). А вы — свой?

Доктор (желчно). Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

Гуревич. ...Мне трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность... ни-чем-не-взволнованность... ни-к-кому-не-расположенность... И как будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем — уму непостижимо... Как будто ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность, но и ни-на-чем-не-распятость... ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя внутри благодати — и все-таки *совсем не там*... ну... как во чреве мачехи... (аплодисменты).

Доктор. Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас посшибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей наклонности к цинизму и фанфаронству, — уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

Гуревич (чуть взглянув на Натали, оправляющую свой белый халатик).

Мой папа говорил когда-то: «Лев,
Ты подрастешь — и станешь бонвиваном!»

Я им не стал. От юности своей
Стяжал я навык: всем повиноваться,
Кто этого, конечно, стоит. Да,
Я родился в смирительной рубашке. —
А что касается...

Доктор (нахмурясь, прерывает его). Я, по-моему, уже не раз просил вас не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое... Можно ведь говорить и людским языком, без этих... этих...

Зинаида Николаевна (подсказывает). Шекспировских ямбов...

Доктор. Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки...

Гуревич. Хорошо, я больше не буду... вы говорили о нашей медицине, чту ли я ее? Чту — слово слишком нудное, по правде, и... плоскоступное...

Но я — но я влюблен в нее — и это
Без всякого фиглярства и гримас. —
Во все ее подъемы и паденья,
Во все ее потуги врачеванья
И немощей телесных, и душевных,
В ее первéнство во Вселенной, в Разум
Немеркнущий, а — стало быть — и в очи,
И в хвост ее, и в гриву, и в уста,
И в...

В протяжение этой тирады Боренька Мордоворот тихонько, сзади, подходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загривок и волочь.

Доктор. Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дурдоме не умничают... Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда последний раз?

Гуревич. Конечно. Но только — видите ли? — я несколько иначе измеряю время. Само собой, не Фаренгейтами, не тумбочками, не Реомюрами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или... там... летнего солнцеворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот — большинство — не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или

на северо-восток, нам на все наплевать... А микенский царь Агамемнон — так он клал под жертвенный нож свою любимую, младшую дочурку, Ифигению, — и только затем, чтобы ветер был норд-ост, а не какой-нибудь другой...

Доктор (заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным). Да... но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом (Все смеются, кроме Натали.) — так когда же вас последний раз сюда доставляли?

Гуревич. Не помню... не помню точно... И даже ветров... Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Абдаллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом... 84 дня от летнего солнцестояния... Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в тот день случилось событие, которое врезалось в память миллионов: та самая пустая винная посуда, которая до того стоила 12 или 17 копеек — смотря, какая емкость, — так вот, в этот день она вся стала стоить 20.

Доктор (смиряя взглядом прыскающих дам). Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

Гуревич. Да нет, пожалуй... Не припомню... Не было.

Доктор. Вот и память начинает вам изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация... Теперь будет обстоять сложнее. С полгодика вам полежать придется...

Гуревич (вскакивая, и все остальные вскакивают). С полгодика?!

Боренька тренированными руками опускает Гуревича в кресло.

Доктор. А почему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого — на поверхностный взгляд — нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к непроизвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать

лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...

Гуревич (в восторге). Ну, здорово!..

Нет, я все-таки влюблен
И в поступь медицины, и в *триумпы*
Ее широкой поступи — плевок
В глаза всем изумленным континентам.
В самодостаточность ее и в нагловатость
И в хвост ее, опять же, и в...

Доктор (титулованный голос его переходит в вельможный). Об этих... ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. А заодно и все ваши сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы — немножко поэт?

Гуревич. А у вас и от этого лечат?

Доктор. Ну, зачем же так?.. И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

Гуревич. Мартынов, конечно...

Зинаида Николаевна. Леонид Мартынов?

Гуревич. Да нет же, — Николай Мартынов... И Жорж Дантес.

Натали (пользуясь всеобщим оживлением). Так ты, Лева, теперь чешешь под Дантеса?

Гуревич. Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по десятку стихотворений в сутки — и, как правило, штук девять из них были незабываемыми, штук пять-шесть эпохальными, а два-три — бессмертными... А теперь — нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Некрасова. Хотите про соцсоревнование?.. Или нельзя?

Доктор. Ну, почему же нельзя? Соцсоревнование — ведь это...

Гуревич. Я очень коротко. Семь мужиков сходятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, вымпела — и вот мужики заспорили:

Роман сказал: сто семьдесят,
Демьян сказал: сто восемьдесят,
Лука сказал: пятьсот.
Две тысячи сто семьдесят, —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Сто тридцать одна тысяча четыреста четырнадцать.
А Пров сказал: мульён.

Может быть, продолжить?

Доктор (отмахиваясь). Нет-нет, не надо... Борис Анатольевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до 4-й палаты. И немедленно в ванную. (Гуревичу). До... водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

Гуревич. Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня — куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот самый микенский царь Агамемнон, о котором я вам упоминал, — так вот, его, по возвращении из Пергама, в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Мара...

Зинаида Николаевна (не слушая его, обращаясь к доктору). А почему все-таки в 4-ю? Там одни вонючие охломоны... Там он зачахнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в 3-ю. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат...

Доктор. «Суицидальные мысли», вы говорите... (к Гуревичу). Еще вам последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя... или кого-нибудь из своих ближних?.. Потому что 4-я палата это не 3-я, и нам приходится подчас держать ухо востро...

Гуревич. Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека *туда* — мне было тогда лет... не помню, сколько лет, очень мало, но это все случилось дня за три до новолуния... так мне был тогда больше всего неприязнен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного воздействия. Я влил все это дядюшке в куриный бульон — и что ж вы думаете? — ровно через 26 лет он издох в страшных мучениях...

Доктор. Мм-дда... Шут с ним, с вашим дядюшкой... А на себя самого — ни разу в жизни не было влечения наложить руки?..

Гуревич. Случалось, и только позавчера, во время Потопа...

Доктор. Всемирного?..

Гуревич. Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными...

Доктор. А какие черти занесли вас в Орехово-Зуево?! Татарина из московского хозмага?..

Гуревич.

О, грустно быть татарином — до гроба!
Пришлось подзарабатывать в глуши:
И конформистом, и нонконформистом,
И узурпатором. Антропофагом,
На должности японского шпиона
При институте Вечной Мерзлоты...

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас, никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот — не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота, — вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили... Но потом — какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...

Доктор, охватив голову, дает понять Борису и Натали, чтоб больного поскорее отвели в палату.

Гуревич. Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим горлом, — вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, зага-

дал мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок. И вот — я у вас. (Приподымается с кресла, ему подчеркнуто учтиво помогает Мордоворот). И с того дня — мешанина в голове... нахт унд нэбель... все путается, теленки, поросенки, Мамаев курган, Малахов курган...

НАТАЛИ. У тебя не кружится голова, Лев? Иди тихонько, тихонько. (Натали ведет его под левую руку, Боренька под правую.) Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель.

ГУРЕВИЧ (покорно идет). Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы... Генри Форд и Эрнест Резерфорд... Рембрандт и Вилли Брандт...

ДОКТОР (вслед им). В 3-ю палату. Глюкоза, пирацетам.

ГУРЕВИЧ (удаляется с сопровождающими, и голос его все приглушеннее). Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэррол... Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... (уже едва слышно)... Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робинзон Крузо...

ЗАНАВЕС

Второй акт

Ему предшествуют до поднятия занавеса — пять минут тяжелой и нехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит 3-ю палату, с зарешеченными окнами, и арочный вход в смежную, 2-ю палату. Чтобы избежать междупалатной диффузии, обмена информацией и пр. — арочный переход занят раскладушкою, на ней лежит Витя, с непомерным животом, который он, чему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей и застенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу-слева вверх-направо, по палате мечется просветленный Стасик. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе — с рукой, например, отдающей пионерский салют, — и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает, на сколько.

Сережа Клейнмихель, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В волосах и в лишайнике, со странным искривлением губ. На соседней койке Коля и кроткий старичок Вова держат друг друга за руку и покуда молчат. Коля то и дело пускает слюну, Вова ему ее утирает. Пока еще лежит, с головой накрытый простыней, в ожидании *трибунала*, комсорг палаты Пашка

Еремин. На койке справа — Хохуля, не подымающий век, сексуальный мистик и сатанист. Но самое главное, конечно, — в центре: неутомимый староста 3-й палаты, самодержавный и прыщавый Прохоров и его оруженосец Алеха, по прозвищу Диссидент, — вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу контр-адмирала Михалыча.

Прохоров. Если б ты, Михалыч, был просто змея — тогда еще ничего: ну, змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея — черная мамба! — от ее укуса человек издыхает за 30 секунд *до ее укуса*! На середку, падла!..

Толстый оруженосец Алеха полотенцем скручивает руки за спиной контр-адмиралу. Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощады.

Прохоров. Как тебе повезло, засранец, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал КГБ? Может, ты все-таки боцман КГБ, а не контр-адмирал?

Алеха. Мичман он, мичман, я по харе вижу, что мичман!..

Прохоров. Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного... Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера?.. Результат налицо — Херсонес и Ковентри в руинах... Удивляет только изощренность этой акции: от всех его напалмов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные... — а все остальные — как будто этот хуй над ними и не пролетал!.. Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех вдов — к тебе вопиют! Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот душегуб был схвачен с поличным, за продажею на Преображенском рынке наших Курил?

Алеха. Позавчера.

Михалыч (мычит). Неправда это все, позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой...

Прохоров. Это ничего не значит. Сумел же ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты, осуществлять электронный шпионаж за бассейном Ледовитого Океана! Мате-

риалы предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница сто семь материалов предварительного следствия, — мог бы ты солгать?

Михалыч. Ни... никогда.

Прохоров. Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почем? Так почем нынче Курильские острова? Итуруп — за бутылку андроповки и в рассрочку? Кунашир — почти совсем за просто так... А может быть, эти дельцы от политики — за все это просто подкидывали тебе пиздянки?..

Михалыч напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать.

Прохоров. Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно — нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...

Стасик (фланируя мимо, как обычно). Да. За такие вещи по таким головкам не гладят. Я предлагаю: снять с него штаны и пальнуть из мортиры...

Прохоров. Стоп. Я еще не все сказал. У этого пса-мичмана было еще вот какое намерение, поскольку продавать ему было уже нечего — он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь, и совесть нашей эпохи, — он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот наш двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхеттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтоб накинуть нужную цену, — этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним — балет. А когда тот привел его в балет... (Всеобщий гул осуждения). Гриша! Комсорг! (Комсорг Пашка Еремин откликается только тогда, когда его называют Гришей). Сбрось с себя простыню, не бойсь, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!..

Пашка Еремин. Да очень просто: почему этого удава наша Держава должна еще бесплатно лечить? *Его надо убивать вниз головой!..*

Коля. Да, так поступали восточные деспоты со всеми агарянами: они запрокидывали им головы и заливали глотку расплавленным свинцом... или холодным вермутом.

Стасик. Нет, лучше все-таки стрельнуть в него из арбалета...

Коля. Из аркебузы... с расстояния в два с половиной поприща...

Стасик. Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и немножко аксельбантов...

Алеха. Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси... По-моему, отдать этого изверга на съедение Витеньке!..

Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает отвергающее движение розовой своей головою.

Прохоров. Молись, Михалыч! В последний раз молись, адмирал!

Михалыч (уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое). За Москву-мать не страшно умирать, Москва — всем столицам голова, в Кремле побывать — ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР — всему миру пример, Москва — Родины украшение, врагам устрашение...

Прохоров. Так-так-так-так...

Михалыч (трясясь, продолжает, и все так же некстати). Кто в Москве не бывал — красоты не видал, за коммунистами пойдешь — дорогу в жизни найдешь. Советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов...

Прохоров. Довольно, мичман!.. блестящий молитвослов... По-моему, никаких арбалетов не нужно, а просто растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы... Только — для чего в нашем отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нельзя. Лучше — под трибунал!.. Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля, — много в нашем отделении протоплазмы?

Коля. Очень много... я уже не могу...

Прохоров. Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель, *антинародный герой*, ветеран трех контрре-

люций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь... Но все его бормотания и молитвы — это привычное кривляние наших извечных недругов. Это *извечное* кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. (Прохоров вдохновенно прохаживается). Такие вот антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем в такие суровые времена, когда слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутют. Трибунал. Именем народа, боцман Михалыч, ядерный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России — разом! (Почти всеобщие аплодисменты). А пока — за неимением инвентаря — потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово.

Алеха и Пашка опрокидывают адмирала в постель и — простынями и полотенцами — прикручивают так, чтоб тот не мог шевельнуть ни одним своим суставом и членом.

Люси (врывается в палату, привлеченная кряхтением палачей и оглушительным рычанием жертвы). Что здесь происходит, мальчики?.. Оставьте его в покое... Что ни день у вас — то суд и расправа. Где тут лишняя койка? (Открывает шкаф и вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас). Скоро — обход. Ти-ши-на!..

Алеха (тихо берет за плечи крохотулю Люси и, выпятив одновременно пузо и глаза-фурункулы, выделывает вокруг нее томные танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув головою).

Мне долго-долго будет сниться
Моя веселая больница,
А еще дольше будет сниться
Твоя шальная поясница.

Прохоров. Алеха! Припев!

Алеха.

Алеха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!

Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум! (по животу)
Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум!
Отстегнула все застежки,
Распахнула все одежды,
И едва дыханье жизни
Из ноздрей не улетело.
В трюме мичман обоссался,
Боцман палубу грызет!
Хо-хо-хо-хо!

Прохоров. Припев, Алеха!
Алеха.
Аль-лехха жарит на гитаре,
Но у него не выйдет ничего!
Пум! пум! пум! пум!
Да ну и пусть он жарит на гитаре —
Ведь все равно не выйдет ничего!
А я... (осклабляясь) А я... —
Обязательно,
Обязательно...

Привычно фыркая, Люси ускользает к дверям. И наталкивается на входящего в палату Гуревича, в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице не заметно следов побоя — но общая побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Боренька, санпропускник...

Люси. Ой, новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...
Гуревич (яростно). Сам! *Сам*! Провались, девка!..

Люси исчезает. Пение на время прерывается. Гуревич комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый Витя с аппетитом смотрит на него, поглаживает живот все любовнее и облизываясь, иногда отворачиваясь в подушку, чтоб подавить в себе смешок, ему одному ведомый. Гуревич с полминуты его разглядывает, ему стано-

вится не совсем вмоготу, — он смотрит на соседа слева: оплетенный со всех сторон контр-адмирал все чаще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним наклонен Стасик.

Стасик. Сейчас по всему миру все могильщики социализма — все исповедуются и причащаются... А ты почему, дедушка, не хочешь?..

Прохоров (подступая. Следом за ним — Алеха-Диссидент, как Елисей за Илиею. К Стасику). Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком...

Стасик. Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления... Вы плохо знакомы с Востоком... Ты погружаешься в воды, ну... или тебя погружают, но ты ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало, — тебя омывают, следовательно ты есть... Когда купается наложница китайского императора в Бассейне Сплетающихся Орхидей — он так и называется: бассейн сплетающихся орхидей, — так в него добавляют 12 эссенций и 17 ароматов...

Коля (подступая сзади). ...Но кто после этого облекается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения, — тот не достоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!

Прохоров. Шел бы ты под хуй со своими дхармами!.. Человеку только что в ванной навешали пиздюлей! при чем тут дхармы? Продолжай, Стас...

Стасик И вот я перехожу из ванной с орхидеями, минуя залы дхарм (взгляд в сторону паршивца Коли) — перехожу из бассейна в зал Благовоний, а из зала Благовоний — в зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая — пасторальная вся, в венце из одуванчиков, конечно, а уж на третью я и не смотрю. Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь ни к одной из услад, я перешагиваю через третью, патетическую, даму — и ухожу из зала Песнопений — в манговую рощу. 80 тысяч гималайских слонов следуют за мною, они говорят мне о тщетности печали...

Прохоров. Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут — уябывай в свои манговые рощи, дай поговорить с евреем... Ты по какому делу и как звать?

Гуревич. Гуревич.

Прохоров. Я так и думал, что Гуревич.. А — случайно — не по этому..? (Делает известный по горлу щелчок.)

Гуревич. Ну... в том числе...

Прохоров. Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят выпить... в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей — спокойствия как не бывало, и начинается гибельный *сужет*. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо. Как их там? косулей — невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел рододендрон. И вот в деревню эту приехал лекарь, по имени Густав... Ну уж не знаю, насколько он был Густав, но жид — это точно. И что же из этого вышло? — не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава — зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься об них, по ним скользишь и падаешь... Так исчезли для начала все зайцы, потом косули — нет, он в них не стрелял, они пропали сами собой. (Алехе): Позови старичка Вову.

Вова подходит. Взглянув сначала на Витю, потом на контр-адмирала, подрагивая, ждет подвоха.

Прохоров. Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда — жид, сидит и на тебя смотрит..?

Вова. Нет, я не могу себе представить... что вот расту и...

Прохоров. Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова: ты — белая лебедь и сидишь на берегу пруда — а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя...

Вова. Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу представить, что я стая белых лебедей...

Прохоров. Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда, — а напротив...

Вова. Ну, я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...

Прохоров. Алеха, уведи Вовочку... Вот видишь, Гуревич?

Гуревич (с трудом улыбается). Ну, ладно. (С тревогой взглядывает в сторону Вити, потом наблюдает, как сосед адмирал делает вздорные попытки вырваться из пут). А этого за что?

Прохоров. Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ниче-

го, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности, — так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, — весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз — а этаж все-таки четвертый — и так держал, пока он не отрекся от своих еретических доктрин... Сегодня он, решением Бога и Народа, приговорен к вышке... Я не очень верю, что вначале было Слово, но хоть какое-то задрипанное — оно должно быть в конце, так что пусть этот пиздобол лежит и размышляет...

Гуревич. А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями... э-э-э... в одной только этой палате или..?

Прохоров. Да конечно, нет! Все, что по ту сторону Вити (оба взглядывают туда, Гуревич отворачивается), — это все мои подмандатные территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутрипалатным, да еще уголовным к тому же. *Гриша*!!! Сними с себя простыню! Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное — членовредительство в семействе Клейнмихель!

Сережа Клейнмихель (заслыша свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова). Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте... все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете...

Гуревич. Так она не кричала, что ли?.. Ведь этого быть не может!..

Сережа. Так ведь как бы она кричала, если в это время крестная ушла за бубликами...

Гуревич. М-да-а... в самом деле... Крестная ушла за бубликами — какой смысл кричать?

Стасик (как всегда проходя мимо). У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи-не кричи — ни до кого не докричишься...

Сережа. Да нет же... При чем тут бублики?.. Ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а уж потом...

Прохоров. До завтра, до завтра все это. До завтра, Сережа, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич; как видишь, у нас случаются мелкие бытовые несообразности. А так — у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таб-

летки, потом пинка под жопу — и катись. У нас даже цветной телевизор есть. Кенар с канарейкой. Они только сегодня помалкивают — поскольку завтра Первомай. А так — поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, — а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а Гуревич? А вон там, повыше, с самого верху — попугай, родом, говорят, из Хиндустана... А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, — вот ты увидишь, — он начинает, не гнусаво, не металлично, а как-то еще в тыщу раз попугаёвее: «Влади-мир Сергеич!.. Влади-мир Сергеич! на работу — на работу — на работу — на хуй — на хуй — на хуй — на хуй!» А потом — потом чуток помолчит, для куражу, и снова: «Влади-мир Сергеич! Влади-мир Сергеич! На работу, на работу, (все учащеннее) на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...» И все это ровно в шесть тридцать, можно даже не справляться по курантам и рубиновым звездам... А вот от шашек и домино ничего не осталось — все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть, Хохуля спрятал ее под подушку и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три — небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то прострацию, глохнет и становится сексуальным мистиком... А Витя тем временем берется за шахматы...

Гуревич рассматривает: на тумбочке в центре палаты лежит пустая шахматная доска, и на ней — белый ферзь.

Стасик (подскакивая). И ведь все умял! почему только жалеет до сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и тайм-аут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту...

Прохоров. Вот что, Витя (присаживается к Вите на постель). Витя, ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь со мной доктор из *центра* (показывает на Гуревича). О! Это *такой* доктор! (палец вверх). Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь? Тебе не хватает фуражу-провианту?..

Витя (не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается рукавом). Вкусно...

Прохоров. А белого ферзя почему пожалел? а?

Витя. Жалко... Он такой одинокий...

Прохоров. Понимаю... А скажи мне, Витенька, — тебе и во сне одна только жратва снится?..

Витя. Нет, нет... Царевна...

Прохоров. Царевна?.. Мертвая?

Витя. Да нет, живая царевна... И вся из себя такая и с голубым бантиком. Как Золушка... а вокруг нее все принц ходит... и все бьет ее по голове хрустальным башмачком...

Прохоров. А ты бы съел ...этот хрустальный башмачок? (показывает). Чав-чав!

Стасик. Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Нина Чав-чав-адзе...

Витя. А башмачок съел бы... чтоб он только ее не бил.

Гуревич. Ну, а если уж царевна мертвая, ну, то есть, он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

Витя (улыбается). Да...

Гуревич. А если бы семь богатырей при ней — то как же?

Витя. И семь богатырей бы тоже...

Гуревич. Ну, а тридцать три богатыря..?

Витя. Да... если бы медсестрички не торопили... конечно...

Гуревич. А... послушай-ка... А двадцать восемь героев-панфиловцев?

Витя (с тою же беззаботной и страшной улыбкой). Да... (мечтает).

Гуревич (упорно). А... Двадцать шесть бакинских комиссаров — неужели тоже?..

Прохоров (врывается в беседу). Ну, все: завтра мы тебе и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От адмирала ты отказался — я тебя понимаю. Адмиралы — они хрустят на зубах, а вот настоящие комсорги — никогда не хрустят... Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда... скажи... Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

Сережа. Нет, не замечал... И мама моя покойная в тот день мне моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой — будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал, — нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того *водку пьянствовал* и *дисциплину хулиганил*... И запрещал мне *форточку проветривать*, чтоб в доме мамой не пахло...

Стасик (проходя мимо, как всегда). Приятно все-таки жить в эпоху всеобщего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, — это еще ладно. И то, что лишили дынь, — чепуха, можно прожить и без дынь. И плебисцитов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...

Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери 3-й палаты, и на пороге — медбрат Боренька и медсестра Тамарочка. Оба они не смотрят на больных, а *харкают* в них глазами. Оба понимают, что одним своим появлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь — которой много и без того.

Прохоров. Встать! Всем встать! Обход!

Все медленно встают, кроме Хохули, старичка Вовы и Гуревича.

Боря-Мордоворот (у него из-под халата — ухоженный шоколадный костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличии его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой медбрат в Первомайскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек»). Так тебе, блядина, значит, не хватает каких-то там желез?..

Тамара. Не бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.

Боря, играя, молниеносно бьет Стасика в поддых, тот в корчах опускается на пол.

Тамара (указывая пальцем на Вову). А этот засратый сморчок — почему не встает, *вопреки приказу*?

Боря. А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы?

Вова. Нет... на здоровье жалоб никаких... Только я домой очень хочу... Там сейчас медуницы цветут... конец апреля... Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними...

Боря (поправляя галстук). Ннну... я житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

Вова. Ну, как сказать?.. синенькие они, лазоревые... ну, как в конце апреля небо после заката...

Медбрат Боря под смех Тамарочки — ногтями впивается в кончик Вовиного носа и делает несколько вращательных движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы. Вова плачет.

Боря (продолжает обход). Как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович, с веселым инструментом, придется немножко покорячиться... А тебе что, Коленька?

Коля. У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому что мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я давно уже не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат и держат...

Тамарочка (тем временем, привлеченная зрелищем справа: Сережа Клейнмихель, отвернувшись к окошку, тихонько молится). А! Ты опять за свое, припизднутый! (Раздувая сизые щеки, направляется к нему). Сколько раз тебя можно учить! Сначала — к правому плечу, а уж потом — к левому. Вот, смотри! (Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потам — с размаху — в правое плечо, потом в левое, потом под ребра). Повторить еще раз? (Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удальством). Говно на лопате! еще раз увижу, что крестишься, — утоплю в помойном ведре!..

Боря. Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда. (Отшвырнув Колю, движется в сторону адмирала, Вити и Гуревича. За ним — свита: староста Прохоров, Алеха-Диссидент и Тамарочка).

Прохоров. Товарищ контр-адмирал, как видите, не может стать перед вами во фрунт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

Боря. Понятно, понятно... (Краем глаза скользнув по Гуревичу, вдумчиво грызущему ногти, — проходит к Вите. Витя, с розовой улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный как гран-пасьянс).

Тамарочка. Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце... (Широкой ладонью, с маху, шлепает Витю по животу. У Вити исчезает улыбка). Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюнчик?

Витя. Больно...

Боря (хохочет вместе с Тамарочкой). А остальным нашим уважаемым пациентам — разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой — а почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их интеллектуальных

развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся, сегодня же...

ТАМАРОЧКА. ...сегодня же, когда пойдешь насчет посрать, — чтобы все настольные игры были на месте. Иначе — придется начинать вскрытие. А ты сам знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы...

Прохоров между тем, с тревогой следит за Алехой-Диссидентом. Но об этом чуть пониже.

БОРЯ (расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Гуревичем). Встать.

ТАМАРОЧКА. А почему у этого жиденка до сих пор постель не убрата?..

БОРЯ (все так же негромко). Встать. (Гуревич остается погруженным в себя самого. Всеобщая тишина).

БОРЯ (одним пальчиком приподымая подбородок Гуревича). *Встать!!!*

Гуревич тихонько подымается и — врасплох для всех — с коротким выкриком — вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, если не принимать в расчет Тамарочкина взвизга. Боренька, не изменившись ни в чем, хладнокровно, хватает Гуревича, подымает его в воздух и со всею силою обрушивает об пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати.

Потом — два-три пинка в район печенки, просто из пижонства.

БОРЯ (к Тамарочке). Больному приготовить сульфу, укол буду делать сам.

ПРОХОРОВ. Что ж поделаешь, Борис... Новичок... Бред правдоискательства, чувство ложно понятой чести и прочие атавизмы...

БОРЯ. А тебе бы лучше помолчать. Жопа.

Люди в белых халатах удаляются.

ПРОХОРОВ. Алеха!

АЛЁХА. Да, я тут.

ПРОХОРОВ. Первую помощь всем пострадавшим от налета!.. Стасик, подымайся, ничего страшного, они упиздюхали. Ничего *экстра*ординарного. Все лучшее — еще впереди. Сначала — к Гуревичу...

Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обсаживают.

ПРОХОРОВ. Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда — *жить* они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают... это точно. (Шепотом). Гу-ре-вич...

ГУРЕВИЧ (немного стонет и говорит трудно). Ничего... не ухайдакают... Я тоже... готовлю им... подарок...

ПРОХОРОВ (в восторге от того, что Гуревич жив и мобилен). Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала *они* тебе его сделают, минут через пять... Рассмешить тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пытки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Ты знаешь, как он стал диссидентом? Сейчас расскажу. Ты ведь знаешь: в каждом российском селении есть придурок... Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной Конституции... Так вот: Алеха в Павлово-Посаде ходил в таких *задвинутых*. На вокзальной площади что-нибудь подметет, поможет погрузить... но была в нем пламенная страсть, и до сих пор осталась... Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма, — ему стоит только взглянуть на мордася — и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и *галстух*. И что он делал? — он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю — издали — и — вот то, что надо, уже висит на галстуке. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординации... Два месяца назад его приволокли сюда.

ГУРЕВИЧ. Чудесно... Сколько я приглядывался к нации... чего она хочет... именно такие сейчас ей нужны... без всех остальных... она обойдется...

ПРОХОРОВ. А четкость! четкость, Гуревич! Великий Леонардо, ходят слухи, был не дурак по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

АЛЕХА. Я все время тут.

ПРОХОРОВ. Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дело в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчат-

ки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... итальяшек всяких...

Алеха. Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского... и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток...

Прохоров (пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича перед пыткою). Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что, во-первых, надо выдирать с корнем — а уж потом выдерется с тем же поганым корнем и все остальное, — надо менять наши улицы и площадя: ну, посудите сами, у них Мост Любовных Вздохов, переулок Святой Женевьевы, Бульвар Неясного Томления и все такое... а у нас — ну, перечислите улицы своей округи, — душа зачахнет. Для начала надо так: Столичная — посередке, конечно. Параллельно — Юбилейная, в бюстиках и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская, Степная, Старорусская, Полынная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленый — какая разница? — а у их подножия — отели: «Бенедиктин», «Шартрез» — высятся вдоль набережной — а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы — на облака и на кавалеров. А все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнув пыль...

Снова распахиваются двери палаты. Старший врач больницы Игорь Львович Ранинсон. За ним — медбрат Боря, со шприцем в руке. Шприц никого не удивляет — все рассматривают диковинный чемодан в руках Ранинсона.

Боря. Вон туда (показывает Ранинсону в сторону Хохули. Ранинсон — непроницаем. Хохуля — тоже. Ранинсон, раскладывая свой ящик с электрошнурами, брезгливо осматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит на доктора, у него своих мыслей довольно.)

Боря (приближаясь к постели Гуревича). Ну-с... Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодицу.

Гуревич. Я... сссам (со стоном переворачивается на живот, Алеха и Прохоров ему помогают).

Боря (без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилия, стоит с вертикально поднятым шприцем, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол). Накройте его.

Прохоров. Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю...

Боря. Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко — пусть гуляет, дышит... Если сумеет шевельнуть хоть одной левой... Гуревич! Если ты вечером не загнешься от сульфазина, — прошу пожаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексеевна, сама будет стол сервировать... Ну, как?

Гуревич (с большим трудом). Я... буду...

Боря (хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем на ноздре к нему приближается диссидент Алеха). А мы сегодня — гостеприимны... Я — в особенности. Угостим тебя по-свойски, инкрустируем тебя самоцветами...

Гуревич. Я же... я же... сказал, что буду... Приду...

Алеха, действительно со знанием дела, выстреливает правой ноздрей. Палата оглушается криком, никем в палате пока еще не слыханным: дело в том, что доктор Ранинсон сделал свое высоковольтное дело с бедолагой Хохулей.

Боря (хватая за горло диссидента Алеху). А с тобой — с тобой потом... Знаешь, что, Алешенька, — Игорь Львович здесь... Как только он уйдет — мы с тобой отсморкаемся, хорошо? (Носовым платком оттирает галстук).

Ранинсон (проходя через палату с диавольским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме прохоровской и Алехиной, лежит печать вечности — но вовсе не той Вечности, которой мы все ожидаем). С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные. Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны. (Уходят).

Прохоров (как только скрываются, белые халаты, повисает на шее Алехи-Диссидента). Алеха! Да ты же — гиперборей! Алкивиад! смарагд! Да ты же Мюрат, на белом коне вступающий на Арбат! Ты Фарабундо Марти! Нет, русский народ не скудеет подвижниками, и никогда не оскудеет! Судите сами: не успел окачуриться яснополянский граф — пожалуйста, уже в пеленках лежит товарищ Коккинаки... и уже воскрылия у него за плечами! В 21-м году отдает концы Александр Блок, — ничего не поделаешь, все мы смертны, даже

Блок, — и что же? Ровно через полтора года рождается Космодемьянская Зоя!.. Бессмертная!..

Гуревич (одобрительно приподымается на локте). Совершенно верно, староста.

Алеха (окрыленный). Надо было и в Игоря Львовича пальнуть чуток...

Прохоров. Ну ты, витязь, даешь..! Вот это было бы излишне... Не будем усложнять *сужет* происходящей драмы... мелкими побочными интригами... Правильно я говорю, Гуревич?.. Человечество больше не нуждается в дюдюктивностях, человечеству дурно от острых фабул...

Гуревич. Еще как дурно... Да еще — зачем затевать эти фабулы с *ними*? Ведь... их же, в сущности, нет... Мы же психи... а эти, фантасмагории в белом, являются нам временами... Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются... ну, исчезают... ставят из себя полнокровных жизнелюбцев...

Прохоров. Верно, верно, и Боря с Тамарочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей *всамделишности*... что они вовсе не наши химеры и бреды, — а взаправдашние...

Гуревич. Поди-ка ко мне. Прохоров... к вопросу о химерах... Вот это вот (показывая на укол) — это долго будет болеть?

Прохоров. Болеть? ха-ха. «Болеть» — не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-четыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется. Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские песенки товарища Раухвергера... или там Оскара Фельцмана, Френкеля, Льва Книппера и Даниила Покрасса... короче, все, что на слова Симеона Лазаревича Шульмана, Инны Гофф и Соломона Фогельсона...

Гуревич. Прохоров... умоляю...

Прохоров. И не умоляй, Гуревич... Мы с Алехой на руках оттащим тебя к цветному телевизору. Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Хейфиц и Ромм, Эрмлер, Столпер и Файнциммер. Суламифь Моисеевна Цыбульник. Одним словом, боли в тазобедренном суставе у тебя поубавятся. А если не поубавятся — к твоим услугам Волькенштейн, Кригер, Гребнер, Крепс — всем хорош парень, но зачем он начал работать в соавторстве с Гендельштейном?..

Гуревич. А скажи, Прохоров, есть какое-нибудь от этого укола «сульфы» в самом деле облегчающее средство? Кроме Файнциммера и Суламифи Моисеевны Цыбульник?

Прохоров. Ничего нет проще. Хороший стопарь водяры. А чистый спирт — и того лучше... (шепчет на ухо Гуревичу нечто).

Гуревич. И это — точно?

Прохоров. Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэль-ами, Бореньке-Мордовороту...

Гуревич (цепенеет, пробует встать). Вот оно что... (и снова цепенеет от такой неслыханности). У меня есть мысль.

Прохоров. Я догадываюсь, что это за мысль.

Гуревич. Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь... Я их *взорву* сегодня ночью!

За дверью голос медсестрички Люси: «Мальчики, на укольчики! Мальчики, в процедурный кабинет, на укольчики!» В 3-й палате никто не внемлет. Один только Гуревич делает пробные шаги.

Гуревич (еще шепчет что-то Прохорову. Потом).

Так я вернусь. Минут через пятнадцать,
Увенчанный или увечный. Все равно.

Прохоров. Браво! да ты поэт, Гуревич!

Гуревич.

Еще бы! пожелай удачи... Буду
Иль на щите и с фонарем под глазом,
*фьо*летовым, но... но всего скорей,
И со щитом. И — и без фонарей.

ЗАНАВЕС

Третий акт

Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Натали, сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете — его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы — молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда — исключительно Тамарочкин. И голос — примерно такой: «Ну, сколько я давала тебе в жопу уколов! — а ты все дурак и дурак!.. Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! уж не пизди маманя!.. А ты — чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так подохнешь! без всякого аспирина. Кому ты вообще нужен, разъебай?.. Следующий!..»

Натали настолько с этим свыклась, что и не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках. Стук в дверь.

Гуревич (устало). Натали?..
Натали.
Я так и знала, ты придешь, Гуревич.
Но — что с тобой?..
Гуревич.
Немножечко побит.
Но — снова Тасс у ног Элеоноры!..

Натали.
А почему хромает этот Тасс?

Гуревич.
Неужто непонятно?.. Твой болван
Мордоворот совсем и не забыл...
Как только ты вошла в покой приемный,
Я сразу ведь заметил, что он сразу
Заметил, что...

Натали.
Какой болван? Какой Мордоворот?
Причем тут Борька? Что тебе сказали?
Как много можно наплести придурку
Всего за два часа!.. Гуревич, милый,
Иди сюда, дурашка...

И наконец, объятие. С оглядкой на входную дверь.

Натали.
Ты сколько лет здесь не был, охломон?

Гуревич.
Ты знаешь ведь, как измеряют время
И я, и мне чумоподобные... (нежно)
Наталья...

Натали.
Ну, что, глупыш?.. Тебя и не узнать.
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

Гуревич.
Да нет же... так... слегка... по временам...

Натали.

А ручки, Лева, отчего дрожат?

Гуревич.

О милая, как ты не понимаешь?!
Рука дрожит — и пусть ее дрожит.
При чем же здесь водяра? Дрожь в руках
Бывает от бездомности души (тычет себя в грудь),
От вдохновенности, недоеданья, гнева
От утомленья сердца, от предчувствий,
От гибельных страстей, *алканной* встречи

(Натали чуть улыбается)

И от любви к отчизне, наконец.
Да нет, не «наконец»! Всего важнее —
Присутствие такого божества,
Где ямочка, и бюст, и...

Натали (закрывает ему рот ладошкой). Ну, понес, балаболка, понес... Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью... Ты же весь иссох, почернел...

Гуревич. Не по тебе ли, Натали?

Натали. Ха-ха! Так я тебе и поверила. (Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкап. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами. Гуревич, кусая ногти по обыкновению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Натали.)

Гуревич. Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое... Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше треволнуют. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты — чистая, как прибыль. Как роса
На лепестках чего-то там такого.
Как...

Натали. Помолчал бы уж... (подходит к нему со шприцем). Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь.

Начинает процедуру, глюкоза потихоньку вливается. Она и он смотрят друг на дружку.

Голос Тамарочки (по ту сторону ширмы). Ну чего, чего ты орешь, как резаный? Перед тобой колола человека, — так ему хоть бы хуй по деревне... Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? Заебешься пыль глотать, братишка... Ты! хуй неумытый! Видел у пищеблока кучу отходов? так вот завтра мы таких умников, как ты, закопаем туда и вывезем на грузовиках... Следующий!

Натали. Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

Гуревич. Так я так и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамар — до этой вот Тамарочки. От Франсиско Гойи — до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря — к Цезарю Кюи, а от него уж совсем — к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко — до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? — если от Иммануила Канта — до «Слепого музыканта». А от Витуса Беринга — к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида — к Давиду Тухманову. А от...

Натали (на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то). А ты-то, Лев, ты — лучше прежних Львов? Как ты считаешь?..

Гуревич. Не лучше, но *иначе* прежних Львов. Со мной была история — вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали — Бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта — да еще бы, при таком-то морозе! А у меня вот — нет. И они это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз выдохни!» Я выдохнул — опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

Натали (прыскает). И сообщили?

Гуревич. Еще как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар..?» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я — сказал: «Отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня

есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле». И меня повезли...

Натали. Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они что-нибудь поняли?..

Гуревич. Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: «Вы Гуревич?» — «Да, — говорю, — Гуревич.

Я здесь по подозренью в суперменстве.
Вы правы до каких-то степеней:
Да, да. Сверхчеловек я, и ничто
Сверхчеловеческое мне не чуждо.
Как Бонапарт, я не умею плавать,
Я не расчесываюсь, как Бетховен,
И языков не знаю, как Чапай.
Я малопродуктивен, как Веспуччи
Или Коперник: сорок-сорок восемь
Страниц за весь свой агромадный век.
Я, как святой Антоний Падуанский,
По месяцам не мою ног. И не стригу
Ногтей, как Гельдерлин, поэт германский.
По нескольку недель — да нет же — лет
Рубашек не меняю, как вот эта
Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,
Жена Альбрехта Австрийского. Но
Она то совершала по обету:
До полного Ост-Индского триумфа.
И я не стану переодеваться
И тоже по обету: не напялю
Ни рубашонки до тех пор, пока
Последний антибольшевик на Запад
Не умыльнет и не очистит воздух!
Итак, сродни я всем великим. Но,
В отличье от Филиппа номер два
Гишпанского, — чесоткой не владею.
Да, это правда. (Со вздохом.) Но имею вшей,
Которыми в достатке оделен был
Корнелий Сулла, повелитель Рима.
Могу я быть свободен?..»

«Можете, — мне сказали, — конечно, можете. Сейчас мы вас отвезем домой на собственной машине...» И привезли сюда.

Натали. А как же шпиль горкома комсомола?

Гуревич. Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там, в приемной, не было так грустно.

Натали. Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только — тссс!

Гуревич.

О Натали! Всем существом взыскую!
Для воскрешенья. Не для куражу.

Пока Натали что-то наливает и разбавляет водой из-под крана, из-за ширмы продолжается: «Перебзди, приятель, ничего страшного!.. Будь мужчиной, пиздюк малосольный!.. Следующий!.. А штанов-то, штанов сколько на себя нацепил! ведь все мудя сопреют и отвалятся!.. Давай-давай! А ты — отъебись, не мешай работать... Следующий... Ничего, старина, у тебя все идет на поправку, походишь вот так, враскорячку, еще недельки две и — хуй на ны! — от нас до морга всего триста метров!.. Следующий!..» Натали подносит стакан. Гуревич медленно тянет — потом благодарно приникает губами к руке Натали.

Гуревич.

Она имеет грубую психею.
Так Гераклит Эфесский говорил.

Натали. Это ты о ком?

Гуревич. Да я все об этой Тамарочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принси́пы? Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, — русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел»... А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит — мужик не перекрестится», вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет...» Или помнишь? — «Любви все возрасты покорны». А теперь всего-навсего: «Хуй ровесников не ищет». Хо-хо. Или, вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст — не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля — сто кило́метров не крюк». (Натали смеется.) А это вот — еще чище. Старая русская пословица: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться» — она преобразилась вот каким манером: «Не ссы в компот — там повар ноги моет».

Натали смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тамарочки.

Тамарочка. Ого! Что ни день, то новый кавалер у Натальи Алексеевны! А сегодня — краше всех прежних. И жидяра, и псих — два угодья в нем.

Натали (смиряя бунтующего Гуревича, — строго к Тамарочке). После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела...

Тамарочка скрывается и там возобновляется все прежнее: «Как же! Снотворного ему подай — получишь ты от хуя уши... Перестань дрожать! и попробуй только пискни, разъебай!..» И пр.

Натали. Лева, милый, успокойся (целует его, целует) — еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И уж — Боже упаси — ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только плач... Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

Гуревич. Хо! Бывало время — я этим зарабатывал на жизнь.

Натали. Слезами зарабатывал на жизнь? Ничего не понимаю.

Гуревич. А очень даже просто. В студенческие годы, например... — он, не могу, опять приступаю к ямбам.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?
Совсем ни от чего. А по заказу.
Все вызнали, что *это* я могу.
Мне скажут, например: «Реви, Гуревич! —
Среди вакхических и прочих дел:
Реви, Гуревич, в тридцать три ручья».
И я реву. А за ручей — полтинник.
И ты — ты понимаешь, Натали? —
В любой момент! По всякому заказу!
И слезы — подлинные! И с надрывом.
Я, громкий отрок, не подозревал,
Что есть людское, жидовскóе горе.
И горе титаническое. Так что
Об остальных слезах — не говорю...

Натали. И знаешь, что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай — с врачами особенно — сочтут за из-

девательство над ними. Начнут лечение сульфазином или чем-нибудь еще похлеще... Ну, пожалуйста... ради меня... не надо...

Гуревич. Боже! Так зачем же я здесь?! — вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты — тоже — зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,
Головоногие моллюски, дети,
Они чуточек впали в забытье.
Никто из них себя не воображает.
Ни лампочкой в сто ватт, ни тротуаром,
Ни оттепелью в первых числах марта,
Ни муэдзином, ни Пизанской башней
И ни поправкой Джексона-Фульбрайта
К решениям Конгресса. И ни даже
Кометой Швассман-Вахмана-один.
Зачем *я* здесь, коли здоров, как бык?

Натали.
Послушай-ка, Фульбрайт, ты жив пока,
Пока что не болеешь, — а потом?.. —
Чего ж тут непонятного, Гуревич?
Бациллы, вирусы — все на тебя глядят
И, морщась, отворачиваются.

Гуревич. Браво.

Полна чудес могучая природа,
Как говорил товарищ Берендей.

Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе — укол пирацетама в попу. Я сам себе — легавый, да и свисток в зубах его — я тоже. Я и пожар, но я же и брандмейстер.

Натали. Гуревич, милый, ты все-таки немножко опустился...

Гуревич. Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько *протек*, — как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет 3700 километров, чтоб опуститься при этом всего на 221 метр. Брокгауз. Я — весь в нее. Только я немножко не доглядел —

и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не опустился. Каждое тело, даже небесное тело (значительно оглядывает всю Натали) — так вот, даже небесное тело имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я — сколько я истребил в себе собственных вихрей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько попридушил бледнеющих Дездéмон?! А сколько утопил в себе Муму и Чапаёв!..

Натали.

Какой ты экстренный, однако, баламут!

Гуревич. Не экстренный. Я просто — интенсивный.

> И я сегодня... да *почти сейчас...*
> Не опускаться — падать начинаю.
> Я нынче ночью разорву в клочки
> Трагедию, где под запретом ямбы.
> Короче, я взрываю этот *дом*!

Тем более — я ведь совсем и забыл — сегодня же ночь с 30 апреля на 1 мая. Ночь Вальпургии, сестры Святого Ведекинда. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

Натали. Ты уж, Левушка, меня не пугай — мне сегодня дежурить всю ночь.

Гуревич. С любезным другом Боренькой на пару? С Мордоворотом?

Натали.

> Да, представь себе.
> С любезным другом. И с чистейшим спиртом.
> И с тортами — я делала сама, —
> И с песнями Иосифа Кобзона.
> Вот так-то вот, экс-миленький экс-мой!

Гуревич. Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспою — в манере Николая Некрасова, конечно.

Натали. Давай, воспевай, глупыш.

Гуревич. Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!
Демьян сказал: сисястая!
Лука сказал: сойдет.
И попочка добротная, —
Сказали братья Губины
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Далась вам эта попочка!
Была б душа хорошая.
А Пров сказал: Хо-хо!

Натали аплодирует.

Гуревич. А, между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы сейчас тебя — так охотно ущипнул бы...

Натали. Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

Гуревич. Какие ж это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся, — он, пошляк, должен ущипнуть...

Натали. Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму...

Гуревич. Какая разница?.. Ах, ты стоишь вплотную... Мучительница Натали... Когда ты, просто так, зыблешь талией, — я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтоб у тебя спереди посыпались искры...

Натали. Фи, балбес. Так возьми — и охвати!..

Гуревич (так и делает. Натали с запрокинутой головой. Нескончаемое лобзание). О Натали! Дай дух перевести!.. Я очень даже помню — три года назад ты была в таком актуальном платьице... И зачем только меня поперло в эти Куэнь-Луни?.. Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть, наконец, моей жизненной доминантою... Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

Натали. Почему это, Гуревич, ты так много пьешь, а все-все знаешь?..

Гуревич. Натали!..

Натали. Я слушаю тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмышленыш?..

Гуревич. Натали...

Неистово ее обнимает и впивается в нее. Тем временем руки его – от страстей, разумеется, – конвульсивно блуждают по Натальиным бедрам и лонным сочленениям. Зрителю видно, как связка ключей с желтою цепочкою переходит из кармашка белого халатика Натали в больничную робу Гуревича. А поцелуй все длится.

Натали (чуть позже). Я по тебе соскучилась, Гуревич... (лукаво): А как твоя Люси?

Гуревич. Я от нее убег, Наталья. И что такое, в сущности, – Люси? Я говорил ей: «Не родись сварливой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумвир!» Почему «триумвир», до сих пор не знаю. А потом, уже мне вдогонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуревич! сопьешься с круга, как Коллонтай в Стокгольме! Умрешь под забором, как Клим Ворошилов!»

Натали (смеется). А что сначала?

Гуревич.

Ну, что сначала? И не вспоминай.
О Натали! она меня дразнила.
Я с неохотой на нее возлег.
Так на осеннее и скошенное поле
Ложится луч прохладного светила.
Так на тяжелое раздумие чело
Ложится. Тьфу! – раздумье на чело...
Брось о Люси... Так, говоришь – скучала?
А речь об этой шлюшке завела,
Чтоб легализовать Мордоворота?

Натали.

Опять! Ну, как тебе не стыдно, Лев?

Гуревич.

Нет, я начитанный, ты в этом убедилась.
Так вот, сегодня, первомайской ночью
Я к вам зайду... грамм двести пропустить...
Не дуриком. И не без приглашенья:

Твой Боренька меня позвал, и я
Сказал, что буду. Головой кивнул.

Натали.
Но ты ведь — представляешь?!

Гуревич.
Представляю.
Нашел с кем дон-хуанствовать, стервец!
Мордоворот и ты — невыносимо.
О, этот боров нынче же, к рассвету,
Услышит Командоровы шаги!..

Натали.
Гуревич, милый, ты с ума сошел...

Гуревич.
Пока — нисколько. Впрочем, как ты хочешь:
Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,
Коль ты попросишь... (подумав)
Если и попросишь —
Я буду пламенеть, как небосклон!
Пока что я с ума еще не сбрендил, —
А в пятом акте — *будем посмотреть...*
Наталья, милая...

Натали.
Что, дуралей?

Гуревич.
Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,
Будь только крестик промежду грудей
И больше ничего, — я все равно...

Натали (в который уже раз ладошкой зажимает ему рот. Нежно). А! ты и это помнишь, противный!..

Кто-то прокашливается за дверью.

Гуревич. Антильская жемчужина... Королева обеих Сицилий... Неужто тебе приходится спать на этом дырявом диванчике?..

Натали. Что ж делать, Лев? Если уж ночное дежурство...

Гуревич.

И ты... ты спишь на этой вот тахте!
Ты, Натали! Которую с тахты
На музыку переложить бы надо!..

Натали.

Застрекотал, опять застрекотал...

За дверью снова покашливание.

Гуревич. «Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учебник общей энтомологии. (Снова тянутся друг к другу.)

Прохоров (показывается в дверях с ведром и шваброю). Все процедуры... процеду-уры... (Обменивается взглядом с Гуревичем. Во взгляде у Прохорова: «Ну, как?» У Гуревича: «Все путем».) Наталья Алексеевна, наш новый пациент, вопреки всему, крепчает час от часу. А я только что проходил — у дверей хозотдела линолеум у нас запущен — спасу нет. А новичок... Ну, чтоб не забывался, куда попал, — пусть там повкалывает с полчаса. А я — пронаблюдаю...

Гуревич. Ну, что ж... (В последний раз взглянув на Натали, с ведром и шваброю удаляется, стратегически покусывая губы.)

Прохоров.

Все честь по чести. Я на то поставлен.
Ты, Алексевна, опекай его.
Он — с припиздью. Но это ничего.

ЗАНАВЕС

Четвертый акт

Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие — с аминазиновых уколов. Комсорг Пашка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля после электрошока недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, контр-адмирал тоже. Стасик онемел посреди палаты с выброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.

Вова. Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься... первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой документы, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь, стрелять окуней... Идешь убогий, босой и с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь — целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, видавшую виды, прошедшую с тобой от Эльбы до Техаса...

В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, Сережа Клейнмихель и Коля. Потирают на попах свои уколы, обсаживают Вову, слушают.

Вова. И вот так идешь... ветры дуют поперек... Сверху — голубо, снизу — майские росы-изумруды... А впереди — что-то черненькое белеется... Думаешь: может, просто куст боярышника?.. да нет. Может быть, армянин?.. Да нет, откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, — а он уже все различает; каждую травинку от каждой былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям...

Коля. А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы...

Стасик (снова дует по палате из угла в угол). Да! ничего на свете нету важнее спасения *дерев*! Придет оккупант — а где наша интимная защита? интимная защита ученого партизана? А в чем она заключается? — а вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!

Вова. А мой сосед Николай Семенович...

Стасик (неудержимо). Господь создал свет, да, да! А твой Николай Семеныч отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом...

Коля. И с вермутом...

Стасик. Нет, без вермута. При чем здесь вермут?! И до каких пор меня будут прерывать? делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще — когда эти поляки перестанут нам мозги ебать?! Ведь жизнь и без того — так коротка...

Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет...

Стасик. Хо-хо! нашел кому советовать! Да ты поди, взгляни в мою оранжерею. Жизнь коротка, — а как посмотришь на мою оранжерею — так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики — ну их, они повсюду. А у меня вот что есть — сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он: «Пузанчик-самовздутыш-дармоед» с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! — хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет — что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!.. А еще — а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» — это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая вдумчивая» — лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты». «Обормотик желтый!» «Нытик двухлетний!» Это уже для тех, кого выносят ногами вперед. «Мымра краснознаменная!» «Чапай лохматый!» «Хуеплетик недолговечный!» Все, что душе угодно...

Вова. И все это ты имел в своем саду, браток?

Стасик. Как то есть имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?..

Вова. Нету у меня панталон...

Стасик. Ну, нет, так будут... И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад — и все твое. «Презумпция жеманная», она же «Зиночка сдобная пальпированная» — да и как Зиночке не быть пальпированной, если она такая сдобная! «Мудозвончики смекалистые!» «ОБЭХАЭС ненаглядный!» «Гольфштрим чечено-ингушский!» «Пленум придурковатый!» — его так назвали за его дымчатые вуали, невзначай и совсем не остроумно. «Дважды орденоносная игуменья незамысловатая», лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горло-нос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». «Генсек бульбоносный!», пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром

победы, раздавайся», «Крейсер Варяг» и «Сиськи набок». А если...

Вова. А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам, — все смотрю: нет ли синеньких...

Стасик. Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня — да не было синеньких! Вот — носопырочки одухотворенные, носопырочки расквашенные, синекудрые слюнявчики «Гутен-морген»! «Занзибар опизденевший» — выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез и навсегда»...

Стасик, на словах «без слез и навсегда», снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально вверх кулаком «Рот Фронт».

Вова. Д-даа... хорошие цветочки... А я ведь помню тяжелые времена... когда все цветочки исчезли из помину... и плохие и хорошие... кругом нашей деревни одни только эскарпы и янычары, траншеи, каски, руки, ноги — над Москвой только царь-пушки гремели, и царь-колокола... Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левитан, — и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых заокеанских орд. И снова расцвели медуницы...

Все глядят на Вовин носик. У Коли опять чего-то текет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста Прохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы — ему одному во всей палате дозволено носить часы, — то снова исчезает из помещения. Музыка при этом — тревожнее всех тревожных.

Коля. Так ведь и осенью в деревне хорошо... Ведь правда, Вова?

Вова. Осенью немножко хуже, с потолка капает... Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив — висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов — он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: «Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные

ботинки». А я ему говорю: «А зачем мне ботинки? Череповец — он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце — а куда я дальше пойду в ботинках? нет, я уж лучше без ботинок...» А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель: «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» А я говорю: «Нет, никто не виновен в моей печали». А тут еще теленочек за перегородкой — чертыхается и просить чего-то начинает, — а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек, у меня и коровки-то никогда не бывало. Надо бы спросить у внука Сергунчика — так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит... Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей — для ежиков. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела — значит, пришли все-таки ежики, с обыском... Листья кружатся в воздухе, кружатся и — садятся на скамью... Некоторые еще взовьются — и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму — все попересажены... А ветер все гонит облака, все гонит — на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головою все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч...

Коля. Как хорошо... А у вас в деревне — в апреле тоже тридцать дней или дня три-четыре накинули?

Вова. Да нет пока...

Коля. Ну, вот и зря... Надо бы немножко накинуть... У нас все должно быть покрупнее, чем у *них*... Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная. Байкал, телебашня, Каспийское озеро... А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней, и у нас тридцать. (Пускает слюну. Вова вытирает.) А равняться на Европу, как мне кажется, — это значит безнадежно отставать от нее... Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но никогда не допустим, чтобы...

Прохоров (врывается в палату с озаренным лицом). *Обход! Обход!* (Но странно: вместо привычного «Всем встать!» — староста отдает приказ ни на что не похожий). Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет глазами туда-сюда — стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои ротфронты! (Подходит к Стасику, но рука его кататонически не выходит из состояния Рот-Фронт.) Ну ладно, отвернись только к стенке, но пасаран, пассионарий! вессеремус!

Гуревич (входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведерной емкости бутыль и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох). Ну вот. Теперь как будто бы *виктория*!

Алеха (с порога). Всем подняться — отряхнуться! Обход закончен!

Прохоров. Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи: обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте, — и по постелькам... Так, так... А что вы тут делали — пока *високосные* люди нашей планеты достигали невозможного — чем в это время занимались вы, летаргический народ?..

Вова. Нам Стасик говорил о своих цветочках... Он их сам выращивает...

Прохоров. Эка важность! Цветочки — они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, ну, чего стоят цветочки, которые снаружи?

Гуревич. Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом... И без того внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног... В глазах — протуберанцы...

Прохоров. Налей шестьдесят пять грамм, Гуревич, и скорее опрокинь. Потом поговорим о цветочках. Ал-леха!

Алеха. Я здесь...

Прохоров. Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане — лимоны, вытаскивай их все...

Алеха. Все..?!

Прохоров. *Все*, мать твою ебп!

Гуревич, в сущности, начинает Вальпургиеву ночь. Наливает рюмаху. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает.

Прохоров (в ожидании своей дозы). Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы *гноили* нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот как: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию *погромного* размера... Но ты же ведь — Алкивиад! — тьфу, Алкивиад уже был, — ты граф Калиостро! Ты — Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, напле-

вать! Ты – Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не нахожу... а вот если бы мне шестьдесят пять...

Алеха. Может, проверить, – горит?

Гуревич. Это можно... (На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит: тишина, покуда не меркнет синее пламя.)

Прохоров (он даже не разводит свои семьдесят грамм, он держит наготове Хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности). Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?..

Гуревич. Это как то есть «высечь»?

Прохоров. Нет-нет. Я не то хотел сказать. Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в любой из вассальных наших палат какой-нибудь неумный псих усомнится в богодухновенности *этого* (втыкая палец в Гуревича) народа, тот будет немедля произведен мною в контр-адмиралы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... *Они* открывают миру *все*, мы только успеваем прикрывать. Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени явился Христофор Коломбо – это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто знает, что первым человеком, из состава Коломбовой экспедиции, первым, ступившим на Новую Землю, – был иудей-марран Луис де Торрес! (впадая в раж) А *Исаак* Ньютон! А – *Авраам* Линкольн!.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? – *Давид* Ливингстон!..

Гуревич. Помаленьку, помаленьку, староста. Иначе ты вызовешь переполох в слабых душах... А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже вожделеет? Ты вот уже немножко порфироносен. А взгляни на Алеху...

Прохоров. Ал-леха!

Алеха. Я тут. (Пока Гуревич чародействует со спиртом и водою, – не выдерживает. Делает лицо. Тренькает себе по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно и анданте).

А мне на свете – все равно.
Мне все равно, что я говно,
Что пью паскудное вино
Без примеси чего другого.
Я рад, что я дегенерат,
Я рад, что пью денатурат,

Я очень рад, что я давно
Гудка не слышал заводского...

Вливает в себя все ему налитое. Исполинский выдох. Пробует лихо продолжить свое традиционное.

Обязательно,
Обязательно,
Я на рыженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!
(по собственной пузени, разумеется)
Об-бязательно...

Гуревич. Стоп, Алеха. Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы, тем временем, сверхдержавы, — пробуем на вкус то, что вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь. Приобщить этих сирых?

Прохоров. Еще как приобщить! Ал-леха!

Алеха. Я здесь. (Машинально подставляет пустой стакан).

Гуревич. Болван. Ты понимаешь, что такое — сирость?

Алеха. Еще бы не понять. Сережа Клейнмихель, — у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет... Позвать его?

Гуревич. Позвать, позвать... (Наливает полстакана).

Прохоров. Клейнмихель! На ковер.

Гуревич (подошедшему Сереже). Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

Сережа (всплакнув, конечно). Она все знала. Мамы — они всегда все знают. Что меня не допустют и не дадут начальство снимать картину фильма про маму и Семена Михайловича Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку приложил к этому Пашка Еремин, еврейский *шапион*...

Гуревич. Не торопись. Выпей. (Сережа, выпав, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира.)

Сережа. Я знаю, что такое еврейский *шапион*. Первый признак — звать его Паша. А фамилия его — Еремин. Других доказательств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего.

Гуревич. У тебя это что в руках, Буденный?..

Сережа. Это что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю — Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали...

Прохоров. Давай, я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона... Так-так... Проект будущих торжествований. Номер один: Дом больницы разбитых космонавтов. Номер два: Дом Любви и Здоровья больных космонавтов. Номер три: Дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: Дом, где не гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными никогда и вообще. Номер пять: Дом Коммунизма. Там приучают не бегать с топором и не пропивать ребят и космонавтов. Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель...

Гуревич. И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать...

Прохоров. Сейчас-сейчас... (продолжает). Номер семь: Книжная фабрика культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и Культурная дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли на подножке. И махали приходящими поездами вслед уходящим поездам.

Алеха фыркает.

Прохоров (продолжает). Спортивный внимательный институт: Спортивный внимательный светофор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный интернат для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие — всплывают для дачи больших и ложных показаний. Номер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса...

Гуревич. М-м-мда... Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель... Может быть, и прав комсорг Еремин, расчленив твою маму?..

Сережа. Нет, он был глубоко не прав. Когда она была в целости, она была намного красивше... Вам бы только по-

смеяться, а ведь смеяться-то не от чего... У меня есть еще один проект, чтобы в России было поменьше смеху: трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород — на Смоленск и Новополоцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях...

Гуревич. Браво, Клейнмихель!.. Староста, налей ему еще немножко.

Староста наливает. Погладив Сережу по головке, подносит.

Сережа (тронутый похвалою, пропустив и крякнув). А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет — у меня все разрывается, даже вот только что купленные носки — и те разрываются. Даже рубаха под мышками — разрывается. И сопли текут, и слезы, и все о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...

Гуревич. Прекрасно, Серж, утешайся хоть тем, что заклятому врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммулечки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. Мудак, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной ублюдочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести... То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

Прохоров. Ну, конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. (Потирает руки, наливает поочередно Гуревичу, себе, Алехе.) Вставай, флотоводец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу, — признайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

Михалыч (его понемногу освобождают от пут). Выпить хочу...

Прохоров. Да это ж совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово. (Михалыч вздрагивает.) Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Североатлантического пакта. Ну, какую-нибудь там молитву...

Михалыч (быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее). Москва — город затейный: что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва — до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка ко-

лом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить — горе, а не пить вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво и плясать хочется...

Прохоров (намного одушевленнее, чем во втором акте). Так-так-так...

Михалыч. Справа немцы, слева турки, ебануть бы политурки. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Что-то стало холодать, не пора ли нам...

Гуревич. Пора, мой друг, пора... (Адмирал выпивает — и вытаращивает глаза от крепости напитка и перемен земного жребия.) По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин имеет право выпучивать глаза, но не до отказа... Вова!!

Вова подходит покорно, но почему-то держа за руку бледного Колю.

Гуревич. Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (К Прохорову). А почему они, собственно, здесь, — а не там?

Прохоров. Ну, ты же сам слышал... эстонец... голова болит... разве этого недостаточно?.. А что касается Вовы, — так он просто так... подозревается в уникальности...

Гуревич. Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мною на свободе. У тебя есть *мечта*?..

Вова. Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку — она называется гамбузия. Так вот, эта рыбка — гамбузия — поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблий...

Гуревич. И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

Вова. Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

Гуревич. И — не поперхнуться?

Вова. И не поперхнуться.

Гуревич. Отлично. Вот ровно столько грамм ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордоворот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу эту «модус-вивенди»...

Вова (единым залпом выпив, — то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит). А самое главное, чем хороша гамбузия, — так

от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик...

Прохоров. А что это за Эдик?..

Вова. Никто не знает. Но, как только в небеса подымается Веспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь... Сергунчик, мой внук, не послушался — и вот вам результат: ветры унесли его неведомо куда... по заказу Гостелерадио...

Гуревич. Удивительная все-таки страна — Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании — Эдик?.. (Обращается к Коле). Коля! ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

Коля. Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (Простирая к публике руку). Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего. Десертным вермутом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его, — напрасно, его уж нет, младой певец нашел безвременный конец. Особой водки он просил, и взор являл живую муку, — и кто-то вермут положил в его протянутую руку!..

Гуревич. Здорово!.. Налейте поэту *мушкателейнвейну*!

Коля (выпивая свою долю мушкателейнвейна). А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

Прохоров. Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит взялось.

Гуревич. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего.

Прохоров. Если явятся вопросы еще, обратитесь к Вите.

Гуревич. Да, да. Если кому чего неясно, — пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь — еще при жизни называться незабвенным! *Ви-тя!!* Корчной! Что новенького-шизофреновенького?

Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной за время сна, становится, по пробуждении, сардоническою. Сейчас на нем ничего этого нет.

Гуревич. Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет — стало быть, спит и не проснется *вовеки*...

Витя. Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

Прохоров (поднося Вите). Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире высшей справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше в сравнении с наивысшей?..

Витя (приподымая большую, розовую голову). А я не умру?

Гуревич. Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения... Во всей происходящей драме — до тебя — никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека — в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть — так смерть. Смерть — это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

Витя пьет и — встает. Всех обнимая своей улыбкой и не стыдясь живота своего, почему-то отправляется к выходу.

Прохоров. Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной — Витя — хочет пройтиться в сторону клозета... Стасик! Прекрати свои рот-фронты. Иди сюда...

Гуревич (спохватившись). Да, да. Никакие рот-фронты и нопасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией — ясное небо. Франсиско Франко. По этому поводу — опусти свою глупую руку и подойди. Твоя неистовая Долорес — в соседнем отделении. Пропусти для храбрости сто двадцать, и мы соединим вас, недоумков...

Стасик. Так она еще не умерла?..

Гуревич. Давно уже подохла. Но, как только услышала о тебе, о предстоящем свидании, она вытряхнула землю из глазных своих впадин и сказала: «Пусть придет ко мне, я люблю молодых и растленных. Но прежде, — сказала она, — но прежде я должна привести себя в порядок, я ведь так долго пролежала в сырой земле...»

Стасик. Я понимаю... Женщина всегда есть женщина, если даже пассионария. У нас есть о чем побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И — вдобавок ко всему — насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон Ду Хван, он все мечтает стереть Советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть то, у кого так много-много земли — и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чондухванов...

Гуревич. Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил... Боже мой, Витя!..

Витя (с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения). Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой... (Ставит на стол посреди палаты еще один белый ферзь. Два белых ферзя рядом — это уже слишком Многие теряют и остатки своих убогих рассудков.)

Прохоров. С шахматами мы потом разберемся... А шашки — где?.. Чемпион мира по русским шашкам Виктор Куперман... (Улыбка — в сторону Гуревича, вопрос адресован Вите)... Так вот, шашек нет. Сейчас растерянно смотрит на мир наш русский товарищ Куперман. И вот он, молодой и здоровый, крутится в своем гробу. Не путать с Долорес Ибаррури... Он крутится в своем гробу, хотя он молод и здоров...

Коля (прерывает старосту, чего с ним никогда не бывало). А кто вообще автор желудочно-кишечного тракта?..

Гуревич. Неужели и *теперь* тебе не понятно, *кто*?.. (присаживается к Вите).

Скажи мне, Витя, ну, а если б ты...
Ну... двадцать шесть бакинских комиссаров...
Чудовищно подумать!.. Что б тогда
Принес толпе из всех своих глубин?
Шпинозу? Группенфюрера СС?
Ударный финиш юбилейной вахты?
Рене Декарта?..

За дверью слышны каблучки. Это — Натали с последним обходом. И, слава Богу, она уже слегка первомайски-поддатая. Иначе — она уловила бы в палате спиртной дух.

Прохоров. Тишина!.. Все — по местам! Накрыться с головой!

Натали входит, всем желает спокойных ночей. Поправляет одеяло — у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Гуревича. Никому не слышные — а может быть, слышные всем, — шепоты и нежности.

Натали (полушепотом). Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо. (Гуревич пробует что-то сказать. Натали прикладывает пальчик к губам) Тсс... Все дрыхнут. В коридоре ни души. Адье.

Спокойной ночи, алкаши. (Проплывает к выходу, тихо-тихо прикрывает за собой дверь. Стук удаляющихся каблучков).

Все пациенты разом сбрасывают с себя одеяла, приподымаются в постелях и завороженно глядят на два белых ферзя посреди палаты.

ЗАНАВЕС

Пятый акт

Между четвертым и пятым актом — 5—7 минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафе-шантанных танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, канканов и кэк-уоков, российских балаганных плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии.

Подымается занавес.

Все та же третья палата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.

Прохоров. Рас-светает!.. Аль-леха!!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Вдарь что-нибудь на своей гитаре, диссидент! Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум.

Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг Пашка Еремин. Откуда только он успел нализаться — непонятно, ведь ему было отказано даже в граммулечке.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
Я надену платье бело
И весеннее пальто.
Никого я не боюся:
Председатель — мой отец.

Вова.

Председатель к нам спешит,
«Не кручиньтесь, — говорит, —

Не кручиньтесь, не тужите,
Удобренья положите».

Михалыч.
Дети в школу собирались,
Мылись, брились, похмелялись.
Эх, в бога-душу-мать,
Дайте курочку!

Коля.
Ему уж 20 лет, –
А он такой дурак!
Ему уж 30 лет, –
А он такой дурак!
Ему уж 40 лет, –
А он такой дурак!
Ему уж...

Алеха (прерывает его).

Коля водит самолеты –
Это очень хорошо.
Вова пысает в компоты –
Это тоже хорошо!

Прохоров.
А агент из Миннесоты –
Тоже очень хорошо.

(Это, разумеется, выпад в сторону Михалыча, который в это самое время пробует, как сен-сансовская плисецкая лебедь, делать ручками фокусы-покусы.)

Сей агент, агент прекрасный,
Опрокинув свой бокал,
На груди ее атласной
Безмятежно засыпал.
Хо-хо!

Алеха.
Пум-пум-пум-пум!
Вся страна лежит во мраке –
Огонек горит в Кремле!

Пум!
Обожаю нежности
В области промежности!

Витя со всем своим пузом вступает в пляс, повязав наволочку вместо косынки.

АЛЕХА (подтанцовывает к Вите).

Ай-ай! Ох-ох!
Все готово. Бобик сдох.
Что с тобою приключилось,
Манечка?

ВИТЯ (не без кокетства).

Совершенно ничего.
Ровным счетом ничего.
Ничего не приключилось
С Манечкой.
Просто — слишком завертелась,
Просто — очень захотелось
Съездить в будущем году
В Пизу или Катманду!
Оп-пля!!

ПРОХОРОВ.
Кудри вьются,
Кудри вьются,
Кудри вьются у блядей.
Почему они не вьются
У порядочных людей?

ВИТЯ.
Хе! Хе!
Потому они не вьются —
Денег нет на бигудей!

АЛЕХА (поправляя Витю).

Потому что у блядей
Денег есть на бигудей,

А у порядочных людей –
Денег только на блядей!

Гуревич (*между тем с тревогой всматривается в полусонного Хохулю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм 115, – клонится к закату. Гуревич подходит к нему, тормошит*). Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дёрнуть? Ты меня не слышишь?.. Не слышит... Передаю по буквам, Хохуля... дёрнуть... Д – движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших... Д. Следующая – ё... Только вот как передать ему «ё»?.. Подлец Карамзин – придумал же такую букву «Ё». Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж... Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало... Стоп, ребятишки!! Хохуля – не дышит!..

Одни обступают мертвеца; другие – продолжают беззаботное буйство.

Прохоров. Вот к чему приводит лечение электрошоком! Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей медицины!

Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стерегущего Мавзолей.

Гуревич. Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне полагаться на судьбу и твердо веровать, что самое скверное еще впереди.

Прохоров (*добавляет*). Рене Декарт. И да не будет никто омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество силы, красоты и грации! А Первомай пусть отмечают нормальные люди, то есть не нормальные люди, а *нас* обслуживающий персонал! Ха-ха! *Танцуют все!* Белый танец! Алеха!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
А я вот все люблю,
А я вот всех люблю:
Дюдюктивные романы,
Альбионские туманы,
И гавайские гитары,
И гаванские сигары,
И сионских мудрецов,

И сиамских близнецов...
Уй-уй-уй-ууууй!

(на мотив Петра Чайковского)

Не ходи пощипывать,
Не ходи посма-атривать,
Не ходи пощу-упывать
Икры наши де-е-евичьи-и...

Витя (под Кальмана, играя пузенью).

За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, о Боже мой?

Коля (под советскую детскую песенку).

У меня водчонки нет,
Даже вермутишки нет...

Прохоров (подхватывает).

Только пиво, только воды!
Только воды, только пиво!
И никто у нас не пьян!
Лейте, лейте, сумасброды,
Одуряющее диво
В торжествующий стакан!
Пиф-паф!

Подходит к баклаге со спиртом, наливает, в себя опрокидывает. То же самое хотели бы сделать и другие. Но Гуревич их останавливает.

Гуревич. Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе отраду: твоя мама — не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! (Наливает ему).

Сережа (прижимая налитое к сердцу). Ура! Моя мама жива!

Пашка. Ура! я ее не убивал! (Мгновенно выхватывает кружку из рук Сережи и залпом выпивает).

Гуревич.

Ты ловок, Паша, как я погляжу.
Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий.

А вот по морде смажут — это точно —
«Приватно и в партикулярной форме».

Прохоров. Рене Декарт?.. (К Паше)

Короче, друг любезный, —
Ступай в манду по утренней росе!

Паша, получив от старосты пощечину и икнув, присоединяется к пляшущим.

Гуревич. Нет, ты только посмотри, староста, на это вот итоговое и рвотное. Значит, все — все было не напрасно, все революции, религиозные распри, взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаевские дни, — все это, в конечном счете, только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок... Нет, тут что-то не так... Подойди, Сережа, я тебе еще чуточек налью...

Сережа, перекрестившись, выпивает.

Гуревич. Ну, как поживают твои веселые космонавты Космуса?

Сережа (одушевленный пятью глотками, приплясывает в такт остальным).

Космонавты и татары,
Космонавты и татары —
Все неправда. Все говно,
Уносить свои гитары
Им придется все равно.
Эй-я!

Гуревич. Вот это да... А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

Вова сидит в постели, затылком оперши́сь о подоконник, без движения, и почему-то с совершенно открытым ртом.

Гуревич. Поди-ка взгляни, Прохоров, что с ним?

Прохоров. Дышит! Вовочка дышит! (Напевает ему из Грига). «Идем же в лес, друг милый мой, где нас фиалки

ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут...»

Вова не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. А головку его уже обдувает Господь.

Гуревич. Однако!.. Там (кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала), там веселятся совсем иначе. Ну, что же... Мы — подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их окружают сплетни, а нас — легенды. Мы — игровые, они — документальные. Они — дельные, а мы — беспредельные. Они — бывалый народ. Мы — народ небывалый. Они — лающие, мы — пылающие. У них — позывы...

Прохоров. А у нас — порывы, само собой... Верно говоришь! У них — жисть-жистянка, а у нас — житие! У нас во как поют! а у них — какие-нибудь там Ротару и Кобзоны... А я бы эту прекрасную Софию Ротару утопил бы — вот только не знаю, где лучше, в говне или проруби. А прекрасного Иосифа Кобзона за чекушку продал бы в Египет... Хо-хо! только и делов! (Сепаратно выпивают по совсем махонькой. Остальные, томительно облизываясь, стоят в стороне.)

Прохоров. И вообще — в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов — утопил. Теперь уже пора бы...

Гуревич. Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то — ну, что за преснятина? Юбилейная, Стрелецкая, Столичная... Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим, так: Девичья Горючая — 5 рублей 20 копеек. Мужская Скупая — 7 рублей. Беспризорная Мутная — 4.20. Вдовья Безутешная — тоже не очень дорого: 4.40. Сиротская Горькая — 6 рублей. Krokodilovaia importnaia — червонец. Ну, и так далее... Но только — прежде чем ломать Россию на глазах изумленного человечества, надо вначале ее просветить...

Прохоров. Вот-вот. Наша запущенность во всех отраслях знания... подумать страшно. Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе — никто не знает. Из 145 опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока

не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?

Гуревич. Так мы уже ее начали. Пока — в пределах 3-й палаты. А там смотришь... Ну, чем был русский народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком — никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве — и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус...

Прохоров (патетически). Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть *заколдованность*. Я чувствую это по себе, а сегодня ночью — особенно...

Гуревич. Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недорезанность, — так это тоже легко поправимо...

Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.

Прохоров. Алеха!?

Алеха. Мы все тут.

Прохоров. И хорошо, что все.

Гуревич. Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже *все* только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкою. Ватикан им выдает эту похлебку или еще кто — не знаю, — но они глядят при этом в сторону России и думают... о чем уж они там думают, я тоже не знаю... но, как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы — готовите себя к подвигу?

Витя Толстопузый. Еще как готовим!

Гуревич. Ну вот и прекрасно. (Обносит напитком всех поочередно. Продолжает при этом). В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди — но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!.. И потом — они разобщены: у каждого *свой* трепет, *свое* урчание в животе. У нас — один трепет и одно урчание!

Алеха. Ура!

Прохоров. Это ты к чему, дурак, крикнул «Ура!»?

Алеха. А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков!

Прохоров. Как ты думаешь, Гуревич: передушим?

Гуревич. Да душить-то пока зачем? Так уж сразу и — душить! Миротворнее нас — нет среди народов. Но если они и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем *они* и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной — *что нам за дело, родной?* Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»... Нет, мы не таковы. Чужая беда — это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздоха за стеной, — но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

Прохоров. Я понял так, что все-таки душить. Только вот не знаю, с кого начать. Наверно, все-таки с фрицев.

Гуревич. Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того, чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой! Да фриц уже, по существу, и не дышит!

Витя. Я бы голландцев наказал, за их летучесть...

Михалыч. Тогда уж и жидов, за их вечность...

Прохоров. Тссс!.. Я предлагаю, Гуревич, лишить адмирала следующей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм...

Гуревич. Мы, пожалуй, так и сделаем.

Алеха. А меня вот лично интересуют Британские острова...

Гуревич. Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее и в самом деле не существует, — а для этого приложить одно, самое незначительное усилие...

Прохоров. А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать...

Коля. Но вот... если мне прикажут душить скандинавов... так за что мне их душить? Они ведь такие белокурые-белокурые, такие нивчемневиноватые...

Гуревич. Вы ошибаетесь, Коля. Их надо пропесочить для начала за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом — за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели...

Прохоров (подхватывает). ...и за то, что они вольно разгуливают по обоим, нашим, исконно русским полюсам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели... К ногтю! я так считаю...

Михалыч. До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Все. (Как простреленный навылет, валится у обочины постели и храпит навеки).

Гуревич. Что это с ним? Шутит он?.. или..?

Прохоров. Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ничего... С итальяшками, например, мы и без него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих... Сакко и Ванцетти. Вообще-то обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душою. У Ванцетти — души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но формы-то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!..

Алеха. Эх, разбередил ты меня этими... формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!..

Прохоров. Не будет полячек!!

Витя. А их-то за что? За Тараса Бульбу?..

Гуревич. Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в географической приближенности к Европе, и...

Прохоров. И в исторической ненависти к жидам...

Алеха (в подражание своему патрону). У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы, *за вульгаризм*, и лишить предстоящей рюмахи...

Гуревич. Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по шеям...

Прохоров подходит к Алехе и слегка дает ему «по шеям».

Гуревич. Боже! Они опять все перепутали!.. Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы, готовые к подвигу: а кто из вас любит французиков?

Все. Все!

Гуревич (саркастично). Все?

Все (опомнившись). Никто!

Гуревич. Ну, то-то же. Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и...

Коля (пьяненький). Но это же турки!.. глаз у Кутузова...

Прохоров. Причем здесь турки? Какие еще турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов, на площади святого Петра в Риме. А я — лично видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами...

Гуревич. В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот *óни* — они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны-Рокфеллеры. А мы — нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас глядеть *в оба*. Да. (Аплодисменты).

Коля. Но... Лиссабон... наш такой красивый Лиссабон!..

Прохоров. А это еще что за Лиссабон? Что такое вообще — Лиссабон? Облить его водой со всех сторон и никого не впускать! Вот так. Или — поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!..

Гуревич. Одно только слово «Лиссабон» — мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лиссабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна... Значит, и Лиссабона быть не должно! (Аплодисменты). Тебе, Коля, нужен Лиссабон?

Коля. Не-а...

Гуревич. А тебе, Витя?

Витя. Нисколечко.

Гуревич. Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные, — цветут, благоухают и существуют. Тогда как человеку не хватает самого насущного. Короче, Лиссабона не будет... Но при этом — могу я рассчитывать на своих стратегических союзников?

Все (вразнобой). Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!..

Гуревич. Самое время! (Шлепают по маленькой).

Сережа. Добрый день, быть может, вечер, я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын

Федя. (И вдруг захохотал — необычайно — ведь его никто не видел даже улыбающимся. Похохотав и закрутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах).

Все на время немеют. Музыка.

Гуревич (нахмурившись). Ну, что ж... Мама оказалась жива — и он от этого оказался мертв... В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

Стасик (сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова начинает пульсировать из угла в угол палаты). Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы — отребье человечества — забыть не в силах! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И, пожалуйста, не убивайте друг друга, — это доставит мне огорчение. Бог мудрее человеков! Держитесь за ризу Христову! (И снова окаменевает: на этот раз в коленопреклоненной и молитвенной позе).

Гуревич (вдохновенно продолжает). А если нет Лиссабона — понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой... Начиная с азиатского Востока. Это пагубное и зловещее скопление нечистот — не имеет права *быть*! Вот вам восточная надпись на камне, надгробная, — и ведь Евангельских времен! — «Всеобщий любимец, он был полон очарования. Не щадя никого, истреблял он всех без остатка». (Смех в зале). Ну, что прикажете делать с такими народами? А ничего не делать! Они издохнут сами по себе. У них то и дело грохочут демографические взрывы, фурункулезы, хиросимы, напалмы, нагасаки, и вообще жрать нечего. Сами по себе — тихо вымрут, для очищения земли и небес! А все остальное довершит клещевой энцефалит, грызня марксистских диктатур и маньчжурская лихорадка. Близятся сроки Воздания! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти строки!..

Алеха. Я, например, — за маньчжурскую лихорадку! (Первым выпивает, крякает и пробует возобновить представление).

Пум-пум-пум-пум.
Пум-пум-пум-пум.
Вот он, вот он, конец света!
Завтра встанем в неглиже,
Встанем-вскочим: свету нету,
Правды нету,

Денег нету,
Ничего святого нету, —
Рейган в Сирии уже!

Хор (уже успевших выпить и прокрякаться).

Ничего на свете нету, —
Рейган в Вологде уже!

Прохоров (зычно).

Этот день победы!!

Хор.

Прохором пропа-ах!
Это счастье с беленою на устах!
Это радость с *пятаками на глазах*!
День победы!..

Гуревич. Ша! Пьяная бестолочь! вы, оказывается, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! вы все перенапутали...

Прохоров. Мы все отлично поняли, Гуревич. Но только ты забыл про *то*, что есть ООН и Перес де Куэльяр... И когда начнут проваливаться континенты...

Гуревич. Ха-ха! Перес де Куэльяр, конечно, схватится за свою перуанскую голову. Вы видели когда-нибудь людей с перуанскими головами? А вот у него — перуанская голова, и он-таки за нее схватится. Ну, и пусть. Все равно ведь, никто за нас не будет спасать зачумленный мир! И вы, все, — пируя, не забывайте о чуме! Пир — это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир. Генерал Хейг. И веруйте в конечное русское торжество, поскольку с *ними* — крестная сила, и ничего больше. С *нами* — все остальное!..

Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил за собою дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это — Вова. А это — Вовин рот, раскрытый в продолжение всего пятого акта, — захлопывается навсегда. Почти в это же время обрываются храпы комсорга Еремина под белой простыней. За сценой — «Липа вековая».

Коля (шатаясь, подходит к Вове и прикладывает ухо к его сердцу). Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!.. Не уходи. В лесу-то

ведь сейчас: как хорошо! и дух такой духовитый... (по-ребячески плачет) гамбузии плещутся в пруду... расцвели медуницы...

Вова не откликается.

Прохоров. Ну, почему бы действительно не отпустить человека в деревню?.. Ведь просился же, каждый день просился, — и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам...

Гуревич. За упокой...

Четверо оставшихся, под все длящуюся «Липу вековую», выпивают за упокой.

Прохоров (в упор смотрит на Гуревича). И чем же все-таки кончится?.. Вся эта серия наших побед над зачумленным миром?

Гуревич. О! Вначале — конечно — русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухою. Но потом... Подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их былого исполинства, они рассеются пылью по лицу земли. Вернее, их будет заносить — муссонами со стороны Яффы — их будет заносить все дальше и дальше на север, в сторону безжизненных просторов... все дальше на север, где дни еще облачнее, еще короче и, следовательно, где умирать еще безболезненнее и легче. Франческо Петрарка. И вот — пока русские летят в назначенную им бездну — народ Иеговы...

Прохоров. Наконец-то! Народ Иеговы! Мы с Алехой уже занимаем произраильские позиции. То есть единственно разумные. То есть предварительно даже выбивая с этих позиций самих израильтян!..

Гуревич. Лихо!.. Бахрейн, Кувейт и Эмираты, известное дело, обрекут нас на нефтяной голод...

Прохоров. Но ведь их к тому времени не будет: ни Бахрейна, ни Кувейта...

Гуревич. Ну так что ж, что не будет. Ты плохо знаешь арабов. Даже когда их самих уже и нет, — их упорствующий фанатизм и бестолковость все равно — остаются. Так вот, они обрекают нас на нефтяной голод. А нам — наплевать. Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может, тебе, Витя, она нужна?

Витя. В гробу я ее видал.

Гуревич. Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту поганую нефть. Вермутом, например, — правда, Коля?..

Коля продолжает плакать, все тише, тише, и не отвечает ничего. «Липа вековая» продолжается.

Гуревич. Итак, я поведу вас тропою грома и мечты! и шестиконечная звезда Давида будет нам путеводительной и судьбоносной!.. Говорят, звезда его беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится. Соломон Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и...

Прохоров. Вот ведь до какой степени можно изблядоваться: пятиконечная звезда!

Гуревич (одушевляясь все более). Да здравствует Эрец Израиль до самого Евфрата!

Прохоров.

Зачем сужать? *От Нила* до Евфрата!

Гуревич.

Чего мельчать? От Нила до Евфрата —
Все это хорошо, но мелковато,
А от Евфрата — на восток, восток... —
И вплоть до Нила!..

Алеха. От Синайского полуострова — до Кольского!..

Гуревич. А если кто косо взглянет на нас — *если еще будет кому* глядеть на нас косо — будет как в Талмуде: Бен-Зама взглянул — и потерял рассудок. Бен-Азай взглянул — и умер. И да испепелит их Провидение! И да разметет их Господь божественной Метлою Своею!.. Итак, выпьем за союз сердец, покорных высшему жребию!

Прохоров. За союз сердец, связующий Россию и Израиль!..

Гуревич. За здоровье Ромена Роллана!.. сейчас я вспомню, почему мне пришло в голову выпить за этого лысого черта... Да, да, вспомнил. «И будь во всем Израиле хоть один праведный, говорю я вам, вы не имели бы права осуждать весь Израиль!» Роллан, письмо к Верхарну. И столицей мира будет — что бы вы думали? Иерусалим? Ничего подобного! Кана Галилейская — вот что будет столицей мира! Ха!

Алеха *(басит).* И бу-удешь ты столицей ми-и-и-и... *(Не закончив, оседает на койку).*

Гуревич. Распростертие крыльев наших будет во всю ширину земли твоей, Эммануил! Не лишайте себя предрассветных чувств! Где твоя труба, лучший трубач Советского Союза Тимофей Докшицер?! Свистать всех наверх! Еще по *бокалу*! За солнечное сплетение обстоятельств!..

Алеха *(голосом, хриплым и павшим).* Ура.

Витя выпив, тоже оседает на койку, рядом с Алехой. Его начинает неудержимо рвать, рвать даже шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь рвотою, делает несколько конвульсивных движений ногами — падает на постель, бездыханный. Гуревич и Прохоров загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате — неизвестно почему — начинает меркнуть.

Стасик (встает с колен. Забегал в последний раз). Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?.. Почему в 1970 году ЮНЕСКО не отметило две тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?!.. (И снова замирает, на этот раз со склоненной головою и скрестивши руки на груди, а-ля-Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала).

Прохоров. Алеха!..

Алеха (тяжко дышит). Да... я тут...

Прохоров (тормошит). Алеха!

Алеха. Да... я тут... прощай, мама... твоя дочь Любка... уходит... в сырую землю... (Запрокидывается и хрипит)... мой пепел... разбросайте над Гангом... (Хрипы обрываются).

Прохоров. Так что же это... Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо... А тебе — ничего?.. (уже исподлобья).

Гуревич. Да видеть-то я вижу. Просто в палате потемнело. И дышать все тяжелее... Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то...

Прохоров. Я тоже — почти сразу заметил... А ты, если *сразу* заметил, — почему не сказал? принуждал почему?..

Гуревич. Да кто же принуждал? Мне просто показалось...

Прохоров. Что тебе показалось?.. А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще *казалось*?.. (Злобно). Ум-мысел у тебя был. Ум-мысел. *Вы* же не можете... без ум-мысла...

Гуревич. Да, умысел был: разобщенных — сблизить. Злобствующих — умиротворить... приобщить их к маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла — не было...

Прохоров. Врешь, ползучая тварь... Врешь... Я знаю, чего ты замыслил... Всех — на тот свет, всех — под корень... Я с самого начала тебя раскусил... Ренедекарт... Сссучара... (Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надвигается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах — что-то отбрасывает его назад, в постель). Сссученок...

Гуревич. Выражайся достойнее, староста... Что проку говорить теперь об этом? Поздно. Я уже после Вовиной смерти понял, что поздно. Оставалось только продолжать. Заметить-то я *сразу* заметил. А вот убедился — когда уже поздно...

Прохоров. Ты мне просто скажи — смертельную дозу... мы уже перевалили?..

Гуревич. По-моему, да. И давно уже.

Обмениваются взглядами, полными бездонного смысла. Продолжает темнеть.

Прохоров. Пиздец, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой вины... Налей, Гуревич, весь остаток — пополам. Ты готов?

Гуревич (совершенно спокойно). Готов. Но только здесь умирать — противонатурально. Меж крутых бережков — пожалуйста. Меж высоких хлебов — хоть сейчас... Но здесь!.. (Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего). И потом — мне предстоит вначале большое дело... один обещанный визит... (Прохоров, ухватившись за горло и сердце, — клонится и клонится к подушке).

Гуревич (машинально продолжает долбить). Они там маевничают... У них шампанское льется со стерлядями... У них райская жизнь, у нас — самурайская... Они — бальные, мы — погребальные... Но мы люди дальнего следования... Сейчас мы встанем... Изверг естества... неужели с ней? Уже несколько часов — с ней?.. А я-то: о Кане Галилейской... «Гуревич, милый, все будет хорошо...» — так она сказала. Сейчас

мы посмотрим, до какой степени все будет хорошо... Сейчас, сейчас... (Вскакивает и опять обрушивается на стул).

За сценой — или изнутри стен — упадочническая песня Надежды Обуховой: «Ой, ты, ночка, ночка те-омная...» etc.

Гуревич. Ты звал меня на ужин. Мордоворот, так я — к завтраку... Чудотворная девка! Натали!.. Пока я тут сижу и приобретаю модальные оттенки, они в это время... Господи, не мучай... они в это время... (Роняет голову на тумбочку и вцепляется в волосы).

Голос сверху (голос, в котором не столько императива, сколько насморочного металла). Владимир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...

Гуревич (подымает голову и глядит на птицу с недоумением безмерным). Боже милосердный! *Это* еще что? И я почти ничего не вижу... Библию мне и посох — и маленького поводыря... За малое даяние пойду по свету — благовестить. Теперь я знаю, что и о чем — благовестить...

Голос сверху. Влади-и-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу (ускоренно) на хуй — на хуй — на хуй — на хуй...

Гуревич (с тяжким трудом приподымается со стула, вцепившись в тумбочку всей душою — только б не упасть, только б не упасть). Пока еще хоть немножко осталось зрения — я доберусь до тебя, я приду на завтрак... Ссскот... (Отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй). Ничего, я дойду. (Третий шаг. Четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп контр-адмирала, — падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати, — встает). Я дойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла... Ведь не может же быть, Натали, чтобы все *так и оставалось*. (Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.) Боже, не дай до конца ослепнуть... Прежде исполнения возмездия. (И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся, громких рыданий). Дойду. Доползу... (Как ему это удается? — снова встает во весь рост. Руками обшаривая перед собою пространство, делает еще пять шагов — и он уже у дверного косяка). Сейчас... чуть передохну — и по коридору, по стенке, по стенке...

Прохоров, до того лежавший спокойно, приподымает голову — и издает крик, всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и

медбратьев в дальней ординаторской и в докторском кабинете. Так в этом мире не кричат. Взбудораженные, полусонные, поддавшие постовые, с Ранинсоном во главе, — по освещенному коридору приближаются к 3-й палате поступью Фортинбрасов. Первое, что им предстает, — едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордоворот пинком отшвыривает его от входа в палату. Все врываются.

РАНИНСОН (перекрывая разноголосицу и гвалт). Срочно к телефону!! На центральный и в морг!!

ПОСТОВЫЕ МЕДСЕСТРЫ (вразнобой). «А один-то! Один умер стоя! скрестивши руки!.. и до сих пор не падает, к стене привалился!» «Весь запас метилового — подчистую!» «Нет, один, по-моему, еще дышит...» «Кто же так кричал?» (И пр. и пр.)

КУЧА САНИТАРОВ (толстых с носилками). Сколько я помню, никогда такого урожая не случалось. (Начинается вынос трупов, поочередно. Конец финала второй симфонии Сибелиуса.)

БОРЕНЬКА. Наташа, где твои ключи?!..

НАТАЛИ (ополоумев, даже не плачет). Ой, не знаю... Ничего не знаю...

ОДНА ИЗ МЕДСЕСТЕР. А Колю-то, Колю зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит...

РАНИНСОН (язвительно). Ничего! Тоже — в морг! Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической смертью или клиническим слабоумием!..

БОРЕНЬКА (поддевая ногой раненую голову Гуревича). А с этим — что делать?

РАНИНСОН. Пронаблюдайте за ним. А я — к телефону. Трезвону сегодня не оберешься.

БОРЕНЬКА (за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все). Ну, как поживаем, гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вонючее ваше племя!.. (Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком). Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, сссрань еврейская. Всех!

ГУРЕВИЧ (хрипло). Я же — ничего не знал... (Еще удар)... Я же слепой... Я ничего не вижу... (Удар).

НАТАЛИ (из полутьмы). Что же теперь будет-то? Что же теперь будет-то? Мама!.. (Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девочка).

БОРЕНЬКА (при каждой его реплике Сибелиус на время отступает, и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняния, — от-

дает протухшей поросятиной, псиной и паленой шерстью). Ослеп, говоришь? сссучье вымя!.. раньше ты жил как в Раю: кто в морду влепит — все видать. А теперь — хуй чего увидишь! (Влепляет еще, потом опять в голову.)

НАТАЛИ (истерично). Борька! Переста-ань! Перестань! Ведь это с ума сойти!.. Переста-а-ань же! (Закатывается в клокочущих рыданиях).

БОРЕНЬКА (со все возрастающим остервенением). Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя! (Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата). Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!..

Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там — по ту сторону занавеса — продолжается все то же, и без милосердия. Рык Гуревича становится все смертельнее. Оттуда — из палаты — сквозь занавес — вылетает к зрителям куль с постельным бельем; следом тумбочка, и рассыпается вдребезги. Потом — клетка с уже околевшим *ото всего этого* попугаем. Никаких аплодисментов.

Ранней весной 85 г.

Крохотное послесловие

«За музыкою только дело», без этого нельзя. Кроме уже рассованных по тексту авторских указаний, можно использовать (совсем негромко) русские народные песни: вроде «Позарастали стежки-дорожки», «На Муромской дорожке», лучше оркестровые вариации на эти темы — (в 3-м акте). Русскую песню «У зари-то у зореньки» (в 1-й половине 4-го акта). 1-я часть 3-й симфонии Малера, совсем засурдиненно, в 1-м акте. Какое-нибудь из самых мерных и безотрадных Andante Брукнера в 5-м. Ну, и так далее.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Самый большой грех по отношению к ближнему — говорить ему то, что он поймет с первого раза.

У меня абсолютный слух. Я способен расслышать, как рушатся моральные устои на Пятницкой, 10, как плачут ангелы над погибшей душой друга Тихонова.

Это не для меня, это для менее сложных натур.

слово «что-нибудь» все честные люди пишут через черточку.

Я на небо очень редко смотрю.
Я не люблю небо.

Так думаю я и со мной все прогрессивное человечество.

Я сердоболен.

По Корану свидетельство одного мужчины приравнивается к свидетельству двух женщин.

Де Местр: простолюдин глуп, груб, безнравствен и подл.

Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица. Уголовный роман.

футурист Антон Пуп.

Не трогайте моих чертежей!

Жаб я не люблю. Я пауков люблю. И филина.

«Осерчала ты, Мать Богородица!
Богородица Мать, не серчай!»
(Городецкий)

Раз начав, уже трудно остановиться. 50 лет установления советской власти в Актюбинске, 25 лет львовско-сандомирской операции etc. etc. Все ширится мутный поток унылых, обалбесивающих юбилеев.

Как хороши, как свежи были позы!

«Но так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велел».
(Адамович)

Иди ко мне, подлюка, я с тобой поделюсь моей нехитрой девичьей тайной.

Опять о Прометее и под какую статью Уголовного кодекса попал бы страдалец.

Вл. Бестужев:
«Средь бесконечных волн рождаю
Мою свободную струю».

Вл. Бестужев:
«За видимым невидимое вижу,
Но видимое пламенней люблю».

Пидеразм Вроттердамский

Неуважение к русским только по одному мотиву – их легкий отказ от внешней, обрядовой стороны христианства, почти у всех поголовно, и от этого ущерб, всеобщий, самого христианского чувства.

«Приличие – величайшее несчастье XIX века». (Стендаль).

В Японии свободно продаются в магазинах бамбуковые наборы для харакири.

«И что же дается в наших театрах? какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и водевили».
(Гоголь, «Москва и Петербург»).

О скульптуре: «Напрасно пытались изобразить ею высокие явления христианства».

«Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство вздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское».

«Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»
(Гоголь, «Скульптура, живопись и музыка»).

Симбирский поэт начала века Ник. Лоскутов и его сборник стихов «Рыданье гибнущих надежд».

Гоголь о царе вандалов Гензерихе: им овладела та свирепая задумчивость, которая сушит и мучает душу.

Белый и синий — цвета Богородицы.

К вопросу о «собственном я» и т. д. Я для самого себя паршивый собеседник, но все-таки путный. Говорю без издевательств и без повышений голоса, тихими и проникновенными штампами, вроде «Ничего, ничего, Ерофеев» или «Зря ты все это затеял, ну да ладно уж» или «Ну ты сам посуди, ну зачем тебе это» или «пройдет, пройдет, ничего».

Если человеку по утрам скверно, а вечером он бодр и полон надежд, он дурной человек, это верный признак. А если наоборот — признак человека посредственного. А хороших нет, как известно.

Это напоминает ночное сидение на вокзале. Т. е. ты очнулся — тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся — тебе 48, опять задремал — и уже не проснулся.

Бестолковость, т.е. поэтичность мышления.

Блажен, с кем смолоду был серп,
Блажен, с кем смолоду был молот.

Я владыка естества, не забывай, гаденыш.

В общежитии – «сапогом в живот надо, пусть корячится».

А она мне, субтильная мандавошечка, говорит на это: «А кто детей будет за тебя воспитывать, Пушкин что ли?»

Новость: Чапаева откачали.

Один, издеваясь, спрашивает: «Чьей женой была Нефертити, если мужем ее был Тутанхамон?» А другой, унылый скептик, отвечает: «Я с твоей Нефертити и срать рядом не сяду».

«Люблю сухой, горячий блеск червонца».
(Бунин)

Сильвио в «Паяцах»: «О, для чего тобой я околдован?»

У Городецкого: «Ах вы, ангелы, архангелы, святители мои!»

...написать задачник, развивающий, попутно с навыками счета, моральное чувство и чувство исторической перспективы.

Например, такая задача. Выразить в копейках цены зверобоя, московской особой, столичной, российской и найти в истории европейской такую войну, все основные события которой следовали бы с теми же интервалами.

...Преодолевает свое «я», находит свое «я» и снова его теряет, преследует себя, обретает себя, вновь и уже окончательно преодолевает, но потом невпопад снова находит.

«По-модному одета
В широкое манто –
Она забыла это
И помнит только то».
(Потемкин)

Когда отступаешь от идеалов, напоминай обвинителям, что быть совершенно благородным скушно.

И рожи у них гладкие, классически-ясные. Если и есть прыщи, то где-нибудь у загривка.

солидное поэтизирование адюльтеров у этих антимещан и пидоров.

Ты жил в углу, мой Веничка.
Постранствуй-ка в пространстве.

Брюсов рифмует Сирию с Ассирией.

В стихах Ардова: «Дай руку мне, вся жизнь есть бред» или: «Не подходи, ты не поймешь цветов».

Коран рекомендует: «возноси хвалы при уходе звезд».

Во вступительной статье: все они пришли в канун века или чуть позже, и году к 20-му все перемерли или разбежались.

Все подлости относить на счет антиномичности ее души.

«Если хочешь – иди согреши».
(Д. С. Мережковский)

Северянин о городе Череповец:
«Давно из памяти ты вышел,
Ничтожный город на Шексне».

Писать надо по возможности плохо. Писать надо так, чтобы читать было противно.

Оказывается, это знаменитый шансонье Шевалье, в своем соломенном канотье.

У Гоголя в «Майской ночи» Ганна признается Левко, что любит его без памяти за то, что тот умеет дергать и шевелить усом.

Конечно, можно прожить и без этого всего. Какое дело, к примеру, чукчам, есть у них Анакреон или нет?

И всегда с наступлением холодов с завистью вспоминаю Прозерпину, которую Плутон забирал к себе в Аид на эти зябкие полгода — и выпускал на волю к первым цветам.

Поэтизировать природу — самое недостойное занятие. Она ни в чем нам не сродни, т. е. слепа, нема, глуха и самое главное — не чувствует боли. У нее есть аппетит, пожалуй и все.

Розанов сказал: «Тайный пафос еврея — быть элегантным».

И Томас Манн в 42 г.: «И это такая простая правда, что больно говорить о ней».

Вадим Лжедмитриевич

Суворин о Толстом: «Ну, что хотя бы и Хаджи-Мурат против Капитанской дочки? Говно.» «Говно» было его любимое слово.

Знать о Перу не больше, чем есть в веселой истории Периколы и Пекильо у Оффенбаха.

О Брюсове в журнале «Сельская молодежь»: символист с гипертрофированным интеллектом.

Я длинен настолько, что «подпираю небосклон», как сказал поэт о Казбеке.

И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость и недостаток характера.

молодежный вальс Хабибулина и молодежные песни Агабабова.

Вопрос: кто из нас троих представляет собой художественную ценность?

говорить о меню применительно к духовной пище

Идеал последовательности: направляя заказ на книги в магазин «Книги стран народной демократии», писать так: Москва, К-9, ул. Горького, 15, Книги стран коммунистических однопартийных режимов.

Надо привыкать шутить по-«Крокодильски», например, так: «Будь у нее формы, я взял бы ее на содержание».

Дай мне силы, боже, пройти завтра мимо него и не плюнуть в лицо ему!

Веселись, негритянка!

в обществе блестящих женщин села Караваева

Это случилось в 1909 г., т. е. уже к тому времени, когда он (Скрябин) совсем раздухарился и стал давать своим опусам блатные названия.

Мне не нужна стена, на которую я мог бы опереться. У меня есть своя опора и я силен. Но дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину.

что удобнее потерять: вкус или совесть?

если это система, то она очень нервная, эта система.

Рассказ о Маугли автобиографичен. Киплинг сам был вскормлен волками британского империализма.

и хочется кому-нибудь что-нибудь внедрить

А, знаю! Античность, громы Юпитера, зерно Персефоны, борьба титанов и драйзеров и т. п.

В 1956 г. стало известно, что Олег Кошевой был педерастом. Это послужило причиной фадеевского самоубийства.

смертоносные сообщения

использование и возврат низменных чувств

12—3417

В мировой поэзии скептицизм облекается обычно в форму шестистопных ямбов: например, так: Гамле́т не говорил: «ту би ор нот ту би». И Ма́льбрук никогда в поход не собирался.

у Ф. Сологуба: «Расстегни свои застежки и завязки развяжи».

О благородстве спорить нечего. У Матфея уже изложены все нормы благородства.

Если ты все знаешь, так скажи, какой средний грузооборот у Щецинского порта?

С детства приучать ребенка к чистоплотности, с привлечением авторитетов. Например, говорить ему, что святой Антоний – бяка, он никогда не мыл руки, а Понтий Пилат наоборот.

Любую подлость оправдывать бальзаковским: «Я – инструмент... на котором играют обстоятельства».

В мой венец он вплел 2–3 своих лавра, а я потом ходил и не понимал: откуда это так плохо пахнет?

Дежурная фраза Кузьминичны: «Сову видно по походке, а добра молодца – по соплям».

пристрастие всех неуравновешенных натур к моральной философии

все проделывала с потрясающей пластичностью

Хорошему человеку всегда хорошо

«прекраснее самой красоты», как говорят на Филиппинах

Надо уметь «подождать до времени», чтобы избавиться от упреков разных сопляков, вроде Гамлета; надо доносить свои башмаки, прежде чем решиться.

Одна русская дама у Герцена: «Что мне надо сделать, чтобы полюбить Швэйцарию?»

Так же, примерно, модно, как в 50-х гг. было смеяться над Ламартином.

И чудак же этот Ахиллес Пелид! У всех нормальных людей только пятка неуязвима, а у этого — все наоборот.

Продается ручной скворец по кличке Федя. Разговаривает, свищет по-соловьиному, поет «Цыганский барон» и целуется. Цена 75 руб.

В 18—19-летнем возрасте, когда при мне говорили неинтересное, я говорил: «О, какой вздор! Стоит ли говорить!» И мне говорили: «Ну, а если так, что же все-таки не вздор?». И я наедине с собой говорил: «О! Не знаю, но есть!». Вот с этого все начинается.

Нужно, чтобы всякий предмет, попавшийся на глаза, мог стать темою.

Что значит: ничем не занимался? Я сокрушен был сердцем. А разве это не занятие?

философские камни в печени

Интересно, как глядели бы на тебя, если б ты сейчас вот вышел в белом жилете с отворотами à la Робеспьер. Или, например, орал бы в переулке: «Долой Гизó! Да здравствует Реформа!»

Последовательным антисионистом может стать только тот, у кого утвердилась Святыня.

«Обжирайтесь, мрачные умы!»

Не женщина, а телесное наказание.

Царь Мидас, к чему бы ни прикасался, все обращал в золото, а в твоих руках все делается дерьмом.

Вот еще красивое женское имя: Антанта.

Целых три рубля! «За каждым крупным состоянием кроется злодейство», сказал Бальзак.

Ритуальный танец Замбии «Убийство Лумумбы» символизирует радость жизни и борьбу с темными силами природы.

Чтобы жена никогда не сомневалась в твоей верности, — советую я, — дай ей понять, но только самым косвенным путем, что ты простофиля. Т. е. не абсолютно простофиля, а ровно настолько, чтобы не потерять любви и быть (одновременно) свободным от подозрений.

Вижу, как цветут каштаны. Прихожу к тому, что красивее калины ничто не цветет. Смотреть, смотреть. Нюхать, нюхать.

а оладьи такие нежные, такие аппетитные, — ну, прямо как девушки!

Ценные вещи создаются только в «мире, где все продается и покупается».

Любимый герой Шолохова (Давыдов, «Поднятая целина») говорит: «Ты бы лучше массовую работу вел, а расстреливать — это просто».

Лично я убежден в историчности Адама и Евы.

О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!

Родственные чувства испытывать удобнее, потому что они имеют очень четкий предел.

громадная душа в щуплом и веснушчатом теле. Не женщина, а стихотворение в прозе.

Новая история интереснее старой. Можно было бы проследить, как дублируются поступки древних из тех соображений, которые им показались бы смешными. Муций Сцевола — о. Сергий, Курий — Гаршин.

ничто не вечно, кроме позора

тщетны россам все препоны

За одно и то же, т. е. за один способ поведения, известную группу металлов называют благородными, а газы — инертными.

«только деньгам нужна красота, красоте же и денег не надо»

В стиле Ларошфуко: «Глупость недоверчива».

Вот клички: в 1955—57 гг. меня называют попросту «Веничка» (Москва), в 1957—58 гг., по мере поседения и повзросления — «Венедикт»; в 1959 г. — «Бэн», в 1960 г. — «Бэн», «граф», «сам»; в 1961—62 гг. опять «Венедикт», и с 1963 г. — снова поголовное «Веничка».

Андре Моруа в книге «Моя родина», в книге, написанной специально для нефранцузов, говорит о Франции со всех сторон и решительно обо всем, кроме музыки.

Любите безмолвные игры.

Болван Робеспьер, он почему-то и в атеизме усматривал аристократизм.

И главное: научить их чтить русскую литературную классику и говорить о ней не иначе, как со склоненной головой. Все, что мы говорим и делаем, а тем более все, что нам предписало «сверху» говорить и делать — все мизерно, смешно и нечисто по сравнению с любой репликой, гримасой или жестом ее персонажей.

А интересно, для чего чучмекам надо было устраивать в Ташкенте землетрясение?

У Чехова повсюду и постоянно герои поют романс «Не говори, что молодость сгубила...» Что это такое?

кремлевские обс-куранты

Всякие сопливые скептики ей говорят: «Бросьте, дамочка, вот уж третий год как он во гробе, и уж смердеть перестал». А она подошла ко гробу (о, как подошла!) и го-

ворит: «Встань и иди вон». И что ж вы думаете? — встал и пошел.

Колокольчики, лютики; собираю первые букетики; это развивает чувство тона и пропорции.

Мой малыш, с букетом полевых цветов, верхом на козе. Возраст 153 дня.

Во сне переживаю ситуацию, радующую совершенным отсутствием светлого исхода.

Я успел только пригубить из чаши восторгов, и у меня ее вышибли из рук.

А то, что я принимал за путеводные звезды, оказалось — потешные огни.

«Все хляби твои и потоки твои прошли надо мною».

далась вам эта внутренняя секреция!

«с точки зрения вечности» и «с точки зрения Фонарного переулка»

Двенадцатый день не пью, и замечаю, что трезвость так же губительна, как физический труд и свежий воздух. Мелкое наблюдение: я никак не могу вспомнить один редко употребляемый и более крепкий синоним к словам «мракобес», «ретроград», «реакционер», «рутинер» — который уже день не могу вспомнить. Бьюсь об заклад, как только сниму с себя зароки и выпью первые сто грамм, припомню немедленно.

Когда он бывает чем-нибудь доволен, его любимая присказка: «Умерла моя старушка у окна».

Итак, в школах необходимо преподавать: астрологию-алхимию-метафизику-теософию-порнографию-демонологию и основы гомосексуализма. Остальное упразднить.

Ну а что Моцартам «Жигули?» Им нужна неотложная отрава, алгебра и гармония.

Научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет.

В июне, в Мышлине, я все это (и самые тонкие яства, вроде Рильке и Малера) «кушал без аппетита». Теперь очень понятно, что значит «жрать все подряд» — только бы утолить голод. От этого голода (т. е. ни одной мелодии и ни одной стихотворной строчки за полмесяца) — самая естественная слабость, головокружение, «не речивость» и все такое. Если бы я вдруг откуда-нибудь узнал с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу ничего Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери. Очень серьезно (к вопросу о «пустяках» и «психически сравнимых величинах»).

«хорошенькое личико в стиле времен регенства»

И еще женское имя: Галиматья.

И при всем том я еще не встречал человека, которого эротическое до такой степени поглощало бы всего.

Прынц Гамлет, пляшущий матаню.

В Нотр-Даме бедняга Квазимодо полчаса «с жуткой равномерностью» и изо всех сил бьется головой об стену. И ничего. Потом он садится у двери «в позе, исполненной изумления».

Грустная песня США: «Отец небесный, заря угасает».

Невозмутимая истерия, но мне дорого обходится.

Стыд — лучшее из числа «благородных чувств». Можно завидовать мертвым во многом, но только не в том, что они срама не имут.

И возражения-то самые смешные: раз Флавий умолчал, значит Нагорная проповедь галиматья. Иона не мог попасть в чрево кита — значит и все книги пророков ничего не стоят.

«с недельку потужить» после кончины

Популярной в 20-е годы была поварская вегетарианская книга с названием «Я никого не ем».

Признаки верного благополучия в семье 20-х гг.: герань, гардины, граммофон.

Любит философствовать, приговаривая: «Кто создал наше тело? — Природа. Она живит и разрушает его каждый день. Кто выпестовал наш дух? — Алкоголь выпестовал наш дух, и так же разрушает и живит его, и так же постоянно».

наш простой советский сверхчеловек

«Берегите слезы ваших детей, чтобы они могли пролить их на вашей могиле» (Пифагор).

он был человек простой и неотесанный, поехал в Горки проветривать мозги и т. п.

Бонапарт рекомендовал как можно чаще оперировать понятиями, ничего не выражающими и все объясняющими, например «судьба».

Прежде у людей был оплот. Гусар на саблю опирался, Лютер — на Бога, испанка молодая — на балкон. А где теперь у людей опора?

Есть языки, в которых вообще нет бранных слов и выражений, тем более нецензурных. У малайцев, например, самое сильное оскорбление и ругательство: «Как тебе не стыдно!»

А почему я бездельничаю — потому что в калашный ряд только со свиным рылом впускают, а вода только под лежачий камень течет, и т. д.

И если уж гнаться, то не меньше, как за двумя зайцами.

У жида есть искусство и есть торговля. И примесь искусства в коммерции, и примесь коммерции в искусстве.

«старичок крепкий, как умывальник»

«Гляжу я на тебя, Тихонов, и думаю: отчего это все великие люди плохо воспитаны?»

Для чего нам говорить «самолюбие», «тщеславие» и все т. п., когда у нас есть «гордыня», термин точный и освященный новозаветной традицией.

Аттила, принимая византийское посольство, сидел на троне и выковыривал грязь между пальцами ног.

Китайцы смеются, сообщая печальные новости — по их понятиям, это выказывает твердость духа и ограждает от выражений сочувствия. Эренбург: Эми Сяо сообщает ему о смерти своей жены — с хохотом.

Фет — буфет. А у Маяковского даже: Фет — кафе.

и две коровы: одну назвали Догма, другую — Доктрина

Конь задохся, как удавленник. Бубенцы осатанели.

И еще женское имя: Агентура.

Mutantur tempora. В правлениях совхозов висят портреты патера Менделя. Стаханов, преклонный старик, застрелен в затылок при попытке к бегству ракетой «земля-воздух». Проходимец Лысенко объявлен врагом народа, а Надежда Крупская уличена в лесбиянстве. Мичурин, оказалось, на своем участке в Козловском уезде выполнял задания фашистских агентур. Сыновья удавлены. «Чорт» снова пишется через «о», а «весна» через «ять».

раздроблена нижняя челюсть правой ноги

Великолепное «все равно». Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и поэтому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это — только в самые высокие минуты, т. е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особой утраты. Это можно было бы развить.

Во Вьетнаме учрежден вымпел, который вручается подразделению, сбившему самолет противника после доклада Хо в Пхеньяне. Вымпел называется: «По приказу дяди Хо разгромим американских агрессоров».

У В. Тихонова ни сердца, ни ума, ни постоянства, ни идеи — одно только: индивидуальность.

А что нам с этих трехсот грамм будет? Мы же гипербореи.

Это кто тут у вас, Ерофеев, все стреляет? — спрашивает она.

Это Амур, — отвечаю, — стреляет мне в сердце, жестокая девушка.

«ни гласа, ни послушания»

Геббельс, автор неологизмов: «железный занавес» и «трудовой фронт».

отсутствие динамичности в моем характере

все потеряно, кроме индивидуальности

Не любить собак. Любимая собака Гитлера в подземелье имперской канцелярии разделяет его судьбу. Собака-овчарка Блонди. Гитлер в марте 45 г.: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак».

Солнце останавливали словом. Иоанн Богослов. Первые учебные заведения мира — школы риторики, а не военного дела, не медицины и пр.

познакомились и согрешили

Байрон говорит, что порядочному человеку нельзя жить более 35 лет, Достоевский говорит: 40.

А какие имена (не фамилии, а имена)! Лазарь Каганович, Лаврентий Берия, Иосиф Сталин...

рожа красная, как святые раны Господни

Мне ненавистен «простой человек», т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его «простота», наконец... О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения. Я поседел от того, что в милом старом веке называли попросту «мизантропиею».

стучит казбечиной по пачке «Казбека», гладит пистолет и дует в него, точит нож о голенище — «Ну, так как же, будем говорить?».

Английские книги по этикету XV–XVI вв. запрещали, во время трапезы, плевать через стол и сморкаться в скатерть.

понемногу суживать круг вещей, над которыми позволительно смеяться

Мелкая сволочь. Люди вдесятеро сильнее их чувствующие зовут к самообузданию и являют образцы. А эти — не могут!

Публиций Сир: «Мы начинаем интересоваться людьми, когда видим, что они интересуются нами».

Вы такой нежный человек, Ерофеев, такой неожиданный. Я буду реветь, когда вы уедете.

Гете имел привычку принимать королевских особ у себя — во фланелевом халате и в тапочках.

Колхоз дело добровольное: хошь, не хошь, а вступать надо.

А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности

Магазины на ул. Пушкина. Соболя и колбасы. Вино, фрукты и диапозитивы.

«Буря возмущения среди трудящихся Англии»: консерваторы ввели трехдневную рабочую неделю.

и ограниченность и нормативность

Сравни их тяжесть и безвыходность, и мою, дурацкую. У них завтра зарплата – а сегодня нечего жрать. А у меня ленинградская блокада.

А Тихонов бы все напутал. Он в Афинах был бы Брут, а в Риме – Периклес.

Т. е. виною молчания еще и постоянное отсутствие одиночества; стены закрытых кабин мужских туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых – ни строчки.

гарнизонным языком и походкою

Эпикур, в письме к Менелаю, свое знаменитое: «Благодарение божественной натуре за то, что она нужное сделала нетрудным, а трудное – ненужным».

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

«Гибельные следствия полуфилософии» (Карамзин).

Библейское: «И только печаль утоляет сердца».

Ввели новый термин: «бессильный гуманизм». Да и всякий гуманизм бессилен. Да здравствует бессильный гуманизм!

«вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями – ему подсунули заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий»

«за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация»

Вот и Христос: «тут же разрушу храм и в три дня его построю». Почему же в три, если он мог и в одно мгновение? Так убедительнее для обывателя.

соитие страстотерпца с великомученицей

Они работают, ну и пусть работают. Это очень мило с их стороны.

«обморочным ощущением отчаяния»

На всей земле нет более скучного умом человека.

Ото всего этого несет непоправимостью.

У него зато душа грамотная, душа — с высшим образованием.

«Мир — результат самоограничения Бога» (Л. Карсавин).

Не забывать о главном: трогательность.

Одну руку вложил в другую и сделал так подряд несколько стахановских движений.

Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести — нехорошо и греховно.

И в самом деле (где-то у Шварца): если бы Франц Моор пришел в театр смотреть «Разбойников», он болел бы за Карла Моора.

Св. Филипп, в мире Феодор: «Не разлучай меня с моей пустыней»

Альбер Камю «примыкал к модернистскому направлению так называемого героического пессимизма».

У него: «из столкновения человеческого разума и безрассудного молчания мира рождается абсурд».

Восстановить эту параллель пьющих и непьющих:
Христос — Магомет; Дантон — Робеспьер; Геринг — Адольф; Есенин — Маяковский

По примеру языка нести коммуникативную функцию.

«Сорокин тем лучше Тихонова, что, когда выпьет, не говорит умных вещей».

женщина неограниченных возможностей

бесстыдство помыслов

пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом

«ангел ты мой поднебесный»

«Превыше всего — забота о сохранении собственного достоинства» (Цезарь у Саллюстия)

Самые часто упоминаемые фамилии по заморским радиостанциям: Пиночет, Попадопулос, Померанц.

Протопоп у Лескова: «Мечтателю подобает говорить бестолково».

«Эта работа тем более подходила мне (работа историка), что я был свободен от надежд, от страха и от духа партийности».

Человек внезапный. А у меня нет никакого вкуса к этим внезапностям

«искалеченных правильной жизнью»

и одесситская манера выражаться: «Не доводите человека до крайности» и «Наплюйте мне в очи».

«мы восприняли это как оскорбление нашей мечты»

«Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!»

«По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века».

«такой нечаянный и огромный душевный покой (отсутствие самых ничтожных тревог), по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным»

«одиночество, близкое к состоянию безмолвного душевного подъема»

«щемящие сердце взаимоотношения»

«у меня было какое-то важное дело на душе»

Ср. Сто дней Наполеона и Сто дней Магеллана.

«Поник я буйной головой,
Погибли идеалы»
(Некрасов)

Короткие мысли: «Любови цыганской короче», как говорил Блок.

На левую ногу я надел ботинок без носка, на правую — только носок. Пусть все видят, что я взволнован.

Сходится клином земля, с овчинку кажется небо.

Это происходит и по вине людей и по Божьему попущению.

он щекотал под мышками эту великомученицу

Эпоха великих порнографических открытий

Солженицын не потому интересен, что о нем много трезвонят. Ср., например, шумы в местах радио «Свобода». Мы вслушиваемся не потому.

«хорошо образованную душу и хорошо устроенные члены» (у Коменского).

«кто хочет, пусть думает иначе»

«Здесь никогда не бывает благодатных времен года»

дегенеральный секретарь

«Это может доставить удовольствие только извращенному сердцу».

Романс Ипполитова-Иванова: «О, запах померанцев!»

Глупая радиостанция «Свобода», она выбирает для трансляций на Союз как раз те волны, на которых больше всего шума — нет бы сместиться влево или вправо.

Любить Родину беззаветно — это примерно значит: покупать на все свои деньги одни только лотерейные билеты, оставляя себе только на соль и хлеб. И не проверять их.

Никсон попросил Голду Мейр занять более гибкую позицию.

Уйди, противный, а не то я тебя убью из револьвера.

«Распускайте Думу, но не трогайте Конституцию» (Столыпин).

«таил в себе сокровища эгоизма и эпикурейских склонностей» (П. Анненков).

Вот у Некрасова изображение горя:
«Соленых рыжиков не ест,
И чай ему не пьется».

«Что мне в ваших рукоплесканиях?» (Иоанн Златоуст).

До победного конца. Т. е. или Садат пополам, или Мейр вдребезги.

«там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов»

«заражен чужеземными взглядами»

«Обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур».

«Идеальный человек. Но жаль, что пьянствует» (Чехов о Горьком).

Мы так и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда, а через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

Чета Апухтин — Чайковский. Продлить и заподозрить: Рождественский — Таривердиев.

суесловие и пустозвонство

Дуры песни поют, а дурак все горит, разгорается.

Князь Вяземский советует иметь по русскому часовому при каждом поляке.

«и раздвояется сердце человека»

«Не родись красивой», как сказал Андрей Эшпай.

И посылает нам искушения, чтобы удостовериться, насколько мы усовершенствовались.

«Я христианин и не подобает мне кланяться твари» (А. Невский).

«махровые головки» у цветов (русская поэзия)

Жандармский генерал-майор Глоба телеграфирует в Петербург директору Департамента Полиции: «В Астапово полное спокойствие. Население относится безучастно к участи графа Толстого».

Графу Толстому, за 3 дня до кончины, для поддержания деятельности сердца дают коньяк.

«Счастлив тот, кого смерть застигнет за подобным занятием» (Эразм Роттердамский).

Он все путает Андре Жида с Андреем Ждановым. Леконта де Лиля с Руже де Лилем и Мусой Джалилем. Бук с бамбуком.

вела себя естественно и позорно

Жители острова Гельголанд желают друг другу в Новый год не здоровья, не удачи, а «спокойного сердца».

«Иногда, хоть и редко, свежевыпущенная моча светится фосфорическим светом; причина фосфоресценции еще не выяснена» (проф. Бок).

я упал в обморок, но не показал и виду

Не замечать за собой ничего дурного. Пусть левая твоя ноздря не ведает, куда сморкнулась правая.

Что в этом случае сказал бы псалмопевец? Он ничего бы не сказал.

Выпью еще стакан солнцедара, закушу луковицей и буду славить моего Господа.

Щербина говорил о русских:
«Мы – европейские слова
И – азиатские поступки».

во Владимирской области, «заколдованной области плача»

Не возмещу моральной потери, но и подставлять левую щеку потом не буду. Попробую забыть и «перестрадать». Пусть левая твоя щека не ведает, что тебя съездили по правой.

параноик «с византийским уклоном»

в скоморошьем расположении духа
в дидактическом, менторском etc.

свежа, как предание

«Прости меня, благородное животное».

Опять о животных, Столкновение со стадом кабанов... Когда Господь прибирает нас к рукам, против этого нечего возразить. Когда человек – это еще куда ни шло, Но – эти... etc

«в этих стихах слышится вызов небосводу»

нации, скопом, вымирают от угрызений совести

Конституция должна гарантировать человеку право на галлюцинацию и «перманентную угнетенность».

Сколько среди персонажей русской беллетристики XIX самоубийц — больше, чем было в действительности. Ср. в XX — повальные самоубийства, а ни один почти персонаж не покончил с собой.

И не забывать о своем диаспорическом родстве с иудеями.

Ключевский: «гальванистические подергивания мозгами».

Какого им еще мессию? И что он сможет добавить к тому, что тот уже сказал? Этот, ихний, будет молчать и заниматься судопроизводством.

Еще женское имя: Прокуратура (просто Прошка).

«Между нами зияла метафизическая бездна»

Сослан в Тулу за гомосексуализм.

морганатический (т. е. тайный) брак скреплен симпатическими чернилами.

Этого глупца даже удобно держать у себя в квартире: он поглощает углекислоту и выделяет чистый кислород.

Хотел ее пощупать, но это вызвало бы большой международный резонанс.

В 36—39 гг. арестовано 1 млн. 200 тыс. членов партии (ровно половина).

Установить для Мельниковой, был ли Дантес евреем, она мне за это полтинник даст.

Черный сентябрь. Под угрозой парабеллума направить автобус с детишками куда-нибудь. Дорогой выбрасывать трупы первоклассников и цветы.

рукотворный, т. е. ману-фактурный

Если в граммах считать, я больше пролил слез, чем Боря водки выпил.

И Сергей Михалков, одержимый холопским недугом.

До чего дошло дело: передачи по радио для любителей русского языка: «Труженики-суффиксы и работяги-приставки».

А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом.

Еще замысел: если меня сейчас остановят и спросят (вздор какой-нибудь), я отвечу (невпопад). Если догонят, возьмут за локоть и спросят (опять вздор), я уберу локоть и ничего не отвечу. И т. д.

«романтическая причуда» — прежде чем уничтожить человека, обрезать у него уши

О степенях взволнованности: у Ахматовой перчатку с левой руки надевают на правую руку. У Самуила Маршака те же перчатки уже надевают вместо валенок.

Лучшее назначение перчаток у «полноценных» людей. Герой Жуковского швыряет ее даме сердца в ебало. Герои Лермонтова — кидают ее оскорбителям, требуя сатисфакции. Герой Льва Толстого лайковой перчаткой лупит татарина по зубам.

всеобъемлюще, незыблемо и достоверно

Не умер, а «ушел за грань земного кругозора».

Старик Петруша: «А сегодня вот что снилось: сижу я на завалинке, курю, и вдруг мне глас с неба: брось курить, Петруша, а то умрешь».

Европе нужен бык, быку нужна Европа.

Ткацкая фабрика имени Пенелопы.

Все то, что можно короче назвать собирательным именем «муки транзита».

Надо только уметь подкараулить это в себе и облечь в более или менее зловонную форму.

вульгарное	*изысканное*
хлебные карточки	гиацинты
жилотдел	грезы
казенные портянки	па-де-труа
маргарин	левкои
подоходный налог	протуберозы
ливерная колбаса	любёвники
солдат	жюрфикс
туберкулезный диспансер	грациозно
«попердывал»	фильдекос
автобаза	богиня
младший сержант	фиал
Дашка	сладостный илот
совнархоз	маминька
понос	лирический вздох
санпропускник	гармония
завскладом	Санта Мария Новель

Смрадные и грешные отверстия ниже пупа

на мне слишком много вериг

О русских и прочих песнях. Русские продиктованы тем или иным видом опьянения, тоскливого или бесшабашного. А песни типа: «Под горою, под сосною спать уложите вы меня» — в состоянии похмелья, наутро.

Ср. итальянские: «Купите фиалки, они недорого стоят».

Ср. украинские: «Я не пойду за тебя, у тебя нет хаты» и пр.

Кстати, об Иоганне Штраусе. Проститутки у Чехова, Куприна, Горького etc от него без ума, то есть именно от него: см. у Горького в рассказе «Отомстил»: «У него нервный звук. В его музыке звучит нега и страсть».

Вот чем (арифметически) измерять моральную ценность индивида: длительностью реакции на эквивалентное ранение.

Тертуллиан и его знаменитое «душа человеческая есть по природе своей христианка».

Розанов: «Душа человеческая по природе своей язычница, которой, чтоб воспитаться христианкою, нужно пройти через тесные врата бесчисленных отречений».

В «Правде» 37 г. статья «Колхозное спасибо Ежову».

Советская власть стала взрослеть тоже на 37-м году.

мальчик величиной в 5 лютиков, в 2 одуванчика

Не говори с тоской «не пьем»,
Но с благодарностию «пили».

французские композиторы на М: Манто — Маникюр — Манекен — Медальон — Меню

Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

Любить тебя или наоборот? Т. е. перед тобою пуд соли и тебя терзает: съесть с тобою этот пуд или высыпать его тебе куда-нибудь.

«невозмутимо и безжалостно совершил свое черное дело»

выебончик с надрывчиком

Как у тургеневских девушек — страсть к чему-то нездешнему, зыбкому, к чему-то коленно-локтевому.

инакопишущие

беспутства хватило бы на 10 гениев

У меня нет адресов, у меня только явки.

На столе сервированы были болгарские духи с водой из унитаза.

Народные заговоры и средства:

1. От зубной боли. Стиснув во рту корень лесной земляники, задушить двумя пальцами крота.

2. Все почти заговоры начинаются так: «Лягу я, раб Божий и, помолясь, встану, благословясь, умоюсь я росою, утрусь престольной пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, в июле и скажу... (что-нибудь ляпнуть)».

и трепетная, как реальность

Мартин Бубер: «Чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят — в противоположность, например, гомеровским — не о форме и цвете, а о звуке и движении».

Снять с него штаны и избить по пяткам дирижерской палочкой.

От любви к Родине: расстройство чувств, нарушение координации, дрожь в руках, в висках боли.

Я бесил их своим бессилием.

и преуспела на поприще бессловесности

Из всех слов женского рода это слово претерпело наибольшую девальвацию

Ну, конечно, зачем ему знать латинские глаголы и спряжения, когда ему «ведомы глаголы вечной жизни».

Не будем обижаться, не будем издеваться,
А будем обнажаться, а будем раздеваться.

вместо «плащ» говорить «гиматий»

«книга, полная романтических измышлений»

музыка балетно-дивертисментного характера

«Она (христианская религия) всегда оставалась в Советской России самой значительной альтернативой большевистской идеологии».

А в ответ на это сказать какую-нибудь гадость, например: «Служу Советскому Союзу».

Фрейд: «Удовлетворять свои сексуальные импульсы гетеро-сексуальным путем».

обед: опоссум с бататами

В те дни, когда твоя осанна проходила через горнила.

В поваренной книге определение того, что такое гювеч – болгарское национальное кушанье из мяса, риса и овощей, которое может быть без мяса и без риса и без овощей.

«спивается от неосуществившихся амбиций»

«Лазаревич, мой спаситель, мой могучий избавитель».

«Делая букет, надо в душе поговорить с цветком» (5-е правило из «50-и заповедей икебаны»).

Музыка хороша в высшей мере и не исполнена, а приведена в исполнение.

Дон Гуан говорит Командору: Я чай пью – приходи ко мне чай пить – только со своим сахаром.

баба должна быть безгневною

«Твои глаза от этого синеют» (П. Б. Шелли).

Они боятся вредного. «Это вредно». Вредно сдерживать в себе газы. Вредно сообща прикладываться к одному кресту.

не «пока живу», а «дондеже есмь»

Все пусть. «Пусть скачет жених, не доскачет». «Пусть неудачник плачет».

Так и умри, не научившись свистеть. Так и не свистнув ни разу.

Может обойтись без тех тот, кто в себя погружен.

«Только питье держит в равновесии тело и душу» (Г. Бёлль).

У Горбунова: «Кто-то кричит и тонет. Чья-то душа Богу понадобилась».

«Перед великим умом я склоняю голову, — сказал пошляк Гете. — Перед великим сердцем — колени».

Родилась тогда-то. И была со мной каждый день. А потом куда-то делась, я не знаю, куда.

Это, можно сказать, не просто хорошая проза, а вкусная и здоровая пища.

«У лиц с пониженным или отсутствующим этическим чувством».

В этом, конечно, есть своя правда, но это комсомольская правда.

Хорошие сравнения у Гейне: как говорили о евреях, распявших Христа, так и в год знаменитого восстания в Сан-Доминго чернокожих: «Белые убили Христа! Перебьем всех белых!»

Слово «социализм» изобрел в 1834 г. Пьер Леру.

174 года со дня изобретения Карамзиным слова «впечатление».

и ненависть к людям исполинского духа, где бы он ни проявлялся

«Однажды Бог явился мне и сотворил чудо», как сказала Юлия Шмуклер.

недемократические привычки, например, мыть руки перед едой

Адам из мягкой глины, а Ева из твердого ребра.

проговорили ночь о первопричине всех явлений

мечта о благосостоянии в прямом, а не в карманном смысле слова

вольный каменщик на богостроительстве

Любой донос хуже, чем тысяча плохо сделанных порнографических открыток. Любой дон-хуанов список лучше, чем самый лучший проскрипционный.

«Она мечтала уйти из мира, где отсутствует замысел».

Прощай. Веревку и мыло я найду.

Гроза-то мелкая-мелкая. Гроза Николая Островского.

С таким грузом добросовестности можно ли жить?

У Гейне: «Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. Но удалась революция или потерпела поражение, люди с большим сердцем всегда будут ее жертвами».

И этот хронический гамлетизм, хотя я ни убил ни одного отца ни одной из своих невест и мама моя не выскакивала замуж за убийцу моего папы.

Королева изящества и рыцарь мечты. Барышня и хулиган. Подлец и проститутка.

«Чувство юмора» (так называемое), доведенное до масштабов мефистофелевщины. И дурак Фауст с его прожектами, и оскорбленная девка. Мефистофель на случай «великого преобразования природы» удаляется на Брокен плясать с голыми ведьмами, и ни одна баба от него не накладывала рук.

«в тихий край медлительных движений и медлительных улыбок»

Взрыв в Хиросиме и единственное существо, выразившее протест, — римский папа.

К вопросу о «больше пролил слез», чем и т. д. У меня больше грязных мыслей в голове, чем грязных волос на ней и т. д.

«подкрепляя достоверность своих слов ссылками на Талмуд»

Манера письма должна быть чрезвычайной, а интонация — полномочной.

Если б в 45 г. мы двинули бы дальше на Запад, дошли до самых западных штатов США, то по типу Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический, Дибич-Забалканский, маршал Жуков звался бы Жуков-Колорадский.

Когда Господь глядит на человека, он вдыхает в него хоть чего-нибудь. А тут он выдохнул.

Не надо ничего, кроме соединения крайней бестактности с крайней неповерхностностью. Величайший образец — Иисус. Верх глубинностей и вершина бестактностей

«крайне жизнеспособная посредственность»

Служить не катализатором, не ферментом даже, а просто антифризом.

Надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением.

Ну, да что говорить, все зависит от душенастроения. Вот и наш портвейн народ зовет иногда пренебрежительно бормотуха, а иногда ласково портвешок.

Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил бы: нерадиво.

А веселиться я не люблю. Я человек бесшалостный.

Ну, конечно же, буду более или менее весело и бессовестно врать. Ложь, только ложь, и ничего кроме лжи.

В високосный год надо чтобы водка стоила 3.66.

А вот Хомейни. Они поступают как Магомет, и торжествуют потому. Кто бы в Европе рискнул бы поступить à la Иисус?

До чего же разные: эти почитают грехом спутать Ишуя с Абессаломом, а те — перепутать Белу Руденко с Евгенией Мирошниченко.

Кто это говорил, что деревья — это всего-навсего недорезанные бревна?

И два взгляда на вещи: точный и восточный.

Ведь блядь блядью, а выглядит как экваториальное созвездие.

Писал себе письма, похерив гордость мужскую, говорил о любви, просил перемениться. И пр. И сам себе, из девичьей гордости, не отвечал.

Урожай был получен не ниже, чем в прошлом году, несмотря на то, что в этом году погодные условия были таковы, что обусловили некоторое снижение урожая ввиду неблагоприятных) погодных условий.

«вот рассмотрите сами внимательно Вашу душу»

очень невонючий образ мыслей, так что подозрительно

Самое милое из именований партии: правящая с этого года в Канаде прогрессивно-консервативная партия.

Спросят, кем работаешь, скажи первое, что в голову подвернется, например так: энергетиком Нурекской ГЭС.

Вернее, не так. На вопрос: кем работаешь, отвечать: энергетиком Нурекской ГЭС и по совместительству узурпатором.

надо так и говорить: «в лето Господне 1972-е» и т. д.

И у них, у этих девушек, в душе что-то такое большое-большое, неразрешимое-неразрешимое, как проблема иранского Курдистана.

Да ну, чепуха, так просто. Чтобы чаще Господь замечал.

Да и брамины говорят: «Религия должна состоять не в соблюдении внешнего культа, а в том, чтобы служить ей каждым своим дыханием».

и все дела-то у меня такие, мокрые, от слезы

«эволюция к более возвышенному воззрению»

А Кант вот что сказал: «Истинная нравственность поступков (заслуга и виновность) даже наших собственных — остается навсегда совершенно скрытой от нас».

Балаганный взгляд их на нашу словесность. В какой-то державе симпозиум: Войнович и Ерофеев. Пьеро и Арлекин. И пр.

Ну, короче, все то, но немножко не так, и подозрительно оттого. Как у героя 70-х гг. Ипполита Мышкина: аксельбант не на том плече.

«Стальная птица» и пр. у Аксенова. Пустые шти хлебает мельхиоровыми ложками.

Мои познания в альпинизме ограничены только тем, что «народному вождю Красной Армии» в сказочно далекой Мексике раскроили череп альпинистским ледорубом.

так же скучно, как делить человечество на две категории: брахицефалов и долихоцефалов

Я оптимистично гляжу на мой народ: Количество подбитых женских глаз все-таки больше, чем количество доносов женских.

души прекрасные надрывы

сидит такая ликующая, праздно болтающая

бесполезное ископаемое, вот кто я

Зин. Гиппиус говорила о повороте русской поэзии (и не только) от «понятного о понятном» к «непонятному о непонятном».

спец по части религиозных наитий

Погоди, я приеду позднее, тов. Суркин будет делать двухчасовой доклад о существе человека.

К вопросу о русской необгонимой тройке. Март 1953 г.: «Динь-динь-динь, и тройка встала, ямщик спрыгнул с облучка».

Я на мир не смотрю, я глазею на него.

Помолчи, не проникай, я сам знаю свои сроки, не вводи свои танки в мой Кабул.

Любопытные сведения из последней русской истории: в 1932 г. была объявлена «безбожная пятилетка», планировалось к 1936 г. закрыть последнюю церковь, а к 1937 г. — добиться того, чтобы имя Бога в нашей стране не произносилось.

А вот Михаил Евграфович говорил, что если хоть на минуту замолчит литература, то это будет равносильно смерти народа.

В начале января, на подъемах, я понял, что я безобразен недостаточно, потому что кишка тонка.

достойно только восхищения и ничего больше

Мне уже по вкусу бедные, но опрятные стихи.

И набожность должна быть одаренной — а у него она и не глубока, и упряма.

Ну, немножко покаянствуешь, немножко подушегубствуешь.

Стороны той государь, Генеральный секретарь.

Красота моя с ума меня свела.

«пустота, которая утешает и морочит себя подвижностью»

А на прощанье — шаль с каймою И что-нибудь еще — стяни.

«Я сказать тебе не смею,
Что давно тобою тлею,
От твоих прекрасных глаз
И от пламенных зараз».
(Ермил Костров)

Громадная ода Клушина, с заголовком: «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие края с жалованьем».

Нонешний русский патриарх выступает с заявлениями типа «Все советские люди должны сплотиться вокруг...» или «Долой конфронтацию! Да здравствует детант!»

А я на них (на православных) гляжу флегматично, как на декабристов-диссидентов барон Дельвиг.

Я третий день шел в пятый класс школы, когда русские испытали атомную бомбу. 3 сентября 1949 г.

Говорить о ней, как по радио говорят о каком-то агрегате: отличается большой маневренностью и высокой проходимостью.

Человек — это звучит горько (просто сорвалось).

Контрреволюции не делаются в перчатках.

Почему британцы все это должны делать за нас: Орвелл, Конквест, Кестлер и др.

А все, что загадка, то гадко.

в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чем и нет.

А генерал Людендорф в 29 г.: «истинные германцы не могут быть христианами».

Нужно долго мучиться,
И тогда получится.
(Советская песня)

«Покажи мне Бога», — сказал некогда атеист христианскому мудрецу Феофилу Александрийскому. «Прежде покажи мне человека в себе, способного увидеть Бога», — ответил Феофил Александрийский.

Или начать так: «Я очень баб люблю, они смешные и умные».

Ах, зачем я не птица, не синяя птица?
Помолчал бы уж, старый вахлак.

выражает стиль не столь низменного, сколь неизменного народа

Сидит, надулся, как какой-нибудь Буонаротти.

вечером — неусыпный, утром — беспробудный

«Мне, конечно, трудно сравниваться с передовыми доярками».

ты просто вписался в полукультуру.

Даже когда их много, я к ним ко всем вместе обращаюсь на «ты».

Меланхолия ищет несчастье и фиксируется на нем.

«умудренный знанием грусти»

Нежность серьезная, без сюсюканья, без слащавости, без причитаний, даже без излишней ласковости.

Это такое страдание, что и смотреть на это было жестокостью.

Между прочим, самая милая из современных русских песен: «...я с каждой елочкой знакомлюсь за руку...» и т. д.

Ж.-П. Сартр: сахарная болезнь и самопроизвольная дефекация — болезни русского социализма времен диктата Иосифа.

Я в последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет «ум и сердце», делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри.

Если «да», то «да». Если «нет», то «нет». Что сверх того — то музыка.

Орфея и Фауста роднит то, что оба они заклинатели царства теней.

Человек, запятнавший себя сделкой с дьяволом, опознается после смерти: на смертном одре вы увидите его лежащим лицом вниз, и хоть пятикратно его перевернете, все равно так он и останется.

заключившие союз с чертом могут еще спасти свою душу путем принесения в жертву тела — т. е. самоубийством.

обходительная музыкальная манера

это возвышает меня, но не стимулирует

не попутно, а мимоходом

В 10-х гг. этого века сочинения Зигмунда Фрейда были внесены в «Индекс запрещенных книг». (См. Фрейд: «религия — иллюзия без будущего»).

греховный потенциал человека

Искусство теперь завязло, отяжелело и само глумится над собой.

он стонет и сознается уже на допросах «с малым пристрастием».

13—3417

Эта колыбельная мелодия так же смахивает на траурную, как — еще Манн заметил — немецкая зыбка смахивает на катафалк.

необъятность сферы банального

ощущение своей социальной второстепенности

Но так как виновны мы, наш вопль повисает в воздухе и, подобно молитве короля Клавдия, «не достигает неба».

Это гибель, озаряющая небосвод багровыми сумерками богов.

Что лучше: дремать или следовать за ложными пророками?

Не исследование, а мечтательное умствование.

Сравнить превращение бесцветной мелодии в более терпкую и приятную с превращением воды в вино в кувшинах Галилейской Каны.

Я овладевал ею по мере того, как она мной овладевала.

Раньше привораживали мазью, сделанной из жира умершего некрещеного младенца.

временное приобщение к сельскому примитиву

Для того, чтоб посвятить себя музыке, нужны известные душевные предпосылки, в которых ему отказано природой.

он страдал от чрезмерно развитого чувства комического

средневековая грехобоязнь

Мир вступает под новые, еще безымянные созвездия.

здесь слышатся короткие резкие удары, как звон пощечин по лицу Спасителя

На 27-м году жизни, наконец, научили понимать Шопена и женские партии Римского-Корсакова.

моя привязанность к сфере словесно-гуманитарной

Женщину красит заурядность.

В первой части оркестр был настолько взволнован, что на протяжении второй он никак не может отдышаться.

крупным планом подаются, без связи и разбора, отрывчатые «поросячьи триоли», и только на задворках их блуждает где-то нищая, бледная, одичалая мелодия

О 3-м квартете Бартока: у него очень много есть что сказать, он захлебывается от обилия мыслей, сбивается, начинает все сначала, путается снова и заключительным аккордом махает рукой — э-э-э, мол, все не то, все не то.

адмирал своему барабанщику: сыграй мне что-нибудь меланхолическое

Ср. Кодан, соната для виолончели и фортепиано. Виолончель изнемогает от эротических томлений, а фортепиано слушает ее с холодной невнимательностью и иногда, в знак участия рассказчице, кивает ей четкими ударами, почти всегда впопад.

В 1-й части он храбрится и шутит, во 2-й слюнтяй и нюня и мочится на пол, как маленький.

Самозабвенное неистовство шахсей-вахсея сменяется угрызениями совести pianissimo — зрителям представляется возможность высморкаться и почесать пузо.

Честно задуманная музыка и не без хороших манер.

расстрелян по подозрению в эстетстве

И что такое вообще йоги и что это за властвование их над своим организмом? Они могут только поставить себе клизму и то так изощренно, что она им не помогает.

Неважно, на кого сколько отпущено строк, это случайность. У Пушкина в «Суровом Данте» на Сурового Данта – 1 строка, по одной на Петрарку, Шекспира и Камоэнса, по три на певца Любви и барона Дельвига – и целых четыре Уильяму Вордсворту.

Мари Шарль Фердинанд Вальсен Эстергази – вот как звали того французского офицера, который выдал германскому генштабу секреты. А не Альфред Дрейфус. Вечно вы все валите на евреев.

Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки.

Поль Валери: «Из истории можно извлечь лишь наклонность к шовинизму. Никаких уроков извлечь нельзя».

Мой путь саморастрачивания ничуть не хуже и не лучше других. «Что есть польза?» – спросил бы прокуратор Понтий Пилат.

И почему Василиса должна уходить к Иванушке, если ей и с Кащеем хорошо?

Милые характеристики: «Чистый ариец. Характер нордический. Спортсмен. Неуклонно выполняет свой долг».

В будущем году спрыснуть 150-летие великого наводнения в Петербурге – 7 ноября 1824 г.

Чаадаев по поводу этого наводнения и по всем подобным поводам: «Первое наше право должно быть не избегать беды, а не заслуживать ее».

Вот, еще один вид непредвиденности и смерти. Оса в бутылке красного вина – укус в горло и смерть от удушья.

Вот вам Мао: «Война необходима, etc. Если даже половина государств будет уничтожена, то еще останется половина, зато империализм будет полностью уничтожен, и во всем мире будет лишь социализм. А за полвека на-

селение опять вырастет, даже больше, чем наполовину» (на совещании в Москве коммунистических и рабочих партий, 1957 г.).

в самом плачевном смысле этих слов

«Я с детства не любил вокзал,
Я с детства виллу рисовал».

«Стала пухнуть прекрасная Елена». (Песни западных славян).

Могут приобретать, как говорят лингвисты, модальные оттенки.

истина, поданная в денатурированном виде

Возведение дружеских связей и бесед, «салонное просветительство», в ранг высокого творчества. Чаадаев.

По повсеместным деревенским понятиям собирающий цветы мужчина – придурок и размазня. «Раз у него душа к цветку лежит...» и т. д. И почтение к бутафорским цветам из города – украшение икон и пр.

«И улыбка познанья светилась
На счастливом лице дурака».

Вяземский, узнав о душевной болезни Батюшкова (33 года недуга): «Все мы рождены под каким-то бедственным созвездием».

Фашисты, постоянно: «не заниматься беспочвенным теоретизированием», «быть ближе к реальной жизни».

Тогда Чаадаева упрекали в двух слабостях: унынии и нетерпении.

«Нести неверующую Россию на своих плечах», как выразился митрополит Антоний Блюм.

Я ортодокс. Бог обделил меня, ни одной странности.

четверых убил, шестерых изнасиловал, короче вел себя непринужденно.

христоцентризм

Богородица, фатимской девочке Люсии: «В Моем Пречистом сердце ты всегда найдешь убежище».

В британском энциклопедическом словаре: «Как zakalyalas stal» — «история успеха молодого калеки».

«Мне скушно обыкновенное, а по сравнению с Христом все обыкновенно» (Василий Розанов).

умственная и эстетическая аскеза

Пушкин, с отвращением: «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный».
Чаадаев: «покорный энтузиазм толпы».

Омрачает, бередит и расширяет сердце всякая тяжелая токкатность. Вот и сегодня слушал финал 7-й сонаты Прокофьева.

«когда грешная Россия готовилась к отступничеству от Христа»

противостояние двух болванов

«Большой скачок» в Китае. Едят траву в Пекине и обливают мочой трупы на площади Тяньаньминь. «Несколько лет упорного труда — десять тысяч лет счастья» (Мао).

Китайцы, ведущие свои передачи для зарубежа на 40-х частотах даже (в нарушение международного права) на волнах, предназначенных исключительно для сигналов бедствия.

Мао, в беседе со Сноу: «Мне лично нравится международная напряженность».

в сторону с «надлежащих путей»

Начальник московской жандармерии о Петре Чаадаеве: «Образ жизни его весьма скромен, страстей не имеет».

Тип забавника. Могущего, например, столкнуть в канаву слепого, из затейства.

Н. Страхов в 70-х гг.: «Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видели».

Антисемит бы сказал: «Почему в песне «Вот мчится тройка» — нехристь староста татарин — допустили бы мы такое о жидах?»

Мигель де Унамуно: только видения Дон Кихота обладают истинным бытием. Все остальное в романе — иллюзорно.

«Мы лишаем свою интимную жизнь трепетных красок».

змееведы, то есть герпетологи

дромомания — охота к перемене мест

будуарная струя в поэзии

«В момент страшного испытания Церковь Христова парализована немощью» (1939–1945 гг.)

Сплетение обстоятельств, солнечное сплетение обстоятельств.

Важно еще, чтобы преступление считалось преступлением в момент его совершения, а не в период судоговорения и приговора.

Нездешне, инфернально взвизгивает, как Брюнхильда в «Валькирии».

Я в жизни адмирал, и чувство это знаю.

Человек должен быть как вода, говорили древние китайцы: в круглом сосуде — круглым и так далее. Попалась преграда — остановись. И теки все вниз, вниз, никуда больше.

истощим и неисчерпаем

«поединок латинского ума и тевтонской воли»

«общество, смирившееся со своим крахом»

Эти античные (опять) занимались только гомосексуализмом, а если и любили баб, то только безруких (Ника Самофракийская), безголовых (Венера) т. е. наоборот.

«и через 15 лет расконвоировали»

идеи с чужого плеча

Брать билеты в транспорте, сморкаться только в общественных уборных, etc.

Опрос рабочих завода Рено по поводу их литературных симпатий. «Авангардистских выкрутас» они не любят. Два любимых большинством произведения: «Железная пята» Джека Лондона и «Как закалялась сталь» Ник. Островского.

Ни один композитор мира не покончил с собой и не умер насильственной смертью.

Святейший Синод при Николае I учреждает новую епархию, глава которой носил титул епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.

«Симпатичный шалопай — да это почти господствующий тип у русских».

«для обуздания разврата», как говорил адмирал Шишков

Жорж Матье, мэтр «лирического абстракционизма»: три его заповеди для подступа к картине: «1) опустошить

себя, 2) сконцентрироваться в этой пустоте и 3) писать с максимально возможной скоростью».

моя хлопотливая и суматошная должность тунеядца

«продал себя за рюмочку похвалы» (Розанов).

«Ты-то, Ерофеев, возвышенных соображений, ты высмаркиваешь на все, что для них нужнее всего, но все-таки и их позови, вдруг да они возвышеннее тебя?»

«Не спят, не помнят, не торгуют», у Блока. Чем мы заняты? Если спросят, — так и отвечать: Не рассуждаем. Не хлопочем. Не спим, не помним, не торгуем. Не говорим, что сердцу больно. Etc.

Я с каждым днем все больше нахожу аргументов и все больше верю в Христа. Это всесильнее остальных эволюций.

Меня, прежде чем посадить, надо выкопать.

У Седаковой в прозе, дворничиха: «Мертвые — они умрут, а живые по ним убивайся!»

писать так, во-первых, чтобы было противно читать, — и чтобы каждая строка отдавала самозванством

обиходного свойства истины и сведения

Великолепные экземпляры. С 8 до 5-и въебывают, с перерывом на подъебки с 12-и до 13-и, потом с 5 до 7 ебануть, с 7 до 10-и взъебки, потом etc.

без пролития желчи

То есть заблудившись, найти что-нибудь более значительное, чем следуя проторенным путем, идти в направлении обратном общепринятому, — Колумб и его Новая Индия.

Не выпьем. Не пойдем никуда, чтобы на людей не смотреть и себя не показывать.

Господь не прощает такую вражду и такие потери Господь не прощает.

сочетать неприятное с бесполезным

«никогда бы не унизился до такой тривиальности»

В туалете на пл. Ногина: «Давно известно и не ново, что только здесь свобода слова. Да здравствует академик Сахаров! О'кэй!»

О принципе добровольности, американский публицист Норт: «Я предпочел бы видеть весь мир пьяным добровольно, чем одного человека трезвым насильно».

Христа (как следует) знали 12 человек, при 3 с половиной миллионах жителей земли, сейчас Его знают 12 тысяч при 3, 5 миллиардах. То же самое.

В этом мире я только подкидыш.

Это предохраняет от морщин вокруг рта.

Завтра написать Курту Вальдхайму о том, что я признаю независимую республику Гвинею-Бисау. А Курт Вальдхайм мне в ответ телеграмму: «Дурак ты».

Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого антимузыкальны. А стало быть, ни в чем не правы.

Его замысел был умножать, а не делить, вычитать, а не прибавлять — в противовес Его.

«таким крайним бесстыдством, такой способностью к неистовству» (французский роман)

Проза документальная и проза орнаментальная. И живопись геральдическая.

В Талдоме (ночь): «лучше быть стройным тунеядцем, чем горбатым ударником».

Все делается по бабьему наущению: бедняга Макбет, дезертир Антоний, вор Адам, все трезвенники мира.

Из всей латыни знать только NB и Sic.

«Путеводитель по кварталу публичных домов Барселоны».

Люди, не убивайте друг друга, ибо это доставляет мне огорчение.

«Я назову тебя проблядью», как сказал Виктор Боков. «Часто сижу я и думаю. Как мне тебя называть».

издержки детопроизводства

фамилии: Пассажиров и Инвалидов

И милее всего. Неисчерпаемая череда пасквильных фельетонов Буренина, на всех, от Надсона до бальмонтовских рабочих стихов 1905-го года.

о спартанском царе Клеомене: «общаясь со скифами, он научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие» (у Геродота).

Московские евреи Пляцковский и Фрадкин: «Увезу тебя я в тундру».

Выбить этот козырь из их бессовестных рук, то есть сделать наше здравоохранение платным. По любому поводу.

Как аллилуйи делятся на аллилуйи просто и сугубые аллилуйи.

«прогрессирующий сатанизм»

«послужит для них началом бесчисленных бедствий или безмерного счастья»

У Г. П. Федотова определение понятия «русская интеллигенция»: «Русская интеллигенция есть группа, движение,

традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

стремительное превращение сопляка в старого хрена

Прекрасные египетские фараоны. По свидетельству Геродота: «После Мена было 330 царей. Ни один из них не совершал никаких деяний и не покрыл себя славой. Они ничего не совершили».

Обстановка и мебель. Чугунная ограда, сосновая кровать, пара электрических стульев, скамья подсудимых.

Испанский сапог. Столыпинский галстук. Смирительная рубашка. Терновый венок.

Но ему-то надо привлечь 2—3 сердца, а мне-то надо 20—30—40 сердец. Вот отсюда разница.

Когда камыш только шумит, гнутся деревья.

Замечаю в канун 56-й годовщины: я умею кривить морду только слева направо, справа налево не получается.

Какой-то британец: «Рыцарство — удел бедняков».

Геродот не верит в существование Оловянных (Британских) островов.

Геродот говорит: надо чтить чужие обычаи. И спустя двести страниц: «Закапывать жертвы в землю живыми — персидский обычай».

Стихи поэтов Бангладеш. Отсутствие мелкой монеты не может служить извинением безбилетного проезда.

Какой-то шотландец-ученый рекомендует для укрепления голоса вдыхать росу цветов.

Оставьте мою душу в покое.

«У Израиля находится больше вопросов, нежели у Него ответов» («Саул» Жида).

У Него бездна ответов, и он удивляется: почему так мало вопрошаем? почему ленивы и нелюбопытны и суетны?

Шерлок Холмс подавляет Скотланд-Ярд своим титаническим интеллектуальным превосходством.

Мое сердце не говорит этой музыке «нет», но и да оно не говорит. Мое сердце пожимает плечами, когда слушает ее.

А может, Он ждет вопросов крупнее, и ему кажутся мелким узколобым вздором все наши warum, wozu, (...) «отчего?» и т. д. Как мне кажутся смешными вопросы моих коллег.

Видеть сны необходимо мне вот для чего: для упражнения и удостоверения в моральных принсипах и чтобы понять: одинаково ли оставляют след страхи и горести сна и яви. В конце концов, горе – внутренняя категория, и оно не обязано иметь под собой основание. Граф Толстой или Федор Достоевский выдуманные потрясения и утраты переживал острее и глубже, чем иной свои основательные. И т. д.

Опять Добролюбов и К°. Слушая песню на слова барона Розенгейма «Степь за Волгу ушла» и т. д. Они-то, собаки, смогли бы написать хоть строку, от которой бы у русского замер дух?

Энона – нимфа, верная подруга Париса во время его пребывания в Идейском лесу. Т. е. Парис ушел из Идейского леса, и Энона тут же перестала быть верной подругой Париса.

Повсюду в Ногинском, Ореховском и пр. районах, на всех предприятиях висят соблазны; у входа: «Желаем хорошо потрудиться», а при выходе: «Спасибо за труд. Желаем вам отличного отдыха».

Все о том же смягчении нравов. На предприятиях не пишут «Соблюдайте правила техники безопасности», а пишут: «Папы и мамы! Будьте осторожны! Вас дома ждут дети».

вегетативная твоя душа, растительная то есть

Несовершенство наших душевных процессов: ср. как отлично работает наш кишечный тракт. А здесь — застой, тошнота без выташнивания, неспособность вовремя освободиться от того, что накопилось нечистого и т. д.

Ну зачем им, сволочам, пить? Они без того постоянно качаются, ходят боком, движутся не так как надо, говорят вздор и не стыдятся ничего. Самоуверенны и безошибочны.

И, что там ни говори, даже самая хорошая ошалелость требует сейчас хорошего рационального руководства (рационального т. е. во вкусе Фомы).

Матфей: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата».

Коллекционировать те способности, которые отличают человека ото всей фауны: 1) способность смеяться, 2) пить спиртные напитки, 3) совершать беспричинные поступки, 4) поступать наперекор своей выгоде, 5) решиться поднять на себя руки.

Ну так что ж, что пляшет? И царь-пророк Саул плясал перед Самуилом.

Хорошо как лекарство, но не как пища.

Граф Толстой о книге Паскаля: «Он показывает людям, что люди без религии — или животные, или сумасшедшие, тыкает их носом в их научность, безобразие и безумие...»

У меня в душе, как на острове Свободы: не бывает праздничных дней.

«Все это слишком просто, чтобы вы могли понять» (Честертон).

Екатерина Великая: «человек безукоризненной честности, но недалекого ума».

Как говорил Фома, «я впал в несовершенство».

Степень бабьего достоинства измерять количеством тех, от чьих объятий они уклонились.

так, чтобы твою ценность измеряли в каратах

В старых открытках: «Люби шутя, но не шути любя».

Она уже закончена, но ее надо исполнить.

Это все мысли, которые лень даже прогонять.

Из всех пишущих русских К. Победоносцев более всего ценил Мельникова (Печерского). Даже пересылает «В лесах» Александру III и рекомендует прочесть.

Говоря райкомовским языком, она всемерно способствовала мне.

Их всех убил палач Сансон, значит, он один и виноват.

все равно пригвожденность, ко кресту ли, к трактирной ли стойке...

Я как Борис Годунов. Глад и мор и гнев народный и смуты, и терзания. Являются плюгавые, чернявые и энергичные Василии Шуйские, являются и плетут интриги. Являются юные Лжедмитрии. А я — только стискиваю голову, мечусь между Владимиром и Талдомом с вечным «Уф, тяжело! дай дух переведу!»

Игнатий Лойола, из поучений. «Работающий в винограднике Господнем должен опираться на землю лишь одной ногой, другая должна уже быть приподнята для продолжения пути».

драгоценные мысли Мухтара Ауэзова касательно Абая Кунанбаева.

предсмертную тоску Пушкина («Ах, какая тоска!», он говорил, что от нее он страдает больше, чем от боли) — приписали воспалению брюшной полости.

Каждая минута моя отравлена неизвестно чем, каждый мой час горек.

«все мерзостно, что вижу я вокруг», как сказал Самуил Маршак.

Яхрома, порт семи морей.

Любимый герой Анжелы Дэвис — Вас. Ив. Чапаев.

Из формы церковного отлучения и проклятия (XIII—XVI в.)

«...Да постигнет его проклятие наше в его доме, житнице, постели, поле, в городе и дороге. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, в питье, во сне. Да будут прокляты все его чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело его от темени головы до подошвы ног...

Как я гашу теперь эти светильники, так да погаснет свет его очей. Да осиротеют его дети, да овдовеет его жена. Да будет так, да будет так! Аминь».

Можно прибавить; да будет проклят: в лесах и на горах, в гостях и дома, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью.

Перевести в умственную сферу понятия «ультра» и «инфра». Т. е. выше понимания и ниже понимания. Ср. звук ультра и звук инфра.

Все эти сарматские цветочки, которые умеют распускаться на галльской только почве. См. Фредерик Шопен, Мария Склодовская, Костровицкий-Аполлинер...

У меня, как у лилии, пыльца на рыльце.

Конфликты в итальянских песнях:
«Лю-блю я ма-ка-роны,
Хотя моя невеста их не любит».

«Мы с этой дамою почти единоверцы» (Аполлинер).

«Полноте ребячиться», как говорит Германн графине.

Сравнивают бергмановский кинематограф отчаяния и феллиниевский кинематограф надежды.

Виктор Гюго, 1877 г. Принимает у себя в гостях на ул. Клиши императора Бразилии дона Педро. Тот робеет при входе.

Дураки, они свою столицу Христианию переименовали в Осло.

«от элементарности — к бесчеловечности»

Ты родилась под знаком Солнцедара.

Но бархатистостью своих лядвей
Она и это, впрочем, искупала.

Спорт Бори Сорокина, многоборца: прыгает выше собственной головы, убегает от самого себя, борется с соблазнами, гимнаст: ходит по острию ножа меж двух бездн, поднимает душевные тяжести рывком и жимом, играет со смертью с выигрышем для себя, etc.

Вольная борьба — с соблазнами. Классическая борьба — с предрассудками.

Оказывается, от Гейне начинается понятие «сверхнатурализм», т. е. понятие, включающее в себя все, кроме реализма.

французская народная песня «Ах, как же я простужен!»

существо, призванное прорицать и заклинать

«исполненное чисто кастильского благородства»

Сент-Бев и Мюссе то и дело ходят в публичные дома «в поисках забвения».

Тягомотина и банальности, хуже нет. Аполлинер, вся поэзия и все письма: «Я умел любить — это ли не эпитафия!». Или: «Ты воспламеняешь сердце, Мадлен, как проповедь в храме!». Или еще: «Пусть долетят до тебя, Лу, снаряды моих поцелуев». О войне пишет: «Я умолчал о некоторых фактах... Мои впечатления, зафиксированные по горячим следам...»

Опять этот ненавистный пошляк Аполлинер: «Мое сердце голосует за надежду», «Прошу Вас, очаровательное видение, напишите мне письмо подлиннее».

Опять письма Аполлинера: «Пожалуйста, Мадлен, обнажите свою душу, свое тело, свое сердце».

И еще: «Видел твою жену. У нее вкус лаврового листа».

Шопенгауэр: «Жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит родовых мук».

Ты будешь музицировать, я буду вальсировать.

Честертон о разнице в пессимисте и оптимисте: Оптимист это тот, кому все хорошо, кроме пессимиста. Пессимист — тот, для кого все плохо, кроме него самого.

случалось, она теряла авторитет, но не теряла достоинства

Теперь уже говорят не о «муках слова», а (в применении к кино, музыке, etc.) — о «муке приблизительности».

опять все то же: тайники души, кладовые подсознания и пр. дичь

«арлекинада как средство и против обывательского застоя и против натужной героизации»

«самосозерцание на грани нарциссизма»

«бесцеремонная сентиментальность»

элитаризация масс

французский католик Анри де Монтерлан о половой любви: «Это власть, оккупация чужой души».

две кошечки во дворе, их зовут Алгебра и Гармония

Как сказал Данте Алигьери, пусть взглянет в ее глаза тот, кто не боится вздохов.

О поборниках смешанной, универсальной религии говорит Г. К. Честертон: «Она будет хуже, чем любая религия сама по себе, даже чем индийская секта душителей».

О христианстве еще спорят, дурно ли оно, хорошо ли. А вот о духовом оркестре спорить нечего: здесь чистая духовность и т. д.

и вся их, разграфленная по пунктам, профессиональная этика.

Боэций презирал народную молву и народную мудрость на том основании, что она лишена способности различать.

слава богу, лишен Ordnung und Zucht – порядка и дисциплины

У вас вот лампочка. А у меня сердце перегорело, и то я ничего не говорю.

но ведь ты-то! ты! человек «тончайшего сердца!»

она меня обуяла, я обуреваем ею

Ценить в человеке его готовность к свинству.

Два молодых человека, встревоженные, хотели повернуться ко мне спиной, но их разнесло ветром.

и это так же глупо, как... как уходить добровольцем на фронт

Шесть раз я выстрелил ему в затылок — он не шевельнул и бровью.

У них харкотина взамен души, и вместо мозгов — блевота.

меня выковоряла она на свет, как козявку из носу

Музыка — средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумения писать музыку.

Что ж, и мне тоже свойственно бывает томиться по прошлому, по тем временам, например, когда еще твердь не отделилась от хляби, а только тьма изначальная.

Все лучшее во мне говорило мне: ...
А все худшее возражало на это так: ...

Но человек он был мглистый и шаткий, его обвинили в (...) и Ф. Э. лично защекотал его в своем рабочем кабинете.

Сынок утонул в ведре, потом дочь — последняя дочь — расшиблась насмерть, упав с веника. Мама не могла перенести этих двух потерь сразу — и через три недели родила третьего.
Третий был странным существом. Он молчал... и только на третьем году жизни заплакал.

Могу ли я сказать, что ты послана мне с высоты небес? Да, я могу это сказать, я еще много что могу о тебе сказать, но не скажу.

Ты пролилась на меня с облаков.

Меня околдовать трудно, я чарам не поддаюсь.

С веткой в ушах, с парализованными ногами, я вошел в этот дом. Меня встретили оплеухою.

Одна дымящая головня упала рядом со мной — я плюнул на нее, я высморкался в нее — она вспыхнула и разлетелась в небе тысячью искр.

Пламенный хитон натяну я на вас! День гнева воссиял! Где моя паяльная лампа?

Опали им гортань и душу

Т. е. у конца: я жду от вас: Не так: я ничего от вас не жду, вернее, нет — я жду от вас сказочных зверств и несказанного хамства.

Израильтянин, в котором нет лукавства.

Уже на 3-м курсе спрашиваю: а на каком я учусь факультете?

И еще раз о том, что тяжелое похмелье обучает гуманности, т. е. неспособность ударить во всех отношениях, и неспособность ответить на удар.

Цели в жизни нет. Все в жизни лишь средство, как сказал В. Брюсов, стихотворец.

Мы с каждым днем все хуже. И каждый, и все человечество с каждым днем все хуже. И поэтому, если говорить о качестве людей, то лучше всего тот, кто это чувствует, т. е. тот, кому с каждым днем все хуже и хуже.

Человек не самолюбив и суеверен. Он уважает все болезни, кроме тех, которые он сознательно в себя внес.

рубашка на груди так была распахнута, что видны были ноги

Мы все так опаскудились мозгами и опаршивели душой, что нам 13-летняя привязанность кажется феноменом. Мы, правда, живем в мире техники и скоростей,

ну, что ж, пропусти технику, иначе действительность собьет, протиснись сквозь все эти такси и иди куда тебе надо.

Человек, идущий за малой нуждой, все-таки ценнее машины, летящей для доклада в СЭВ.

И опять: могу ли я понимать это так, что ты пролита на меня с облаков?

«прочти и порви» совместить с «прочти и передай другому», т. е. верх интимности с верхом всеобщности.

Ну, что прибавила техника! Она просто отвлекает от дела. Т. е. пересекая улицу, надо сначала смотреть налево, потом направо, etc.

Не дают опустить свою же голову на свои же плечи

О необходимости вина, т. е. от многого было б избавление, если бы, допустим, в апреле 17 г. Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик.

Т. е. задача в том, чтоб пьяным перестать пить, а их заставить.

Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедия с фарсом, музыку со сверхпрозаизмом, и так чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в один, от рондо до пародии, на меньшее я не иду.

простодушие с желчью

С Пентагона до Кремля, с небес до земли, с головы до ног — все изменено.

В конце прошлого века Ф. Достоевского на Западе еще так мало понимали, что, например, во Франции в переводах исключалась как балласт «Легенда о Великом инквизиторе».

от Достоевского у экзистенциалистов концепция абсурдности бытия и трагизма человеческого существования

«Идея личной ответственности каждого взамен идеи безличной безответственности всех».

Их терминология на этот случай: разобщенность, изолированность, обреченность, забытость, заброшенность.

загнанность, завербованность, проданность

не самоирония, а самоглумление, самоподтрунивание

а о внутренностях героев сейчас говорят так: раздвоенность, разбросанность, расколотость, расщепленность, раздавленность, разбитость

Ну, пусть они меня признают. Но ведь это все равно что Кубу пока признали только Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго.

«в этой погоне за миражами, потребности забыться и уйти от обыденности» к чему-нибудь, хоть блядкам, etc, — будничность, еще более облезлая и тошнотворная

Для Бори Сорокина мир — маленький комок, подступивший к горлу и застрявший в нем.

Хуйня война, как говорит Вадя Тихонов, страшны маневры.

Иногда ведь скажешь так тихо, что себя самого хуй расслышишь, а иногда так, что «цыганки закачаются на высоких, сбитых на бок каблуках».

Какой-то папа XVIII в. на предложение хоть немного изменить status quo католичества и его доктрины:
Simus ut sumus aut non simus: «останемся как есть или перестанем вовсе быть».

Идея тления, «кончины всех вещей»

Я не знаю своей Родины, но я немножко ее избороздил.

Хочешь увидеть падающую башню — поезжай в Пизу.

Совместить в компании все голоса и придать видимость махонького единства, упражнения в контрапункте.

германизм ее склонностей и симпатий

Гоголя называли русским Фомой Кемпийским (его последнее чтение и самое излюбленное).

Делиль (18 в.) хвалится тем, что впервые в истории французской поэзии употребил слово «корова».

Чтобы попасть в гостиницу, рекомендуется: «Я внук знаменитого Павлика Морозова, геройски замученного партизанами». (из рассказов Прошки)

мы с тобою не нашли ничего, кроме общего языка

О выборе непременно цейлонского чая. Скорбь мы уважаем каждую, и пустяковую в том числе, а вот смех нужен определенного сорта.

Поэзия должна быть горьковата

в качестве пряности добавлять во все это элемент шарлатанства

Гуманности нет на земле, она где-то далеко, гуманность в созвездии Андромеды.

Екатерина Великая, по сообщению Загряжской, всего только два раза была сердитой, и оба раза на княгиню Дашкову.

Ямщик, не гони лошадей,
Им некуда больше спешить.

Победительнице-мученице от побежденного мучителя.

она раскинула свой стан (там-то и там-то)

Какой-то одесский еврей у Эренбурга пишет такие стихи:

Велико мое одиночество!
Нет у меня ни имени, ни отчества.

он дал мне этот верховный совет

В ноябре: входит Раскольников, а его старушка рраз топором.

Не говори, что много наизусть ты знаешь. Скажи, что многого не знаешь наизусть.

Недостойные Валгаллы после смерти попадают в холодное и темное царство Геллы.

Бедлам учрежден в XIII веке.

Вот еще — летать я совсем не могу и не умею. Ни на помеле, ни на крыльях песни. Etc.

Сердобольность, которая выше разных «Красота», «Истина», «Справедливость» и прочих понятий более или менее условных.

Венедикт! Какое незапятнанное имя! Ср. Как запятнаны Николай, Александр, Борис и пр.

Беру со всех взносы, а в сущности никому не нужен. Как профсоюз.

не имей имущества, а имей преимущество

удивление, медленно переходящее в подозрение

не имей зрения, а имей подозрение

То, что можно говорить только при женщинах — в противоположность тому, что при женщинах не говорится.

Дружба наша — дружба барана с новыми воротами, мир апельсинов со свиньей.

Чтобы целовать ручки у малознакомых дам, для этого канцлером надо быть. А он канцлер?

И я умертвлю твою бессмертную душу

Патриарх Тихон, послание Совету Народных Комиссаров, 26 окт. 1918 г.: «взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая».

воздействие должно быть тлетворным

у нее пышная грудь и консервативная натура

умный, как канделябр, и глупая, как жардиньерка

Тургенев: «Нет ничего утомительней невеселого ума».

В Ленинграде, на прогулке: Сколько языков ты знаешь? — Два. Русский устный и русский письменный.

Здесь у меня — лобное место.

У Трофима Д. Лысенко — одних только орденов Ленина — шесть. Не считая всех остальных.

Ленин о христианстве: «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо менее опасны, чем «тонкая», духовная, приодетая в самые нарядные идейные костюмы идея боженьки».

Ночевала сучка молодая
На груди Исака Левитана

Валаамова ослица и Буриданов осел

Юмор переходит всякие границы. Не всякие.

К вопросу об обладающих 20-ю общими истинами и пр. Самое ненавистное из всех фразеологий: «все ясно».

Все твои привычки – пагубны. У тебя есть хотя бы одна непагубная привычка?

Когда Павлу I стукнуло 18 лет, царствующая мать пожаловала ему звание генерал-адмирала (высшее воинское звание России).

От рук твоих пахнет ногами, но это ничего.

Мысль должна быть подвздошной.

Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но зачем ты выпил мой стакан портвейна? Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же все-таки выпил? Я понимаю, земля – колыбель человечества, но нельзя же пить стакан чужого портвейна!

«Почему вы недокушиваете, когда кушаете? Если уж вы решили кушать, то надо докушивать».

Петр III, идя за гробом Елисаветы, подпрыгивал.

Мой сверстник нейлон, изобретен в Штатах в 1938 г.

Идя в ванную, составлять список всего, что надо вымыть, и периодически вычеркивать.

Я ощущал всем своим существом, что это все-таки крепленое вино.

Русские переводят «Ave Maria» – «привет тебе, Мария».

В доштраусовское время говорили: «вальс, эта музыка для ног».

Чем ты сейчас занят? собственными мыслями.

Мы обречены на честность. Когда они говорят «Нет денег», у них их полный карман. Когда же мы говорим «Нет»...

система полупрозрачных намеков

Ты проскакал на розовом коне, а они шли привычной линией.

И бойтесь данайцев, сказал бы Лаокоон.

Гегель: «Никто из моих учеников не понял моей системы. Понял только Розенкранц, и то неправильно».

Они все, паскуды, примиряют «свободу воли» и «генетический детерминизм».

Фридрих Энгельс почти на столетие опередил Гитлера: «Кровавой местью отплатит славянским варварам всеобщая война, которая вспыхнет, рассеет этот славянский зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых наций».

Быть экономным в жестах доброй воли.

У нас в паспортах так и записано. У меня: «Недоносок», а у нее: «Пеннорожденная».

В. Короленко называл из всех национализмов украинский самым бутафорским.

То, о чем мечтал Флобер: «Написать книгу, которая держалась бы исключительно на внутреннем достоинстве стиля».

Набокову импонировало в Ходасевиче «высокое качество его язвительности».

Набоков и Гоголь. «То, что для Гоголя было грехом, т. е. унижением души и оскорблением Бога, для Набокова — преступлением против художественного вкуса». Не имморально, а антиэстетично.

Душа, захламленная дребеденью.

А Бог теперь только тем и занят, что метит великих шельм.

В «Современнике», где были помещены рассказы Ник. Ник. Толстого, старшего братца Льва, так и написано рецензентом Некрасовым: «Рука Николая Толстого тверже владеет пером (языком), чем рука его брата».

Юз Алешковский:
– Нельзя облегчать отчаяние алкоголем. Страдания должны быть чисты...

На мне все-таки не узда, а недоуздок.

Я еще не окончательный и обжалованью подлежу.

Мы очень разных воззрений люди, но таким образом, что меж нами ничто не рождает споров, да и к размышлениям не влечет.

Кто твой самый любимый певец? – Демьян Бедный, певец пролетарской революции.

О единицах измерения. Ядовитость измерять в вольтерах.

Пригожих людей не люблю, окаянные мне по вкусу.

Повышение цен на минеральные воды, бенгальские огни и медные трубы.

Плыть только по рекам, текущим к северу. Фи, этот юг, тьфу, эта Ницца.

А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в диссиденты не годитесь.

Салтыков-Щедрин придумал слово «мягкотелый».

Есть чрезвычайность в этих писаниях и речах, но нет полномочности.

Я тучен душою. Мне нужны средства для похудания: ничегонеделание, сужение интересов и пр.

Душою надо полнеть, девки, а не телесами. Поэт Алексей Кольцов, от чего-то там отказываясь, говорил: «От этого душа не пополнеет».

Я, как стакан, хрупок и тонкостенен. Я многогранен, как стакан.

Пенная Цветаева и степенная Ахматова.

Может, ты и Державина будешь называть Гавриилом?

У них содержательные, осмысленные глаза и действующие лица.

Недурно бы вспомнить. Лепта = 1/100 драхмы. В таланте 6000 драхм. Итак, 600 000 лепт составляют талант.

В последние свои годы Гюго всерьез предполагал возможность переименования Парижа в Гюгополис.

Как говорил Карамзин, «вижу опасность, но еще не вижу погибели».

И вообще: что значит «последнее слово». Мы живем в мире, где следует произносить слова так, будто они — последние. Остальные слова — не в счет.

Я попросил Господа Бога сделать ну хоть на полтора градуса теплее обычного. Он ничего твердого мне не обещал.

Вот что значит — кончился славный V век до Р. Х. Уже в первый год следующего века (399) был приговорен к вышке 70-летний Сократ.

Демоны не громыхают, они говорят вкрадчивыми голосами. Грохочут только ангелы Господни.

Кто хочет, тот допьется.

Моя проза — в розлив с 70 г. и с 73 на вынос.

Возвращающихся ностальгированных эмигрантов называют подберезовиками.

Не квартира, а библиотека приключений.

«И отдал Богу свою маленькую душу».

Евангелие для меня всегда было средством не прийти к чему-нибудь, а предостеречься ото всего, кроме него.

Роковое заблуждение Ницше, будто наступило засилье интеллекта и надо спасать инстинкты.

Относят к числу бестселлеров злопыхательского толка.

Одна из самых неуважаемых мною добродетелей: догадливость и сметливость.

Вести звездный образ жизни, т. е. более или менее сиять, иногда падать и пр.

Не придавать этому никакого успокоительного значения.

Я люблю дебелых, я дебелогвардеец.

Вакханка-пулеметчица.

Надо все называть полностью. Например, Наримановскую улицу во Владимире называть: улица Наримана Кербалая Наджаф-оглы Нариманова.

Сделать несколько стахановских телодвижений.

И еще: угораздило родиться в стране, наименее любимой небесами.

Поэтессы салонные, площадные, уличные, бульварные, скверные и подъездные.

Когда умчат тебя составы преступлений.

Жирный, как шрифт.

Можно извратить существо любого дела. Давайте мне любое существо любого дела – и я у вас на глазах его извращу.

Пришедший к абсолюту, т.е. с этих пор обреченный ни разу не поковырять в носу или почесать в затылке.

Постепенное превращение подкидыша в найденыша.

Мужчина с несущественным характером.

Колумб едет, едет и натыкается на Соловецкие острова.

Вооруженщина.

Слишком все это затянулось. Затянулось, как лобзанье.

Подошел к осине. – Дрожишь? С тех пор все? Ну дрожи, дрожи.

Как вспомнишь, что есть нечего, так смех берет.

Вот еврей – виноват в том, что он еврей. Француз заслуженно родился французом. А быть русским – это легкая провинность.

А она говорит: я люблю только социально опасных мужиков.

Заметный рост банкротских настроений.

Почему я такой большой дядя, а веду себя, как маленькая тетя?

И как жаль, что у нее только две коленки!

Я, если мне заглянуть вовнутрь, напичкан экстравагантностями, но чудаком меня никто не назовет.

Вот какие мы разные. Крот погибает уже после 14-часового голода. Зато клещи могут по несколько лет совсем не есть.

Анекдоты: жених, чтоб развеселить публику на свадьбе, нахлобучил на голову чугун и не смог снять. Доставлен в больницу. Диагноз: «голова в инородном теле». (Было). Вот и у меня так: голова на инородном теле.

«На волнах мистики» в «омут порнографии».

«Катя идет, как пишет. Одной ногой пишет, другой зачеркивает».

Правда, к тому времени из меня уже будет струиться песок, ну так что же, должно же из человека что-нибудь да струиться, пусть не из души, так хоть откуда-нибудь.

Меня еще спасает то, что каждый из них — один, а меня много.

В апреле, в больнице: один интеллигентик-шизофреник спрашивает ни с того ни с сего: «Вениамин Васильевич, а трудно быть Богом?» — «Скверно, хлопотно. А я-то тут при чем?» — «Как же! Вы для многих в России — кумир».

Баба должна быть совершенно натуральной: понятливой, но одновременно глупой и многогранной. Т. е. быть и тонкой, и толстой, и слепой. И двенадцатиперстной.

Я такой безутешный счастливчик в кругу этих неунывающих страдалиц.

Не хочу быть полезным, говорю я, хочу быть насущным.

Она по размерам и роскоши превосходит Версаль.

Я бы пропил все сокровища Оружейной палаты, оставил бы только булыжник.

Всю жизнь здесь лежу — но зато бесплатно — у врача спросил: сколько еще лежать? «Пока не подохнешь — бесплатно».

Хочу быть самым мыльным из всех пузырей.

14—3417

Что ж, и я Россию люблю. Она занимает шестую часть моей души.

Я, например, считаю, что если на Францию правильно глядеть — то она расположена справа, а Германия — слева.

Почему это я должен быть приятным? Даже и в новой Конституции нет такой статьи — быть приятным.

Если и стрелял, то только глазами стрелял, если кто острое-доброе скажет. Если и вешал, то буйну головушку на грудь. И топил если, то горе свое в вине топил. И правду-матку резал, а больше никого не резал. А если иногда и насиловал — то разве что факты в угоду предвзятой идее. И т. д.

Междометия — самые старые из человеческих выражений, поэтому их надо уважать. «Ой» и «тьфу» намного старше Добра и Истины и следовательно почтеннее намного.

И философ (Маритен) сказал: «Повернувшись спиной к вечности, разум в современном мире руководствуется сотворенным». Так вот. Повернемся спиной к сотворенному — обратимся к вечности.

Россия ничему не радуется, да и печали, в сущности, нет ни в ком. Она скорее в ожидании какой-то, пока еще неотчетливо какой, но грандиозной скверны, скорее всего возвращения к прежним паскудствам. Россия — самая беззащитная из всех держав мира, беззащитнее Мальты и Сан-Марино. Можно позавидовать Великому герцогу Люксембургскому Жану, но завидовать Мишелю Горбачеву никому не придет в голову.

Мне-то, собственно, что? Одной ногой я уже в гробу, а другой — в могиле.

Мне нравятся и те, и другие, обе половины нашего общества поэтичны. Одни «бегут, и блещут, и гласят», другие,, подрагивая и скрипя, идут привычной линией.

О взаимной приязни партии и народа много говорить не приходится. Один мой приятель, отец трех малолетних детей, — когда узнал в семьдесят не помню каком году о крутом повышении цен на шоколадные конфеты, какао и пр., с удовольствием потирая руки, взволнованно ходил из угла в угол и все повторял: «Так им и надо! Так им и надо!» Не детишкам, разумеется.

Странно стали выражаться русские люди. Георгий Марков, например. «Этот курс целиком и полностью вписывается в стратегическую концепцию духовного ускорения». Он — враг «идейной нечеткости» и отсутствия «идеологической насыщенности»...

«Но русская душа прозрачнее Ватто» (Игорь Северянин).

Екатерина II: «Кто хочет писать, тому следует думать по-русски».

Нам весело не пьется,
Мы песенку поем,
А в песенке поется
О том, как мы не пьем.
Тра-та-та и т. д.

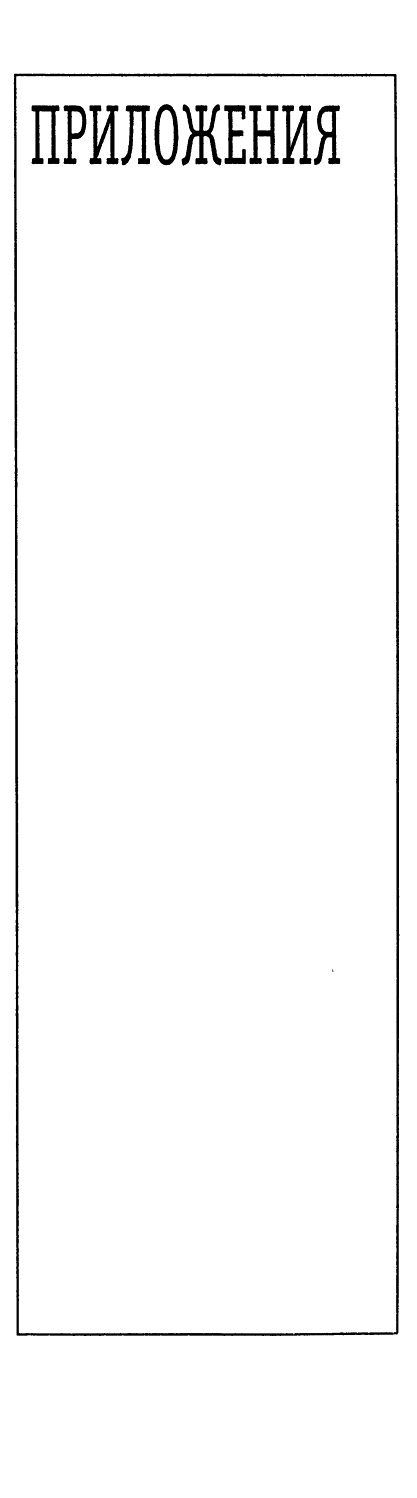
Справились с разрухой, тифом, левым и правым уклонизмом, с белой гвардией, поволжским голодом, с символизмом и акмеизмом в литературе, с абстракционизмом в живописи, с авангардизмом в музыке, даже с православием, даже с нацизмом (но тут не их заслуга и т. д.)... Но все теперь возвращается, кроме брюшного тифа и белой гвардии.

Так что борьба с алкоголизмом у них не пройдет... Введение этого закона — причудливая форма пусть не лагерности, но, как говорили в суворовские времена, «гауптической вахты» И, конечно же, это очередное испытание русских на их хроническую готовность к лишениям, на верность, подлость и бессловесность.

Начиная с весны 85 года мне отчего-то становится все лучше и лучше с каждым днем. На мой взгляд, пока еще не поздно, пора снова начинать деградировать.

Что Вам приходится в 89-м г. делать чаще: плакать или смеяться? – Ну, я почти всякий день нахожу достаточно поводов и для того, и для другого. Сегодня, допустим, хохотал над перепиской Максима Горького. Уже автор «Если враг не сдается...», он пишет деловое письмо маститому французскому литератору, симпатизирующему Российской компартии: «Дорогой учитель и друг!.. и т. д.» А тот отвечает Максиму: «Дорогой друг и учитель! Я получил Ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами, и, читая его, я как бы бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами Ваших мыслей, уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий».

В самом деле, никого нет более прозрачного и беззагадочного, чем русский.



ПРИЛОЖЕНИЯ

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Ерофеев Венедикт Васильевич. Родился 24 октября 1938 года на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Впервые в жизни перешел Полярный круг (с севера на юг, разумеется), когда по окончании школы с отличием, на 17 году жизни, поехал в столицу ради поступления в Московский университет. Поступил, но через полтора года был отчислен за нехождение на занятия по военной подготовке. С тех пор, то есть с марта 1957 года, работал в разных качествах и почти повсеместно: грузчиком продовольственного магазина (Коломна), подсобником каменщика на строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир), дежурным отделения милиции (Орехово-Зуево), приемщиком винной посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии (Украина), стрелком военизированной охраны (Москва), библиотекарем (Брянск), коллектором в геофизической экспедиции (Заполярье), заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва – Пекин (Дзержинск, Горьковской области) и многое другое. Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи: монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец,

Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия — от Гомеля до Полоцка через Могилев и пр. и пр.). Почти 10 лет в системе связи. А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер), работа в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции», и в Таджикистане в должности «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом». С 1966 года — отец. С 1988 года — дед (внучка Настасья Ерофеева).

Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым заслуживающим внимания сочинением считаются «Записки психопата» (1956—1958 гг.), начатые в 17-летнем возрасте, самое объемное и самое нелепое из написанного. В 1962 г. — «Благая весть», которую знатоки в столице расценили как вздорную попытку дать «Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, наизнанку вывернутого». В начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна о Бьернсоне, две о поздних драмах Ибсена). Все были отвергнуты редакцией «Ученых записок Владимирского Государственного педагогического института», как «ужасающие в методологическом отношении». Осенью 1969 года добрался, наконец, до собственной манеры письма и зимой 1970 года нахрапом создал «Москва — Петушки» (с 19 января до 6 марта 1970). В 1972 году за «Петушками» последовал «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которого была потеряна, однако, а все попытки восстановить ее не увенчались ничем.

В последующие годы все написанное складывалось в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжек. Если не считать написанного под давлением журнала «Вече» развязного эссе о Василии Розанове и кое-чего по мелочам.

Весной 1985 года появилась трагедия в пяти актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Начавшаяся летом этого же года болезнь (рак горла) надолго оттянула срок осуществления замысла двух других трагедий. Впервые в России: «Москва — Петушки» в слишком сокращенном виде появились в журнале «Трезвость и культура», (№ 12, за 1988 год, № 1, № 2, № 3 за 1989 год), затем в более полном виде — в альманахе «Весть»... и, наконец, почти в каноническом виде — в этой книге*, в чем, признаюсь, я до последней минуты сильно сомневался.

---

* Ерофеев В. «Москва — Петушки» и пр. М., Прометей, 1989.

«СУМАСШЕДШИМ МОЖНО БЫТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ»

*Интервью с Леонидом Прудовским**

— Родился в 1938 году, 26 октября. Родители были грустная мамочка и очень веселый папочка. Он был начальник станции. Он все ходил и блядовал, ходил и блядовал, и, по-моему, кроме этого, ничем не занимался.

— *А мамочка?*

— А мамочка переживала.

— *Тут запереживаешь.*

— Еще бы, ебена мать. И вот папенька блядовал, блядовал, блядовал, блядовал и доблядовался до того, что на него сделали донос. И папеньку в 38-м году, когда я родился, только и видели. И действительно, папеньку мы увидели только в 54-м. Естественно, по 58-й статье. Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол.

— *Честно говоря, трудно представить, что были люди, которые в открытую ругали советскую власть.*

— А почему бы и нет — на этой маленькой станции, да еще в поддатии. На станции Пояконда в районе Полярного круга.

— *А куда ж его сослали из-за Полярного круга?*

— В том-то и дело — в Крым.

— *Действительно в Крым?*

— Шутка. Его сослали всего-навсего на 12 или там на 10 тысяч километров к востоку.

---

* Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Континент», № 65, 1990.

– Значит, ты рос безотцовщиной? И вы так с мамой и прожили на этой крохотной станции?

— Нет, меня перетащили в детский дом г. Кировска Мурманской области, и там я прозябал.

– А маменька-то куда делась?

— Маменька сбежала в Москву.

– И тебя бросила?

— Да.

– А с какого момента ты себя помнишь?

— В средней школе я уже писал. Сочинения.

– А самые первые в жизни ощущения?

— Самые первые воспоминания почему-то самые траурные. Покойная мать сказала всем старшим братьям и сестрам — подойдите к кроватке и попрощайтесь с ним. Со мной то есть.

– Почему?

— А все — врач. Он сказал: пиздец. Очень, очень умный врач. Это был 41-й год, значит, мне было два с половиной года. Очень умный врач.

– Значит, в школе ты учился в детском доме. И, конечно, самые светлые воспоминания?

— Ни одного светлого воспоминания. Сплошное мордобитие и культ физической силы. Ничего больше. А тем более — это гнуснейшие года. 46—47-й. В сорок седьмом, например, доходили слухи, что в Мурманске мясо продают на рынке, но в этом мясе находили человеческие ногти.

– Я помню, правда, это уже было в 50-х и в Москве, так вот, ходили слухи, что из детей варят мыло.

— Короче, все это невыносимая мудозвонщина, и я твоим слухам не удивляюсь ничуть.

– Веничка, а амнистию 1953 года ты никак не запомнил?

— Очень запомнил, потому что я в это время учился в 8-м классе, а весь Кольский полуостров был переполнен этими лагерями, одним словом, мы больше видели колючей проволоки, чем чего-нибудь другого. И до 10-го класса. И вдруг их отпустили. И тут скверный, дурашливый народ пустил слухи... и в самом деле, вот эти отпущенные на волю — как их тогда называли, бандиты — они действительно вели себя не лучшим образом, но этот слух был настолько искусственно раздут, чудовищно раздут в 53-м году, я тогда переходил из 8-го класса в 9-й, вот это было время на Кольском полуострове совершенно чудовищное. Во всяком случае, мать нас заго-

няла в дом с наступлением сумерек, а ночи там осенью наступают сам понимаешь когда.

– Значит, мамочка к тому времени вернулась?

– Вернулась. Я в детском доме учился до 8-го класса.

– И как ты ее принял?

– Ну что, мать. Иначе она не могла.

– Веня, а ты в детдоме был среди тех, кого били или – кто бил?

– Я был нейтрален и тщательно наблюдателен.

– Насколько это было возможно – оставаться нейтральным?

– Можно было найти такую позицию, и вполне можно было, удавалось занять вот эту маленькую и очень удобную позицию наблюдателя. И я ее занял. Может быть, эта позиция и не вполне высока, но плевать на высокость.

– А сочинять ты начал в детдоме или уже в школе?

– Начал еще до поступления в школу.

– И что же ты в таком нежном возрасте сочинял?

– «Записки сумасшедшего».

– Кто же был сумасшедшим?

– Ну, я, конечно.

– Что – в шесть лет?

– А сумасшедшим можно быть в любое время.

– Каково же это – в шесть лет ощущать себя сумасшедшим?

– Очень интересно.

– То есть ты себя так ощущал или создал такую маску?

– Разумеется, маску. К сожалению, эти глупые матушки – они ничего не сохраняют. Вот молодец моя сестра Тамара Васильевна, которая сохранила все мои письма с 55-го года до 88-го. Вот это она молодчага. А первая теща вообще ставила на мои рукописи сковородки с разной хуетенью.

– Веня, а ты не можешь сейчас вспомнить содержание этих записок?

– Это знает только одна моя матушка. Убей меня бог, не помню. Первое осмысленное писание началось с 56-го года, тогда, когда я кончал 1-й курс МГУ. Вот тогда началось то, что я бы сейчас немножко уделал, немножко бы...

– А оно сохранилось?

– Сохранилось. Но я попросил человека, у которого это все лежит – это пять толстых тетрадей, – чтобы он до моей кончины не издавал.

– Хорошо ли это, Ерофеев?

— Хорошо. Потому что там так много того, что не годится, так много непечатного, если так, по-русски говорить...

— Непечатного по языку или по стилю?

— Все эти дураки — Алешковские, Лимоновы — они плетутся в хвосте, да причем еще в двадцатилетнем хвосте...

— А кто-нибудь, кроме того друга, это читал?

— Нет, не читали. Однокашники, правда, читали...

— То есть нельзя сказать, что это оказало какое-то влияние на Лимонова и Алешковского?

— Упаси бог! Просто это хронологически опережает, но никакого влияния...

— Вернемся назад. После 7-го класса ты уже учился в обычной школе?

— С 8-го по 10-й я уже учился в общей школе.

— Большая разница?

— Большая. Но я ее одолел. Представь себе, у нас был 10-й «А», и 10-й «Б», и 10-й «В», и 10-й «Г». Я учился в 10-м «К» и единственный из всех десятых получил золотую медаль. У нас были дьявольски требовательные учителя. Я таких учителей не встречал более, а тем более на Кольском полуострове. Их, видно, силком туда загнали, а они говорили, что по зову сердца. Мы понимали, что такое зов сердца. Лучшие выпускники Ленинградского университета приехали нас учить на Кольском полуострове. Они, блядюги, из нас вышибали все, что возможно. Такой требовательности я не видел ни в одной школе потом.

— Может быть, это и дало тебе такую образованность?

— Возможно, возможно.

— Ерофеев, ты — широко образованный человек. Я сомневаюсь, чтобы, у родителей была хорошая библиотека, сомневаюсь, что и в детдоме она была, и в школе...

— Я наблюдал за своими однокашниками — они просто не любят читать. Ну вот, скажем, есть люди, которые не любят выпивать. Поэтому выделиться там было нетрудно, потому что все были, как бы покороче сказать... ну, мудаки. Даже еще пониже, но — чтобы не оскорблять слуха... Таков был основной контингент. А когда я кончал 10-й класс, в это время на Ленинских горах воздвигли этот идиотский монумент на месте клятвы Герцена и Огарева. И я решил туда к нему припасть. Я Герцена до сих пор уважаю...

— За что же — не за то ли, что он был одним из диссидентов?

— Я когда читаю переписку Маркса с Энгельсом, всякое дурное слово об Александре Герцене мне прямо душу щеко-

чет. Я уважаю его не за диссидентство, а за то, что он — блестящий мыслитель и блестящий человек, и его любят все, в этом сходятся все, начиная от Кайсарова до Аверинцева, от Айхенвальда до Эйхенбаума. Если в отношении Радищева есть маленький спор, то Александр Герцен не вызывает возражений. И правильно делает, что не вызывает.

– И у тебя – при твоем критическом уме?

— И у меня не вызывает. Я вот недавно прочел второй том, настолько молодчага парень, что разеваешь... все разеваешь.

– А как же Петр Чаадаев?

— Что говорить о Петре Чаадаеве, когда его только-только издали. А этот мудак Урнов говорит, что есть произведения, которые набальзамированы долгостоянием, неиздаваемостью. Он, мудак, хотя бы взял в образец Радищева или Александра Грибоедова, Петра Чаадаева — неужели они настолько живучи, что набальзамированы? Долгим запретительством — как он говорил: что есть произведения, набальзамированные долгим запретительством, а иначе их бы не читали.

– Как ты относишься к такой поразительной в российской истории вещи, что такой верноподданный человек, как Александр Грибоедов, стал выдающимся сатириком? Написал такую блистательную сатиру на весь строй, как «Горе от ума»?

— Мало того: он еще дружил с самыми подоночными людьми в России, и это, как говорит советская власть, ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет, что он был большой друг Николая Греча и Фаддея Венедиктовича Булгарина.

– Что это, свойство таланта – диктовать пишущей руке, даже несмотря на убеждения?

— Черт его знает.

– А каково жить в России с умом и талантом?

— Можно. Можно тут жить. Если приложить к этому усилия. То есть поменьше ума выказывать, поменьше таланта, и тогда ты прекрасно выживешь. Я это за собой наблюдал, и не только за собой.

– Как же? Насколько я знаю, ты никогда на продажу не шел.

— Еще бы!

– А искушения были у тебя?

— Ни разу. Со мной этого не случалось. Я как раз из числа мудаков неискушаемых и неискушенных.

– Хорошо. Не покупали. Но напугать-то пытались. Я это знаю определенно.

— Ну, мало ли что. Это было в 50-х годах.

— И в 70-х было. Помнишь, ты скрывался от призыва в армию...

— Не в этом дело. Весна 62-го года. Приходит человек и говорит: «Вы Ерофеев?» — «Да». — «Вам нужны пистолеты?» Представь, город Владимир. Я лежу в похмелюге. Мне надо похмелиться во что бы то ни стало, а тут этот мудак спрашивает: «Так вам нужны пистолеты?» Я говорю: «На кой ляд мне ваши пистолеты! Дайте мне грамм пятьдесят похмелиться, а потом поговорим о пистолетах» А он не отстает: «Нет, вы скажите, вы Ерофеев или не Ерофеев?» — «Ерофеев, мать вашу!» — «Ага. Значит, вам нужны пистолеты».

— Веничка, а как ты оказался в МГУ?

— Как только я кончил 10-й класс и как только мне вручили из... сколько там было 10-х классов, хрен его упомнит, и я из 10 «К» получил золотую медаль, вот и двинул, и впервые в жизни пересек Полярный круг, только в направлении с севера на юг... И вот я на семнадцатом году жизни впервые увидел высокие деревья, коров увидел впервые...

— Что же у вас, кроме зэков, там водилось?

— Кроме зэков, ничего не водилось... А тут увидел я корову — и разомлел. Увидел высокую сосну и обомлел всем сердцем... И вот 55-й год. Там с медалью было только собеседование, и этот мудак так меня доставал, но достать не смог. Я ему ответил на все вопросы, даже которые он не задавал. И он показал мне на выход. Что ему еще оставалось? А этот выход был входом в университет. На филологический.

— А как же потом ты во Владимире оказался?

— Это уже нескромный вопрос.

— Насколько нескромный?

— Потому что между МГУ и институтом был кочегаром, приемщиком посуды, милиционером.

— В таких случаях обычно пишут стюардом и репортером.

— До этого не дошло.

— А писать осознанно начал в МГУ?

— Писать начал в университете. И отличные вещи...

— За что и был изгнан?

— Нет, нет! Там не было никакой скверны, никакой политики... была какая-то, иная струя, которая будоражила всех...

— А кто читал это?

— Читали мои знакомые, и этого довольно.

— А из-за чего выгнали?

— Я просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары. И скучно было, да и незачем. Я приподнимался утром и думал, пойти на лекцию или семинар, и думаю: на хуй мне это надо, — и не вставал и не выходил. То есть у меня было... ну, не созерцательная система...

— Скажи, а ты не вставал от самопогружения или после вчерашнего?

— Какое там переживание вчерашнего! Просто я, видимо, не вставал, потому что слишком вставали все другие. И мне это дьявольски не нравилось. Ну, идите вы, пиздюки, думал я, а я останусь лежать, потому что у меня мыслей до хуища.

— А вот эта знаменитая песня «Проснись, вставай, кудрявая...» — она тебя не будоражила?

— Будоражила. Потому что я очень люблю Дмитрия Шостаковича.

— И все равно не вставал?

— И все равно — брал себя в руки и не вставал.

— За это и был вышиблен — сколько же можно не вставать?!

— Вышиблен был в основном военной кафедрой. Я этому подонку майору, который, когда мы стояли более или менее навытяжку, ходил и распинался, что выправка в человеке — это самое главное, сказал: «Это — фраза Германа Геринга: «Самое главное в человеке — это выправка». И между прочим, в 46-м году его повесили».

— А насколько к моменту вышибания из Университета была велика в народе твоя популярность?

— К тому моменту она ограничивалась двумя-тремя комнатами, и, честно говоря, отнюдь не 19 государствами.

— Не искушали ли тебя? Не нашептывали ли, что коли пишешь, то надо печататься?

— Нет. Среди них были такие, вроде чуть-чуть видящие, вроде Володи Муравьева — опять же мой однокурсник.

— То есть удивительно приличная у вас подобралась публика?

— Да. Немножко на царскосельскую, на кюхельбекерскую такую, в несколько заниженном варианте. Я там представлял что-то вроде барона Дельвига.

— То есть ты был такой же толстый?

— Нет, наоборот. Я не был толст, а во всем остальном...

— А скажи, вот мы сейчас вздыхаем, что не осталось таких понятий, как честь и совесть. В этом вашем братстве были такие понятия?

— Вот в том-то и дело. Нас и презирали за то, что в нас

уживались... вся эта ненавистная братия — я забыл их фамилии, и, значит, их фамилии ни к чему. Никто и никогда не вспомнит их фамилии. Все остальные смотрели на нас, как на зачумленных детей.

– То есть именно на присутствие в вас этих понятий?

— Хотя бы поэтому.

– Муравьев, кто еще – может быть, кого еще вспомнишь?

— Они немного переродились... ну, хотя бы Катаев... не из тех Катаевых.

– Хорошо. Произошло изгнание из МГУ широко известного в узких кругах писателя. Как-то это на общественном мнении отразилось?

— Ничуть. Я ушел тихонько, без всяких эффектов. Вот спустя пять лет я уходил из Владимирского, каждый человек, который со мной встречался, задавал вопрос, где продается водяра, — в этом магазине есть, а в этом нет — этот человек подлежал немедленному исключению из пединститута. Вот до какой степени я был опасен, а всего-навсего я говорил то, что это — пародия на «Москва — Петушки». Я в сущности говорил только о водяре. Решительно только о водяре и больше ни о чем. Ну почему к книге придрались? Почему ее изымали при всяком обыске? Немыслимые люди эти большевики.

– Веничка, а что делал ты после исхода из Университета, когда тебя, естественно, выкинули из общежития?

— Я с тех пор сменил примерно 12 профессий.

– А где жил?

— Господи, жил в Тамбове, в Ельце, в Брянске — это можно называть все города. И золотое кольцо, и не золотое.

– То есть из Москвы ты уехал сразу?

— Ну, естественно. Короче: я бы так и исцвел на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмурь глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем — и попал в город Петушки. Это было в 59-м году. Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведении был Владимирский пединститут.

– И поступил с ходу?

— Еще бы! А золотая медаль?

– А собеседование?

— Там его практически не было. Какое там, на хуй, собеседование.

– Теперь расскажи: как же ты разложил Владимирский пединститут настолько, что даже имя твое стало запретным?

– Да. Они сейчас извиняются. Мне одинаково смешно вот это вот – извинения Бельгии перед глупой оплошностью Голландии... Почему-то Бельгия приносит извинения за Голландию. Вот точно так же мне смешно, когда владимирская газета «Комсомольская искра» печатает обо мне более или менее мутные биографические данные, хотя та же самая газета весной 1962 года требовала выдворения меня за пределы города Владимира и Владимирской области навсегда. Всякий человек, встречающийся с Венедиктом Ерофеевым, подлежит немедленному выдворению из Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского. И вообще с территории.

– То есть ты попал в персоны нон-грата?

– Хорошо бы еще в персоны нон-грата. То есть человек, который кивнул бы мне при встрече, уже сам стал бы персоной нон-грата. А хрен ли обо мне говорить.

– Чем же ты их все-таки так достал? Все же Владимир близко к столице. Что они так напугались-то?

– Вот этого я не знаю. Я немножко их понимаю. Все-таки, когда я стал жениться, приостановили лекции на всех факультетах Владимирского государственного педагогического института им. Лебедева-Полянского, и сбежалась вся сволота. Они все сбежались. Потом они не знали, куда сбегаться, потому что не знали, на ком я женюсь – опять же было неизвестно. Но на всякий случай меня оккупировали и сказали мне: «Вы, Ерофеев, женитесь?» Я говорю: «Откуда вы взяли, что я женюсь?» – «Как? Мы уже все храмы... все действующие храмы Владимира опоясали, а вы все не женитесь». Я говорю: «Я не хочу жениться». – «Нет, на ком вы женитесь – на Ивашкиной или на Семаковой?» Я говорю: «Я еще подумаю». – «Ну, мать твою, он еще думает! Храмы опоясали, а он еще, подлец, думает!» Это апрель 62-го.

– Но ведь времена-то на дворе еще либеральные.

– Какие либеральные! Вот опять я повторил этого мудака, не знаю, жив он или нет, лучше бы не жив. Вот этот декан филологического факультета, который отсидел... сколько он отсидел – я забыл, но во всяком случае не меньше 15 лет отсидел, сволота. И мне в лицо заявил: «Я очень сожалею, Ерофеев, что сейчас не прежние времена. Я бы с вами обратился гораздо более круто». Вот тут-то я понял, с кем имею дело – с каким вонючим дерьмом, и...

– Веничка, и все же чем ты их так напугал?

– Понятия не имею. Я лежал себе тихонько, попивал. Народ ко мне... в конце концов получилось так, что весь институт раскололся на две части. Вот так, если покороче, то есть, как говорили девушки, тогда одиозно очень поверхностные, называл вещи своими именами, весь институт раскололся на попов и на... Там было много вариаций, но в основном на попов и комсомольцев. Этак я оказался во главе попов, а там глав-зам-трампампам оказался во главе комсомольцев моим противником, и у нас даже выходило... «Подходите, – говорил человек (не помню фамилию), – подходите, только без рукоприкладства». За мной стоит линия, за ними тоже линия. Мы садимся, это я предлагаю садиться за стол переговоров, чтобы избежать рукоприкладства и все такое. Они говорят: давай, садимся. И вот мы садились и пили сначала сто грамм, потом по пятьдесят, потом по сто пятьдесят, потом... и понемногу, ну, набирали...

– А что же вы пили, Веничка?

– Не помню. Какую-то бормотуху. Ну, во всяком случае, вырабатывали какую-то общую терминологию...

– Попы с комсомольцами?

– Попы с комсомольцами садились тихонько... Ну, одним словом, они занимались делом. А я сидел и чувствовал себя человеком, который предотвратил кровопролитие.

– Признаться, трудно представить тебя в роли предводителя религиозной общины. Поэтому мне представляется, что название «попы» следует понимать достаточно условно.

– Конечно, конечно. Потом вот, например, характерно – в том же 62-м году девочка, которая была в разряде «попов», – я сидел в саду и дышал воздухами, – а она ко мне подскочила и сказала: «Ой-ей-ей, я сейчас убегаю, потому что, если меня увидят, то все – мне в институте не быть». Так что тут все очень запутанно.

– Писал ли ты, Веничка, во Владимире?

– Еще как писал. Даже наоборот, когда поступил во Владимирский пединститут, мне сказали: «Венедикт Васильевич, если вам не на что будет жить, то у нас есть «Ученый вестник» Владимирского пединститута, и мы вам охотно предоставим страницы». Но я, как только охотно сунул им в эти страницы всего две статьи о Генрике Ибсене, они заявили, что они методологически никуда не годятся.

– А что значит – методологически?

– Я и не стал спрашивать. Еще бы я стал спрашивать, ебе-

на мать! Они сказали: это опять же никуда не годится. Неужели человек не понимает, чего он городит?

– А прозу писал?

– Тогда – нет. Писал тогда исключительно о скандинавах, потому что я был тогда ослеплен вот этой скандинавской моей литературой. И только о ней писал.

– Отчего же ты был ими так очарован?

– Потому что они – мои земляки.

– А кто конкретно из скандинавов?

– Ну как это – кто конкретно? Опять же Генрик Ибсен, Кнут Гамсун в особенности. Да я, в сущности, и музыку люблю только Грига и Яна Сибелиуса. Тут уже с этим ничего не поделаешь.

– Когда же ты впервые стал писать беллетристику – после тех тетрадей? Что – был большой перерыв?

– Нет, не большой перерыв, просто... зимой семидесятого, когда мы мерзли в вагончике, у меня явилась мысль о поездке в Петушки, потому что ездить туда было запрещено начальством, а мне страсть как хотелось уехать. Вот я... «Москва – Петушки» так начал. И примерно в последних числах января, а кончил примерно второго-третьего марта.

– А между тетрадями и «Петушками» было еще что-нибудь?

– Да, ну, конечно, было. Вот это... черт, ее надо восстановить и возделать...

– Рукопись хоть существует?

– Вот часть рукописи доставили люди из Гуся-Хрустального.

– Это тоже такая же грустная...

– Отнюдь. Мне она не нравится, и правильно сказала одна очень такая литературная женщина, что это-таки подделка под Пильняка. Вот ведь что. А как это – подделка под Пильняка, которого я до сих пор не читал ни строчки?

– По-моему, Ерофеев не может ни под кого подделаться, так же как никто не может подделаться под Ерофеева. Как хоть называется?

– «Благая весть».

– Веничка, литературные дамы читают, а широкие круги миролюбивой общественности до сих пор – нет. Хорошо ли это?

– Ну, ее надо получше обделать, потому что там много... как бы это... кто умеет выражаться помягче...

– А в каком году ты ее написал?

– В 63-м.

– А между 63-м и 70-м было что-нибудь?

– Вот тут был провал. Я слишком жил: кино, бабье и эт цетера.

– Хорошо «Петушки» написаны. Как же они стали известны народу? Откуда народ вокруг тебя появился?

– Ну вот, допустим, Слава Лен. Я, допустим, сижу во Владимире в окружении своих ребятишек и бабенок, и вдруг мне докладывает Вадя Тихонов: «Я познакомился в Москве с одним таким паразитом, с такой сволотою». Я говорю: «С каким паразитом, с какой такой сволотою?» Он говорит «Этот паразит, эта сволота сказала мне, – то есть Ваде Тихонову, – что даст... уплатит 73 рубля (почему 73 – непонятно) за знакомство с тобою». То есть со мною. Ей-богу.

– То есть Лён прочел «Петушки».

– Ну да. Я удивился, а Лёну Губанов сказал: «Вот если Вадя Тихонов, который хорошо с ним знаком...» – вот тогда он и залепился со своими 73 рублями.

– А ты еще не был тогда знаком со смогистами?

– Абсолютно!

– То есть ты как бы в безвоздушном пространстве существовал?

– Почему в безвоздушном?

– Ну, если брать эту московскую культурную среду, ты о ней ничего не знал?

– Об этом понятия не имел. И тут мне Владислав Лён предложил 73 рубля за одно только знакомство.

– И благодаря ему ты стал известен в мире?

– Не благодаря ему. Благодаря совсем другим людям, которые сейчас уехали. Эти люди, которым я обязан, живут теперь в Тель-Авиве... и так далее.

– Лён утверждает, что это он передал «Петушки» на Запад и благодаря ему они были опубликованы.

– Как всегда, врет.

– Раз они за кордоном и им ничего не грозит, то не грех их и упомянуть.

– Отчего бы, действительно. Во-первых, это Виталий Стесин, потом Михаил... поэт, который при всех регалиях приходил ко мне в больницу... Михаил...

– Веня, а почему на твоей афише (вечера в ДК МГУ) написано: 20 лет творческой деятельности. Ведь гораздо больше.

– Плевать! Пусть что пишут, то и пишут. Пусть напишут: «Десятилетие графа Толстого»... Поэт... женщина очень хо-

рошая... опять забыл фамилию... надо бы спросить у девки. Михаил Генделев и Майя Каганская.

– И впервые было опубликовано в израильском альманахе...

— «Ами».

– А ты-то знал, что готовится публикация?

— Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: «А ты знаешь, что, Ерофеев, тебя издали в Израиле». Я решил, что это очередная его шуточка,. и ничего в ответ не сказал. А потом действительно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

– В 72-м издали?

— В 73-м.

– А как складывались материальные отношения с издателями за границей – ведь потом издавали еще во многих странах?

— Это действительно очень больной вопрос. Например, Англия и Соединенные Штаты... Два издательства в Соединенных Штатах не плотят ни копейки по той причине, что они купили — Соединенные Штаты — они купили у Британии... А Британия купила у Парижа... То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

– Замечательно! А вот есть такая организация – называется ВААП.

— Она есть, но ее вот эти деяния не распространяются. Только на страны Варшавского пакта, а вот на страны НАТО не имеют даже малейшего влияния.

– Ерофеев, погоди. Эта организация дерет со своих клиентов жуткие проценты и могла бы нанять самых лучших адвокатов. Кто-нибудь из них к тебе обратился: «Давай, Ерофеев, мы будем защищать твои права»?

— Ни разу не было ко мне такого обращения. Было только в случае с Венгрией и с Болгарией.

– Здесь они сами обратились?

— Это уже по пьесе.

– Ерофеев, а как ты сам отнесся к своей всемирной известности?

— Какой провокационный вопрос.

– Нормальный вопрос, Веня, нормальный.

— То ли еще будет.

– Ощущаешь ли ты себя великим писателем?

— Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, это — более или менее мудозвонство.

– Ерофеев, а если бы тебе предложили определить свое место в пантеоне великих, куда бы ты себя поставил – между Гомером и Эпиктетом или...

– Между Козьмой Прутковым и Вольтером.

– А кто все-таки впереди?

– Козьма Прутков.

– Хорошо. Вернемся в 69-й год на кабельные работы. Ерофеев пишет «Петушки». Делился ли ты с коллективом? Давал ли читать бессмертные страницы товарищам по профессии и одобрили ли бы они твои писания?

– Наоборот. И хорошо, что я не давал им этих записок. Они говорили: «Ты что, Ерофеев, хочешь в институт поступать – все равно ни хуя, ни за что не поступишь! Сейчас туда только по блату берут. Только по блату. Только по блату». А я свесился с верхней полки и говорю: «Ну неужели только по блату?» А они мне говорят: «То-о-олько по блату!» Вот как обстояло дело.

– А насколько биографичны бессмертные твои записки?

– Почти...

– Скажи, ты действительно никак не мог попасть на Красную площадь, а всегда попадал на площадь Курского вокзала?

– Да-да-да! И между прочим, вот меня обычно спрашивают об этих сценах в «Петушках», вот хотя бы с этим дурачком контролером. А ведь действительно, я ведь стоял зимой, зимой трясся весь от холода, стоял, и у меня была в грудном кармане эта самая бутылка... бутылка... ну, известно чего. Бормотуха – 0,8. И когда вошел контролер, один контролер сразу последовал туда, а этот остановился и сказал: «Ва-аш билетик! Ва-аш билетик!» Я говорю: «Нет у меня билетика. Нет у меня билетика». И он тогда внимательно присмотрелся, а я тогда неосторожно поставил эту свою 0,8... «А это – что у тебя?» Я говорю: «Да это – так просто». – «Это как то есть так? А ну-ка вынь!» Я вынул, и он тут же немедленно сделал: бум-бум-бум-бум-бум-бум. И мне протянул: «Езжай дальше, молодой человек». Как они не понимают, из чего делаются литературные произведения? То есть вот из такого... такой малости.

– А правда ли, что ты, будучи бригадиром на кабельных работах, ввел пресловутые графики?

– Еще как! Это Вадим Тихонов – свидетель.

– Ерофеев, я знаю, что одно из твоих бессмертных творений ты потерял то ли в электричке, то ли еще где. Может быть, можно попытаться отыскать?

— Едва ли. Потому что то ли одна, то ли две МГУ-шные экспедиции ездили по линии Москва — Петушки с тем, чтобы найти, и ничего подобного они... Они смотрели и по левую, и по правую сторону очень внимательно и ничего не обнаружили.

— А что это было за произведение?

— Ну, я вообще не люблю называть жанры. Ну, просто — «Шостакович».

— Не биографическое же эссе?

— Еще бы! И то — Шостакович там присутствовал только самым косвенным образом. Там как только герои начали вести себя, ну... как сказать... Вот, у меня этот прием уже украден — как только герои начали вести себя не так, как должно, то тут начинаются сведения о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Когда родился, кандидат такой-то, член такой-то и член еще такой-то Академии наук, почетный член, почетный командор легиона. И когда у героев кончается этот процесс, то тут кончается Шостакович и продолжается тихая и сентиментальная, более или менее, беседа. Но вот опять у них вспыхивает то, что вспыхивает, и снова продолжается: почетный член... Итальянской академии Санта-Чечилия и то, то, то, то... И пока у них все это не кончается, продолжается ломиться вот это. Так что Шостакович не имеет к этому ни малейшего отношения.

— А вдруг откликнется тот, кто это нашел? Расскажи подробнее, когда это было и как это выглядело?

— Это — две черные тетради и четыре записные книжки.

— А в чем все лежало?

— Все это было в сетке. Я могу назвать точно — вот это знойное самое лето. 72-й год. Знойное лето под Москвою. Я когда увидел пропажу, я весь бросился в траву, и спал в траве превосходно. Представь себе, что это было за лето, когда можно было ночевать в нашей траве.

— А почему «Шостакович», а не «Хренников»?

— Тихон Хренников — очень хороший человек.

— Чем же?

— Мне у него нравятся ранние песни.

— Одна или все?

— Все.

— Тогда действительно — хороший человек.

— Очень славный малый.

— Старый хрен Тихонов и молодой Тихон Хренников — очень старая шутка.

— Причем, заметь, мною же изобретенная в 56-м году.

— Ладно. Хрен с ним, с Хренниковым. Давай лучше вспомни поточнее: какого цвета была сетка? Может быть, вспомнишь?

— Трудно установить, потому что сетка была не моя, а была моего знакомого из Павлова-Посада. И потом там были две бутылки, что и соблазнило.

— Бормотухи?

— Да. Что и соблазнило тех, которые покусились. Я бы на их месте поступил бы гуманнее.

— Не знаю, как ты на их месте, а я бы...

— Я бы тоже, пожалуй. Я бы тоже.

— Ты оставил в электричке?

— Господи, откуда мне знать? Я проснулся в электричке с совершенно угасшим светом, и я сидел один в вагоне, и причем в тупике.

— А что же ты пил, Веничка, что дошел до такого?

— Еб твою мать — он задает мне вопросы какие! Он ведет допрос, как самый неумелый из следователей.

— Как это? Я веду допрос по всем правилам. Как завещали отцы и деды.

— Хуево ты ведешь допрос.

— Пил ли ты в этот день коньяк?

— Еще как!

— А зубровку?

— Пил и зубровку.

— Зверобой и охотничью, и полынную, и померанцевую, и кориандровую... весь ностальгический набор.

— Очень жалко «Дмитрия Шостаковича», потому что, когда я писал, действительно спрашивал сосед: «Ерофеев, ты чего опять какую-то блядь приводил?» Я говорю: «Какую же это я приводил блядь?» — «Ну как же, ты всю ночь смеялся!» Я говорю: «Почему же, ну... я просто так...» — «Я человек бывалый. Я человек бывалый. Так я тебе и поверил, так я тебе и поверил, что ты — просто так. Опять какую-нибудь блядь приволок».

— А где ты жил тогда?

— На станции Электроугли.

— Снимал угол?

— Какой там — снимал угол, когда крысы бегали из угла в угол.

— Значит, «Дмитрий Шостакович» — 72-й, а «Розанов»?

— «Розанов» попозже на год. 73-й. И то меня пригласил человек, который возглавлял журнал «Евреи и мы».

– «Евреи в СССР»?

– Нет...

– «Страна и мир» есть...

– «Евреи в СССР», по-моему. Он еще приехал ко мне, я снимал маленький дом в Болшево, он ко мне приехал и демонстрировал мне вот эту желтую звезду... и все такое. И с ним была целая публика с этими желтыми звездами, а в ответ у меня в этот день были люди слишком православно настроенные, там... ну, известная заваруха. Рождественская заваруха 73-го года.

– То есть уже тогда общество «Память» существовало?

– Оно тогда у меня на глазах возникало.

– И они у тебя в доме встретились?

– В том-то и дело. Все встретились у меня в доме: и воинствующие иудаисты... забыл я фамилии... Воронель, который был главным редактором «Евреи в России», и вот эти вот, которые их ненавидели...

– Не произошло ли у них конфликта?

– Маленький был, но я исполнял роль вот этого маленького...

– Арбитра? Ты им говорил: «Брек!»?

– Я им этого не говорил, но они поняли.

– Ерофеев, а родная советская власть – насколько она тебя полюбила, когда слава твоя стала всемирной?

– Она решительно не обращала на меня никакого внимания. Я люблю мою власть.

– За что же особенно ты ее любишь?

– За все.

– За то, что она тебя не трогала и не сажала в тюрьму?

– За это в особенности люблю. Я мою власть готов любить за все.

– А что больше нравится тебе в твоей власти: ее слова, ее уста, ее пос тупь и поступки?

– Я все в ней люблю. Это вам вольно рассуждать о моей власти, ебена мать. Это вам вольно валять дурака, а я дурака не валяю, я очень люблю свою власть, и никто так не любит свою власть, ни один гаденыш не любит так мою власть.

– Отчего же у вас невзаимная любовь?

– По-моему, взаимная, сколько я мог заметить. Я надеюсь, что взаимная, иначе зачем мне жить?!

– Хорошо. Между «Розановым» и «Вальпургиевой ночью» 13 лет. Что-то было в этом промежутке?

— Какое кому собачье дело?! Кому какое идиотское собачье дело, было чего-нибудь или не было. Это — вторгаться в интимные отношения.

– Но от тебя, как от Шекспира, ждут новых эпохальных произведений...

— Это я понимаю. Я если чего-нибудь пишу, то эпохальное, как говорит мэтр Тихонов.

– Кстати, ты замечательно создал образ Тихонова. Твой друг Вадя так прочно вошел в наш фольклор, а кстати, сам Вадя подозревает, что он настолько остроумен и гениален?

— Он не подозревает. За него приходится придумывать даже вот эти штуки, вроде: «Двадцать шесть бакинских комиссаров — ты бы смог слопать?»

– Так это ты Вадю изобразил в «Вальпургиевой ночи»?

— Вадю стоит везде изобразить. Во Владимире, когда мне сказали: «Ерофеев, больше ты не жилец в общежитии». И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: «Ерофейчик. Ты Ерофейчик?» Я говорю: «Как то есть Ерофейчик?» — «Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?» Я говорю: «Ну, в конце концов, Ерофейчик». – «Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище».

– А кстати, история с пистолетами тогда же произошла?

— Да, да, да.

– Это когда ты уже у Вади жил?

— Да.

– А зачем этот человек считал, что тебе нужны пистолеты?

— А вот хрен его знает. Но тут удивляться нечему. За день до этого меня останавливал один парень с физико-математического факультета, вернее, я его остановил и спросил: «Там, внизу, есть водяра, хоть какая-нибудь?» Он говорит: «Есть. Есть «Российская». Так вот, на следующий день торжественное собрание, ей-богу, торжественное собрание вот этого вот физико-математического факультета этого парня исключает. Человек уже на 4-м курсе, ебена мать.

– То есть человек с пистолетами решил, что тебе придется отстреливаться?

— Нет, просто слава моя была такова, что все думали, что мне нужны пистолеты.

– Трудно поверить, что о Ерофееве шла слава, как об извозчике Комарове или Ваньке Каине.

— Больше. Девушка... как звать эту девушку... Ивашкина...

– Ерофеев, ты заявил «Вальпургиеву ночь» как первую часть трилогии, а у меня на дне рождения сказал, что заканчиваешь вторую часть.

– Мало ли чего по пьянке не брякнешь. Ебенать.

– А может, все-таки напишешь?

– Ну, не знаю. Это надо мне за город поехать и печку затопить.

– Ну, давай я тебе дачу найду.

– Я сам найду и сам...

– Ладно, Веничка. Последний вопрос. Кто из советских литераторов или политических деятелей оказал на тебя наибольшее влияние?

– Если говорить о влиянии, то культуртрегерское – Аверинцев, Аверинцев.

– А Лотман?

– Лотман пониже, как говорят дирижеры. И Муравьев. Я знаю, о чем говорю, ебена мать!

– А из политических деятелей?

– Аракчеев и Столыпин. Если хорошо присмотреться, не такие уж они разные.

– В таком случае, сюда бы Троцкого.

– Упаси бог. Этого жидяру, эту блядь, я бы его убил канделябром. Я даже поискал бы чего потяжелее, чтобы его по голове хуякнуть.

– А кого из членов большевистского правительства ты бы не удавил?

– Пожалуй, Андропова.

– Душителя диссидентов?

– Нет, он все-таки был приличный человек.

– Не кажется ли тебе странным, что за 70 лет единственный приличный человек – и тот начальник охранного отделения?

– Ничего странного. Наоборот. Хороший человек. Я ему даже поверил. Потом он снизил цены на водяру – четыре семьдесят. Подумаешь там, танки в Афганщине...

– Ну, танки Брежнев ввел.

– Плевать, кто вводил и куда. Этого уже народ не помнит. Но то, что водка стала дешевле!..

СОДЕРЖАНИЕ

Венедикт Васильевич Ерофеев **ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА**

Редактор *А.Л.Костанян*
Художественный редактор *Т.Н.Костерина*
Технолог *С.С.Басипова*
Оператор компьютерной верстки *А.В.Волков*
П. корректоры *В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.
Подписано в печать 29.02.2000.
Формат 60×90/16.
Гарнитура Баскервиль.
Печать офсетная. Объем 28 печ. л.
Тираж 11 000 экз. Изд. № 1200.
Заказ № 3417.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Государственного комитета Российской Федерации по печати 113054, Москва, Валовая, 28.

Издательство «ВАГРИУС».
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1.
Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com

Получить подробную информацию о наших книгах и планах, авторах и художниках, истории издательства, ознакомиться с фрагментами книг, высказать свои пожелания и задать интересующие Вас вопросы Вы сможете, посетив сайт издательства в сети Интернет: **http://www.vagrius.com**

Оптовая торговля:
Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36'6»
г. Москва, Рязанский пер., д. 3, этаж 3
Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69 267-28-33, 261-24-90
E-mail: club 36 6@aha.ru

Фирменный магазин «36'6 — Книжный двор»
(мелкооптовая и розничная торговля):
Проезд: Рязанский пер., д. 3, этаж 1
(рядом с м. «Комсомольская» и «Красные ворота»)
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

Склад:
Тел.: 523-92-63, 523-25-56
Факс: 523-11-10
г. Балашиха, Звездный бульвар, д. 11
(от ст. м. «Щелковская», авт. 396, 338А до ост. «Химзавод»)

Книжная лавка «У Сытина»:
125008, Москва, пр-д Черепановых, д. 56
Тел.: (095) 156-86-70
Факс: (095) 154-30-40
Электронная почта: sytin@aha.ru
или info@kvest.com
Интернет-магазин: http://www.kvest.com
Доставка в любую страну

ISBN 5-264-00247-9

9 785264 002472 >

Издательство ВАГРИУС

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Аркадий Арканов
Рукописи возвращаются

Григорий Бакланов
Мой генерал

Владимир Войнович
Монументальная пропаганда

Александр Кабаков
Путешествия экстраполятора

Владимир Маканин
Удавшийся рассказ о любви

Анатолий Найман
Любовный интерес

Галина Щербакова
Подробности мелких чувств



Писатель и драматург Венедикт Ерофеев (1938–1991) сегодня стал фигурой уже почти легендарной, а его персонаж Веничка из «Москвы — Петушков» — подлинно народным. До недавнего времени подавляющее большинство знало Ерофеева именно как автора гениальной поэмы. Одной ее хватило бы, чтобы он занял не последнее место в российской словесности нашего столетия, однако творческое наследие Ерофеева гораздо шире. В сборник «Записки психопата», помимо «Москвы — Петушков» и пьесы «Вальпургиева ночь», вошло и произведение, публикуемое впервые: «Записки психопата», долгое время считавшиеся утерянными. По словам самого Ерофеева — его «первое заслуживающее внимания сочинение, начатое в 17-летнем возрасте, самое объемное и самое нелепое из написанного». Завершают сборник выдержки из записных книжек писателя — своего рода мини-шедевры ерофеевской прозы.

ВАГРИУС